



Преспер

ериме

Кармен

Проспер Мери́ме

Кармен (новеллы)

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=612265

Мери́ме П. Кармен: новеллы: Эксмо; Москва; 2011

ISBN 978-5-699-47962-7

Оригинал: ProsperMérimée, “Carmen (nouvelles)”

Перевод:

Ольга Владимировна Моисеенко

Всеволод Михайлович Гаршин

Дмитрий Васильевич Григорович

Михаил Алексеевич Кузмин

Аннотация

Яркие романтические образы, психологические зарисовки отношений и нравов, захватывающий сюжет – в новеллах классика французской литературы XIX века, историка и драматурга Проспера Мери́ме. Цыганка Кармен приобрела мировую известность благодаря опере Ж. Бизе и стала героиней многочисленных театральных постановок и экранизаций.

Содержание

Этрусская ваза	6
Партия в триктрак	41
Двойная ошибка	66
Глава 1	66
Глава 2	71
Глава 3	77
Глава 4	84
Глава 5	88
Глава 6	96
Глава 7	100
Глава 8	105
Глава 9	115
Глава 10	127
Глава 11	130
Глава 12	148
Глава 13	152
Глава 14	154
Глава 15	160
Глава 16	163
Глава 17	164
Коломба	165
Глава 1	165
Глава 2	171

Глава 3	182
Глава 4	192
Глава 5	199
Девушка и горлинка	207
Глава 6	210
Глава 7	222
Глава 8	228
Глава 9	233
Глава 10	242
Глава 11	247
Глава 12	265
Глава 13	273
Глава 14	281
Глава 15	285
Глава 16	299
Глава 17	310
Глава 18	322
Глава 19	337
Глава 20	354
Глава 21	361
Кармен	366
Глава 1	366
Глава 2	382
Глава 3	394
Глава 4	444
Il Vicolo di madama Lucrezia[101]	453

Голубая комната	488
Локус (Рукопись профессора Виттенбаха)	509
I	509
II	522
III	533
IV	549
V	554
VI	558
VII	564
VIII	567

Проспер Мериме

Кармен (новеллы)

Этрусская ваза

Огюста Сен-Клера не любили в так называемом «большом свете»; главная причина заключалась в том, что он старался нравиться только тем, кто приходился ему по сердцу. Он шел навстречу одним и тщательно избегал других. К тому же он был беспечен и рассеян. Однажды вечером при выходе из итальянской оперы маркиза А. обратилась к нему с вопросом: «Как пела Зонтаг?» – «Да, маркиза», – отвечал Сен-Клер, приятно улыбнувшись, но думая о другом. Такой странный ответ ни в каком случае нельзя было приписать робости с его стороны; и с знатным вельможей, и со знаменитостью, и даже с самой модной красавицей он обращался так же свободно, как если бы говорил с равным себе. Маркиза объявила, что Сен-Клер заносчив и дерзок до невероятия.

Однажды в понедельник г-жа Б. пригласила его на обед; она долго с ним разговаривала, и, уходя, он сказал, что никогда еще не встречал более очаровательной женщины. Г-жа Б. набиралась ума в течение месяца, с тем чтобы потом израсходовать этот ум у себя дома в один вечер. Сен-Клер встретился с ней в четверг на той же неделе. На этот раз она пока-

залась ему скучноватой. Результат следующего за тем посещения был тот, что Сен-Клер решил не появляться больше в ее гостиной. Г-жа Б. поспешила объявить всем и каждому, что Сен-Клер – человек совершенно невоспитанный и притом самого дурного тона.

Он родился с сердцем нежным и любящим: но в молодости, когда так еще легко воспринимаются впечатления – впечатления, отражающиеся потом на всей жизни, – его слишком пылкая натура навлекла на него насмешки товарищей. Он был горд и самолюбив. Он, как ребенок, дорожил чужим мнением. Он призвал все свои силы, стараясь научиться скрывать все то, что, по его тогдашним понятиям, считалось унижительною слабостью. Цель была достигнута; но такая победа над собой обошлась ему дорого. Перед людьми ему действительно удавалось скрывать ощущения нежной души своей; однако ж терзался он ими тем сильнее, чем больше замыкался в самом себе. В свете приобрел он вскоре печальную известность человека равнодушного и неотзывчивого; когда он оставался наедине с самим собою, его встревоженному воображению представлялись страдания, тем более жгучие, что он ни с кем никогда не хотел делить их.

Сказать по правде, найти друга нелегко! Нелегко? Вернее сказать, невозможно. Существовали ли когда-нибудь два человека, не имевшие тайны один от другого? Сен-Клер не верил в дружбу, и это замечено было всеми. Он был холоден и сдержан в обществе с молодыми людьми. Он никогда ни о

чем не расспрашивал; все его мысли и большая часть его действий оставались для них загадкой. Французы вообще любят говорить о себе; Сен-Клеру приходилось иногда против воли выслушивать задушевную исповедь знакомых. Его друзья – под этим названием надо разуместь тех, кого мы видим раза два в неделю, – законно жаловались на его недоверчивость; и в самом деле, тот, кто без повода с нашей стороны разоблачает перед нами свои тайны, обижается обыкновенно, если мы не платим ему тою же монетой. Взаимность в разоблачении сердечных тайн считается как бы общим правилом.

– Он всегда застегнут на все пуговицы, – говорил о нем красивый эскадронный командир Альфонс де Темин. – К этому проклятому Сен-Клеру нельзя питать ни малейшего доверия.

– Я думаю, что он близок к иезуитам, – возразил Жюль Ламбер. – Один знакомый клятвенно уверял меня, что дважды видел, как он выходил из церкви Сен-Сюльпис. Никто не знает его настоящих мыслей. Я, по крайней мере, в его обществе чувствую себя связанным.

Разговаривающие расстались. На Итальянском бульваре Альфонс де Темин встретил Сен-Клера, шедшего с поникшей головой и смотревшего в землю. Он остановил его, взял под руку и тут же выложил перед ним свои любовные похождения с г-жой ***, муж которой был груб и ревнив.

В тот же вечер Жюль Ламбер проиграл в экарте все свои деньги. Он стал танцевать. Танцуя, он неумышленно толк-

нул какого-то господина, который, проиграв в тот вечер значительную сумму денег, был сильно не в духе. Последовал обмен резкими словами; результатом был вызов на дуэль. Жюль Ламбер попросил Сен-Клера быть его секундантом и в то же время занял у него денег, которых так потом и не возвратил.

Сен-Клер, несмотря на все о нем сказанное, был, однако ж, человек приятный в общении. Его недостатки вредили только ему лично. Он был услужлив, часто приветлив, и редко бывало с ним скучно. Он много путешествовал, много читал, но говорил о своих путешествиях и читанных им книгах не иначе, как когда настоятельно его к тому принуждали. Он был высок ростом, приятной наружности; черты его отличались благородством; в них отражался ум; лицо его всегда, однако ж, дышало спокойствием; в улыбке его было что-то привлекательное.

Я забыл одно важное обстоятельство. Сен-Клер отличался большой внимательностью к женщинам; он предпочитал их беседу мужской. Любил ли он? Вопрос разрешить было трудно. Во всяком случае, если такой наружно холодный человек любил кого-нибудь, предметом его страсти могла быть только – это все знали – хорошенькая графиня Матильда де Курси. Это была молодая вдова, которую посещал он с редким постоянством. Предположения основывались на следующих доводах: утонченное, почти церемонное обращение Сен-Клера с графиней; то же и с ее стороны; он старался не

произносить в свете имя графини; когда же он бывал к тому вынужден, то никогда не присоединял похвалы к ее имени; дальше, до того как Сен-Клер был представлен графине, он любил музыку, она выказывала тогда столько же расположения к живописи; после знакомства вкусы обоих вдруг переменились. И наконец, графиня в прошлом году отправилась на воды; шесть дней спустя Сен-Клер поспешил за нею последовать.

.....

Обязанность историка вынуждает меня сообщить, что в одну июльскую ночь, за несколько мгновений до восхода солнца, калитка парка отворилась и пропустила человека, который вышел на дорогу, принимая такие же точно предосторожности, как вор, опасющийся быть застигнутым. Парк и поместье принадлежали графине де Курси, человек, вышедший из калитки, был не кто другой, как Сен-Клер. Женщина, закутанная в шубку, проводила его до самой калитки; она вытянула шею и жадно следила за ним глазами, в то время как он торопливо спускался по тропинке, огибавшей стену парка. Сен-Клер остановился, осмотрелся вокруг и рукою сделал знак женщине, чтобы она скрылась. Прозрачность летней ночи позволила ему различить на прежнем месте бледное лицо женщины. Он вернулся назад, подошел к ней и нежно обнял. Ему хотелось уговорить ее вернуться до-

мой, но столько еще оставалось сказать ей! Беседа продолжалась минут десять, затем в стороне послышался голос крестьянина, выходявшего на работу. Торопливый поцелуй, калитка быстро захлопнулась, и Сен-Клер стал быстро удаляться.

Он шел знакомой дорогой. Он то подпрыгивал от радости, ускорял шаг и ударял по кустам палкой, то внезапно останавливался или медленно продолжал путь, оглядывая небо, начинавшее алеть на востоке. Можно было принять его за сумасшедшего, вырвавшегося на свободу. Полчаса спустя он остановился у двери небольшого уединенного домика, снятого им на все лето. У него был ключ; он вошел. Он бросился на диван и здесь, уставив глаза в одну точку и блаженно улыбаясь, принялся размышлять и грезить наяву. Воображение рисовало перед ним картину самого полного счастья. «Как я счастлив! – повторял он ежеминутно. – Наконец-то встретил я сердце, которое меня поняло!.. Да, я встретил свой идеал, приобрел в одно и то же время и друга, и обожаемую женщину... Какой характер!.. Какая пылкая душа!.. Нет, до меня она никого не любила!..» Движимый тщеславием, от которого не свободны лучшие наши побуждения, он прибавлял: «Красивее женщины нет в Париже!» И воображение рисовало ему все ее прелести. «Она меня предпочла! У ее ног было избранное общество. Гусарский полковник, красавец и храбрец, и притом совсем не фат... Молодой писатель, пишущий такие прелестные акварели, прекрасно играющий в

салонных спектаклях... Наконец, тот русский ловелас, побывавший на Балканах и служивший при Дибиче. А главное, Камилл Т*** с его умом, изящными манерами, великолепным шрамом на лбу... И ни на кого из них она не обратила внимания. А я!..» И он снова и снова повторял: «Как я счастлив, боже, как я счастлив!..» Он встал, отворил окно, он задыхался; минутой спустя он принялся расхаживать по комнате, затем снова бросился на диван.

Счастливейший любовник почти всегда так же скучен, как любовник несчастливый. Один из моих друзей, находившийся попеременно то в том, то в другом положении, нашел способ заставлять меня выслушивать его: он угощал меня отличным завтраком, во время которого я разрешал ему говорить о своей любви сколько угодно, но после кофе я чувствовал настоятельную потребность переменить тему разговора.

Не имея возможности приглашать на завтрак всех моих читателей, я избавлю их от дальнейших любовных мечтаний Сен-Клера. К тому же нельзя постоянно витать в облаках. Сен-Клер был утомлен; он зевнул, потянулся, убедился, что на дворе совсем рассвело и что надо наконец подумать о сне.

Проснувшись и взглянув на часы, он увидел, что времени ему оставалось ровно столько, чтобы одеться и ехать в Париж на званный завтрак в кругу молодых приятелей.

.....

Откупорили еще одну бутылку шампанского, число прежде выпитых предоставляю определить читателю. Достаточно знать, что общество пришло уже в то состояние, которое на завтраках в молодой холостой компании наступает довольно быстро: все говорили одновременно, и головы крепкие начали беспокоиться за слабые.

– Желательно было бы, – произнес Альфонс де Темин, не пропускавший случая поговорить об Англии, – желательно было бы ввести в Париже лондонский обычай, состоящий в том, что каждый предлагает тост в честь любимой женщины. Таким способом мы могли бы наконец узнать, о ком вздыхает наш друг Сен-Клер.

Он налил стакан вина и подлил своим соседям.

Сен-Клер, несколько смущенный, собирался ответить, но Жюль Ламбер опередил его.

– Обычай хорош, я его одобряю! – сказал он, приподнимая стакан.

– Господа! – провозгласил он. – За здоровье всех парижских модисток, исключая тридцатилетних, кривых, хромых и тому подобных.

– Уррра!.. Уррра!.. – прокричали молодые англomanы.

Сен-Клер привстал и поднял стакан.

– Господа! – сказал он. – Сердце мое не столь любвеобиль-

но, как сердце моего друга Жюля, но оно более постоянно. Мое постоянство тем более похвально, что я уже давно нахожусь в разлуке с дамой моего сердца. Уверен заранее, что вы одобрите мой выбор, если только я не встречу между вами соперника... Господа, за здоровье Джудитты Паста! За скорое возвращение к нам этой первой трагической актрисы в Европе!..

Темин хотел посмеяться над тостом; аплодисменты остановили его. Отделавшись таким образом, Сен-Клер считал, что он вышел из положения, и успокоился.

Разговор коснулся сначала театра. Драматическая цензура послужила поводом для перехода к политике. От лорда Веллингтона перешли к английским лошадям, а после английских лошадей, по весьма естественному течению мыслей, занялись женщинами. Молодежь выше всего ценит красивых лошадей и хорошеньких любовниц.

Потом стали обсуждать, каким способом легче всего приобрести желаемое. Лошади покупаются, некоторые женщины также, но о таких не стоит и говорить. Сен-Клер, скромно признав свою неопытность в этом щекотливом деле, все же сказал, что, по его мнению, чтобы понравиться женщине, нужно прежде всего отличаться какою-нибудь оригинальною чертою, не быть похожим на других. Но существует ли общая формула оригинальности? Он думает, что нет.

– По-вашему, стало быть, у хромого или горбатого больше преимуществ, чем у человека стройного, сложенного, как

все? – спросил Жюль.

– Вы несколько преувеличиваете, – возразил Сен-Клер, – тем не менее я стою на своем. Возьмем пример: будь я горбат, я не застрелился бы с горя, а пытался бы одерживать победы над прекрасным полом. Прежде всего я обратился бы только к двум типам женщин: таким, у которых особенно чувствительное сердце, или таким – а их много, – которые стремятся прослыть оригинальными, *эксцентричными*, как говорят в Англии. Первым я стал бы расписывать весь ужас моего положения, всю жестокость природы по отношению ко мне. Я постарался бы их разжалобить, сумел бы внушить им мысль, что я способен на страстную любовь. Я убил бы на дуэли соперника и отравил бы себя слабой дозой опиума. Спустя несколько месяцев мой горб перестали бы замечать, и тогда от меня самого зависело бы воспользоваться первым припадком чувствительности. Что же касается женщин, выдающих себя за оригиналок, то победа над ними была бы еще легче. Стоило бы только убедить их, будто точно и непреложно установлено, что горбун не может рассчитывать на успех у женщин, и они немедленно пожелали бы опровергнуть общее мнение.

– Каков донжуан! – вскричал Жюль Ламбер.

– Господа, давайте переломаем себе ноги, раз мы не имели счастья родиться горбатыми! – вскричал полковник Боже.

– Я совершенно разделяю мнение Сен-Клера, – подхватил Гектор Рокантен, который был не больше трех с половиной

футов ростом. – Часто случается, что самые красивые, самые модные женщины отдаются таким людям, которых вы, красавцы, никогда не сочли бы опасными. . .

– Гектор, встаньте, пожалуйста, и позвоните, чтобы нам дали еще вина, – проговорил Темин самым естественным тоном.

Карлик встал, и, глядя на него, каждый с улыбкою припомнил басню о лисице с отрубленным хвостом.

– А я, – сказал Темин, – чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что приятная наружность, – при этом он самодовольно глянул в зеркало, висевшее против него, – и умение со вкусом одеваться были всегда теми оригинальными чертами, которые покоряют самых неприступных.

Он щелкнул по обшлагоу фрака, чтобы сбросить приставшую крошку хлеба.

– Полноте! – вскричал карлик. – С красивым лицом и платьем от Штауба приобретешь разве таких женщин, которых бросишь через неделю: они прискучат после второго свидания. Чтобы заставить себя полюбить – полюбить по-настоящему, – нужно кое-что другое... нужно...

– Угодно пример? – перебил Темин. – Убедительный пример? Все вы знали Масиньи, знали, что это была за личность: манеры – как у английского грума, в разговоре – совершенная лошадь. Но он был красив, как Адонис, и повязывал галстук не хуже Бреммеля. В сущности, это был один из скучнейших людей, каких мне приходилось видеть.

– Он чуть было не уморил меня от скуки, – подхватил полковник Боже. – Представьте, раз как-то пришлось мне проехать вместе с ним двести миль.

– А знаете ли вы, – спросил Сен-Клер, – что он был виновником смерти всем вам известного бедного Ричарда Торнтонна?

– Полно, – возразил Жюль, – разве вы не знаете, что Торнтонна убили разбойники недалеко от Фонди?

– Да, конечно, но, как увидите, Масиньи был по меньшей мере соучастником этого убийства. Несколько путешественников, в том числе и Торнтон, опасаясь разбойников, сговорились ехать в Неаполь вместе. Масиньи решил к ним присоединиться. Как только Торнтон узнал об этом, он из страха, вероятно, пробыть несколько дней в его обществе пустился в путь, не дожидаясь остальных. Он поехал один, а чем дело кончилось, вы знаете.

– Торнтон был прав, – сказал Темин, – из двух смертей он избрал самую легкую. На его месте всякий поступил бы так же. Значит, вы признаете, что Масиньи был скучнейшим человеком на свете? – прибавил он, помолчав.

– Признаем! – подхватили все в один голос.

– Будем справедливы, господа, – сказал Жюль, – сделаем исключение для ***, особенно когда он излагает свои политические планы.

– Признаете ли вы также, – продолжал Темин, – что госпожа де Курси женщина на редкость умная?

Наступило минутное молчание. Сен-Клер опустил голову; ему представилось, что глаза всех присутствующих устремлены на него.

– Кто же в этом сомневается? – произнес он наконец, продолжая смотреть в тарелку с таким видом, как будто его занимали нарисованные на ней цветы.

– Я утверждаю, – сказал Жюль, возвышая голос, – что она – одна из трех самых прелестных женщин Парижа.

– Я знал ее мужа, – сказал полковник, – он часто показывал мне женины письма: они были очаровательны.

– Огюст, – перебил Гектор Рокантен, обращаясь к Сен-Клеру, – представьте же меня графине! Вы, говорят, пользуетесь большим влиянием в ее салоне.

– В конце осени, – пробормотал Сен-Клер, – когда она вернется в Париж... Мне... мне кажется, что она никого не принимает в деревне.

– Дайте же мне наконец договорить! – вскричал Темин.

Снова наступило молчание. Сен-Клер сидел на своем стуле, как подсудимый в зале суда.

– Вы не видели графиню три года тому назад, Сен-Клер (вы были тогда в Германии), – продолжал Альфонс де Темин с убийственным хладнокровием, – и, следовательно, вообразить себе не можете, какова была в то время графиня. Прелесть! Свежа, как роза, а главное – жива и весела, как бабочка. И знаете ли, кто из бесчисленных ее поклонников более других удостоился ее расположения? Масиньи! Глупейший

и пустейший из людей вскружил голову умнейшей из женщин. Скажете ли вы после этого, что с горбом можно достигнуть такого успеха? Поверьте: требуется лишь приятная наружность, хороший портной и смелость.

Сен-Клер страдал невыносимо. Он собрался уже обвинить рассказчика во лжи, но боязнь скомпрометировать графиню удержала его. Ему хотелось произнести несколько слов в ее оправдание, но язык не повиновался. Губы его дрожали от бешенства. Он тщетно искал косвенный предлог, чтобы придрататься и начать ссору.

– Как! – вскричал Жюль с видом крайнего удивления. – Госпожа де Курси могла отдаться Масиньи? *Frailty, thy name is women!*¹

– Доброе имя женщины – сущий пустяк! – произнес Сен-Клер голосом резким и презрительным. – Каждому позволено трепать его ради острого словца и...

Пока он говорил, он вспомнил с ужасом этрусскую вазу, которую много раз видел на камине в парижском салоне графини. Он знал, что это был подарок Масиньи после возвращения его из Италии, и, словно для того, чтобы усилить подозрение, ваза последовала за графиней в деревню. И каждый вечер, откалывая свою бутоньерку, графиня ставила ее в этрусскую вазу.

Слова замерли у него на губах; он видел только одно, помнил только об одном – этрусская ваза!

¹ О женщины, вам имя – вероломство! (англ.)

«Хорошее доказательство! Основывать подозрение на такой безделице!» – скажет какой-нибудь критик.

Были ли вы когда-нибудь влюблены, господин критик?

Темин находился в слишком хорошем расположении духа, чтобы обидеться на тон Сен-Клера. Он отвечал с веселым добродушием:

– Я повторяю только то, что говорилось тогда в свете. Связь эта считалась несомненной в ту пору, когда вы находились в Германии. Впрочем, я мало знаю госпожу де Курси; скоро полтора года, как я у нее не был. Может быть, все это выдумки и Масиньи мне солгал. Но вернемся к начатому разговору; если даже приведенный мною пример неверен, я все-таки высказал верную мысль. Всем вам известно, что самая умная женщина во Франции, женщина, сочинения которой...

В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показался Теодор Невиль. Он только что вернулся из путешествия по Египту.

– Теодор? Так скоро!..

Его засыпали вопросами.

– Ты привез настоящий турецкий костюм? – спросил Темин. – Привез арабскую лошадь и египетского грума?

– Что за человек паша? – спросил Жюль. – Когда же наконец он объявит себя независимым? Видел ли ты, как с маху сносят голову одним ударом сабли?

– А *альмеи*? – спросил Рокантен. – Красивы ли каирские

женщины?

– Встречались ли вы с генералом Л.? – спросил полковник Боже. – Как сформировал он армию паши? Не передавал ли вам для меня сабли полковник С.?

– Ну, а пирамиды? Нильские пороги? Статуя Мемнона? Ибрагим-паша? – и т. д.

Все говорили одновременно. Сен-Клер думал только об этрусской вазе.

Теодор сел, поджав под себя ноги (привычка, заимствованная им в Египте, от которой он не мог отучиться во Франции), выждал, пока все устанут расспрашивать, и заговорил скороговоркой, чтобы труднее было перебивать его:

– Пирамиды! Поистине это – *regular humbug*². Они совсем не так высоки, как о них думают; всего на четыре метра выше Мюнстерской башни Страсбургского собора. Древности намозолили мне глаза; не говорите мне про них: мне дурно делается при одном виде иероглифа. Столько путешественников этим занималось! Целью моей поездки было понаблюдать характер и нравы того пестрого населения, которым кишат улицы Каира и Александрии, – всех этих турок, бедуинов, коптов, феллахов, могребингов; я сделал несколько заметок, пока был в лазарете. Какая гадость этот лазарет! Надеюсь, вы не верите в заразу. Я спокойно покуривал трубку, находясь между тремястами зачумленными. Кавалерия там хороша, полковник, хороши также лошади. Покажу вам

² Форменное надувательство (англ.).

потом отличное оружие, которое я оттуда вывез. Приобрел я, между прочим, превосходный *джерид*, принадлежавший когда-то пресловутому Мурад-бею. У меня для вас, полковник, ятаган, для Огюста – *ханджар*. Вы увидите мою *мечлу*, мой *бурнус* и мой *хаик*. Знаете ли вы, что при желании я мог бы привезти с собою женщин? Ибрагим-паша прислал из Греции такое множество их, что невольницу можно купить за грош... Но из-за моей матушки... Я много говорил с пашою. Черт возьми, он умен и без предрассудков! Вы не можете себе представить, как хорошо он разбирается в наших делах. Ему известны малейшие тайны нашего кабинета, честное слово. Из беседы с ним я почерпнул много ценных сведений о различных политических партиях во Франции. В настоящее время он очень интересуется статистикой. Он выписывает все наши газеты. Знаете ли вы, что он заядлый бонапартист? Только и разговору что о Наполеоне. «Какой великий человек *Бунабардо!*» – твердил он мне. *Бунабардо* – так называют они Бонапарта.

– «Джурдина – это Журден», – прошептал де Темин.

– Сначала, – продолжал Теодор, – Мохамед-Али был со мною настороже. Вы знаете, как вообще турки недоверчивы. Он, черт его возьми, принимал меня за шпиона или иезуита. Он ненавидит иезуитов. Но вскоре он понял, что я просто путешественник без предрассудков, живо интересующийся обычаями, нравами и политическим положением Востока. Тогда он перестал стесняться и заговорил по душам. На по-

следней аудиенции – это была уже третья – я решился чистосердечно ему заметить: «Не постигаю, – говорю, – почему твое высочество не объявит себя независимым от Порты». – «Господи! – воскликнул он. – Я бы рад, да боюсь, что либеральные газеты, заправляющие всем в твоей стране, не поддержат меня, когда я провозглашу Египет независимым». Очень красивый старик, прекрасная седая борода, никогда не смеется. Он угощал меня отличным вареньем. Из всего того, однако ж, что я подарил ему, больше всего приглянулась ему коллекция рисунков Шарле, где были изображены различные мундиры имперской гвардии.

– Паша – романтик? – спросил Темин.

– Он вообще мало занимается литературой, но вы, конечно, знаете, что вся арабская литература романтична. У них, между прочим, есть поэт Малек-Айятальянефус-Эбн-Эсраф, издавший за последнее время *Раздумья*, по сравнению с которыми *Раздумья* Ламартина кажутся классической прозой. Приехав в Каир, я нанял учителя арабского языка и начал читать Коран. Уроков я взял немного, но для меня этого было достаточно, чтобы почувствовать дивные красоты в языке пророка и понять также, насколько плохи все наши переводы. Угодно видеть арабское письмо? Взгляните на это слово, начертанное здесь золотом; это значит: аллах, то есть бог.

Тут он показал нам грязное письмо, извлеченное им из надушенного шелкового кошелька.

– Сколько времени пробыл ты в Египте? – спросил Темин.

– Полтора месяца.

Путешественник продолжал описывать все до мельчайших подробностей. Почти тотчас после его прихода Сен-Клер вышел и поскакал к своему загородному дому. Бешеный галоп его коня мешал ему сосредоточиться. Он лишь смутно сознавал, что счастье его разбито и что винить в этом можно только мертвеца и этрусскую вазу.

Вернувшись домой, Сен-Клер бросился на диван, где еще накануне так долго, так сладко мечтал о своем счастье. Он с особым восторгом упивался вчера той мыслью, что его возлюбленная была не похожа на других женщин, что за всю свою жизнь она любила только его одного и что никогда она не полюбит никого другого. Теперь этот чудный сон уступил место печальной, горькой действительности. «Я обладаю красивой женщиной, и только. Она умна, но тем больше ее вина: она могла любить Масиньи!.. Теперь, правда, она любит меня, любит всею душой, как только может любить. Быть любимым так, как был любим Масиньи!.. Она просто уступила моим домогательствам, моему капризу, моей дерзкой настойчивости. Да, я обманулся. Между нашими сердцами не было настоящей склонности. Масиньи или я – это для нее безразлично. Он был красив – она любила его за красоту. Я иногда ее развлекаю. «Ну, что ж, – сказала она себе, – раз тот умер – буду любить Сен-Клера! Если Сен-Клер умрет или наскучит мне – тогда посмотрим».

Я твердо верю, что дьявол, присутствуя невидимкой, под-

слушивает всегда несчастного, который сам себя мучает. Такое зрелище должно забавлять врага рода человеческого. И как только жертва чувствует, что раны ее подживают, дьявол снова спешит разбередить их.

Сен-Клеру чудился голос, напевающий ему над самым ухом:

...Большая честь —
Наследовать другому.

Он привстал и диким взором обвел комнату. Какая жалость, что он здесь один! Сен-Клер кого угодно разорвал бы сейчас в клочки.

Часы пробили восемь. Графиня ожидала его в половине девятого. «Полно, идти ли? И действительно, что за радость встречаться с возлюбленной Масиньи?» Он снова улегся на диван и закрыл глаза. «Буду спать!» – решил он. Полминуты пролежал он неподвижно, затем вскочил и побежал к часам, желая убедиться, сколько прошло времени. «Хорошо, если б было уже половина девятого! – подумал он. – Ни к чему было бы тогда идти. Было бы слишком поздно». У него не хватало силы воли, чтобы остаться дома; он искал предлога. Внезапная болезнь обрадовала бы его теперь. Он прошелся по комнате, сел, взял книгу, но не мог прочесть ни одной строчки; подошел к пианино, но не раскрыл его. Он посви-

стел, окинул взглядом облачное небо и начал считать тополя перед окнами. Возвратясь к часам, он увидел, что не сумел протянуть и трех минут. «Нет, я не в силах заставить себя не любить ее! – вскричал он, стиснув зубы и топнув ногой. – Она владеет мною; я раб ее, как Масиньи был ее рабом до меня! Повинуйся же, презренный, повинуйся, если у тебя не хватает духу порвать ненавистную цепь!» Он схватил шляпу и быстро вышел.

Когда страсть владеет нами, мы находим некоторое утешение для самолюбия, рассматривая нашу слабость с высоты нашей гордости. «Я уступаю, я слаб, это правда, – говорим мы себе, – но стоит мне захотеть...»

Сен-Клер медленно поднимался по дороге, ведущей к калитке парка; вдали уже мелькала перед ним фигура женщины в белом платье, выделявшемся на темной зелени деревьев; рука махала платком, будто давая знак. Сердце его сильно билось, колени дрожали; он не мог выговорить ни слова; он почувствовал вдруг необыкновенную робость – он боялся, как бы графиня не прочла на его лице, что он в дурном расположении духа.

Он взял ее руку; она бросилась к нему на шею, он поцеловал ее в лоб и проследовал за нею в комнаты молча, с трудом подавляя вздохи, теснившие ему грудь.

Одинокая свечка освещала будуар графини. Оба сели. Прическа Матильды обратила на себя внимание Сен-Клера: розан украшал ее волосы. Накануне он принес ей прекрас-

ную английскую гравюру, изображавшую портрет герцогини Портлендской, писанный Лесли (прическа была у нее та же, что теперь у графини), и сказал: «Простой розан в волосах мне больше по сердцу, чем сложные ваши прически». Он не любил драгоценностей; он был одного мнения с тем лордом, который, не стесняясь в выражениях, говорил: «В разряженной женщине, как в лошади, покрытой попоной, сам черт не разберется». Прошлую ночью, перебирая жемчужное ожерелье графини (у него была привычка непременно держать что-нибудь в руках во время разговора), Сен-Клер сказал ей: «Драгоценности нужны только для того, чтобы скрывать недостатки. Вы и без них очень хороши, Матильда». В тот же вечер графиня, придавая значение каждому его слову, даже случайному, сняла с себя кольца, ожерелья, серьги и браслеты. В женском туалете, по его мнению, главную роль играла обувь; на этот счет у него, как и у многих других, были свои взгляды. Перед закатом солнца шел сильный дождь; трава была еще совершенно мокрая. А графиня выбежала к нему навстречу в шелковых чулках и черных атласных туфельках... Что, если она простудится?

«Она меня любит», – сказал себе Сен-Клер и с грустью подумал о себе и о своем безумии. Он взглянул, невольно улыбувшись, на Матильду. В душе его происходила борьба между подозрением и удовольствием видеть хорошенькую женщину, старавшуюся ему угодить всеми мелочами, которые имеют такую цену в глазах влюбленных.

Между тем сияющее лицо графини выражало любовь и веселое лукавство, делавшее его еще привлекательнее. Она достала что-то из лакированного японского ларца и, протягивая Сен-Клеру сжатый кулачок и не показывая, что в нем находится, сказала:

– На днях я разбила ваши часы. Они уже починены. Вот они. Она передала ему часы, глядя на него нежно и шаловливо, закусив нижнюю губку, чтобы не рассмеяться. Господи, как прелестны были ее зубки! Какой белизной сверкали они на пылающем пурпуре ее губ! У мужчины бывает очень глупый вид, когда он холодно принимает ласки хорошенькой женщины.

Сен-Клер поблагодарил и собирался уже спрятать часы в карман, но она остановила его:

– Подождите! Откройте часы, посмотрите, хорошо ли они починены. Вы, такой ученый, вы, бывший ученик Политехнической школы, должны знать в этом толк.

– О, я мало в этом смысле, – сказал Сен-Клер.

Он с рассеянным видом раскрыл часы. Каково же было его удивление, когда он увидел на внутренней стороне крышки миниатюрный портрет г-жи де Курси! Можно ли было после этого хмуриться? Лицо его просветлело; мысль о Масиньи исчезла. Он помнил только о том, что находится подле прелестной женщины и что женщина эта его обожает.

.....

Послышалась песнь жаворонка, «глашатая зари»; на востоке длинные бледные лучи прорезывали облака. В такой же час Ромео прощался с Джульеттой; в этот классический час должны расставаться все влюбленные.

Держа в руке ключ от калитки, Сен-Клер стоял перед камином, внимательно глядя на этрусскую вазу, о которой мы уже говорили. В глубине души он все еще на нее сердился. Он был, однако ж, в хорошем расположении духа, и тут наконец ему пришла в голову простая мысль, что Темин мог солгать. В то время как графиня, желавшая проводить его до калитки, набрасывала на голову шаль, он стал сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее постукивать по вазе ключом: можно было подумать, что он намерен разбить ее вдребезги.

– Боже мой! Осторожнее! – вскричала она. – Вы разобьете мою прелестную этрусскую вазу.

Она вырвала ключ у него из рук.

Сен-Клер был очень недоволен, но подчинился. Он повернулся спиной к камину, чтобы не поддаваться искушению, и, раскрыв часы, принялся рассматривать портрет графини.

– Кто писал его? – спросил он.

– Р***. Кстати, меня познакомил с ним Масиньи. После своего пребывания в Риме он вдруг открыл в себе тонкий ху-

дожественный вкус и сделался меценатом всех молодых живописцев. Я нахожу, что портрет в самом деле похож; разве только художник немножко польстил мне.

Сен-Клеру хотелось хватить часы об стену (после этого вряд ли удалось бы их починить). Он сдержался, однако ж, и снова спрятал их в карман. Заметив, что совсем рассвело, он вышел из дому, умоляя графиню не провожать его, быстрым шагом прошел через парк и вскоре очутился один среди полей.

«Масиньи, Масиньи! – мысленно восклицал он со сдержанным бешенством. – Неужели ты будешь вечно попадаться мне на пути?.. Живописец этот, без сомнения, написал другой такой же портрет для Масиньи!.. Каким надо быть глупцом, чтобы допустить хоть на минуту, что меня любили, как любил я!.. И все это только потому, что в волосах у нее розан и что она перестала носить драгоценности!.. У нее их полный ларчик... Масиньи, ценивший в женщине только туалеты, так любил драгоценности! Да, надо сознаться, у нее покладистый характер, большое умение приноравливаться к вкусам своих любовников. Черт побери, было бы в сто раз лучше, если б она была просто куртизанкой и отдавалась за деньги. Тогда я мог бы, по крайней мере, думать, что она действительно меня любит, – она моя любовница, а я ей не плачу».

Вскоре другая мысль, еще более мучительная, мелькнула у него в голове. Через некоторое время траур графини кон-

чался. С истечением годовичного срока Сен-Клер должен был с ней обвенчаться. Он это ей обещал. Обещал? Нет. Он никогда не говорил с ней об этом, но таково было его намерение, и графиня о нем догадывалась. По его понятиям, это было равносильно клятве. Еще накануне он принес бы в жертву все, чтобы только ускорить час, когда он сможет объявить во всеуслышание о своей любви; теперь он содрогался при одной мысли связать судьбу свою с бывшей любовницей Масиньи.

«Но я *должен*, однако ж, это сделать, и так это и будет, – повторял он мысленно. – Бедняжка, она, наверное, думала, что мне известна ее прежняя связь. Говорят, что они не скрывали ее. И то сказать: она мало еще меня знает и потому не может понять... Она думает, что я люблю ее так же, как любил Масиньи. Что ж, – прибавил он не без гордости, – благодаря Матильде три месяца я был счастливейшим из людей; такое счастье стоит того, чтобы принести ему в жертву остаток жизни».

Он не ложился и все утро ездил верхом по лесу. В одной из аллей Верьерского леса он увидел всадника на отличной английской лошади; всадник еще издали назвал его по имени и подъехал к нему. То был Альфонс де Темин. Сен-Клер был в таком состоянии, когда одиночество особенно приятно; при встрече с Темином его дурное расположение духа сменилось сдержанной яростью. Темин не замечал этого, а может быть, даже находил удовольствие в том, чтобы драз-

нить его. Он болтал, смеялся, шутил, не обращая внимания на то, что Сен-Клер молчит. Увидев перед собою узенькую аллею, Сен-Клер тотчас же направил туда своего коня в надежде отвязаться от назойливого спутника, но он ошибся – назойливые люди не так легко расстаются со своими жертвами. Темин повернул коня, въехал в аллею и, догнав Сен-Клера, продолжал болтать как ни в чем не бывало.

Как я уже говорил, аллея была узка; две лошади едва-едва могли двигаться рядом; ничего, следовательно, нет удивительного, если Темин, при всем своем умении держаться в седле, задел ногу Сен-Клера, проезжая мимо него. Но досада уже накипела в сердце Сен-Клера; он не в силах был ее сдерживать: привстав на стремянах, он ударил хлыстом по морде лошадь Темина.

– Черт подери! Огюст! Что с вами? – воскликнул Темин. – За что вы бьете мою лошадь?

– Зачем вы за мной едете? – диким голосом закричал Сен-Клер.

– Вы с ума сошли, Сен-Клер! Вы забываете, с кем говорите!

– Отлично помню, что говорю с наглецом.

– Сен-Клер!.. Вы, должно быть, рехнулись... Завтра вы или извинитесь передо мной, или ответите мне за вашу дерзость.

– Итак, до завтра, милостивый государь!

Темин остановил лошадь; Сен-Клер проехал вперед и

вскоре исчез в лесу.

С этой минуты он почувствовал себя спокойнее. У него была слабость верить в предчувствия. Ему представилось, что завтра он будет убит и что в этом простейший выход из положения, в которое он попал. Прожить еще один день – и больше никаких забот, никаких терзаний. Вернувшись домой, он послал человека с запиской к полковнику Боже, написал несколько писем, пообедал с аппетитом и ровно в половине девятого был у калитки парка.

.....

– Что с вами сегодня, Огюст? – спросила графиня. – Вы необыкновенно веселы, и тем не менее все ваши шутки не смешат меня нисколько. Вчера вы были сумрачны, а мне было так весело! Сегодня наши роли переменились. У меня ужасно болит голова.

– Да, дорогой друг, признаюсь, я был вчера очень скучен, а сегодня я много гулял, много двигался и чувствую себя превосходно.

– А я поздно встала, долго спала утром и все время видела тяжелые сны.

– Сны? Вы верите снам?

– Какой вздор!

– А я верю, – сказал Сен-Клер. – Бьюсь об заклад, вы видели сон, предвещающий какое-нибудь трагическое событие.

– Я никогда не могу запомнить то, что вижу во сне. Впрочем, постойте, начинаю припоминать... Я видела во сне Масиньи. Можете из этого заключить, что в моих снах не было ничего интересного.

– Масиньи! Мне думается, что вы не отказались бы увидеть его снова.

– Бедный Масиньи!

– Бедный Масиньи?

– Огюст, скажите мне, прошу вас, что с вами сегодня? В вашей улыбке есть что-то демоническое. Вы как будто смеетесь сами над собою.

– Ну вот! Вы тоже начали обращаться со мной, как разные почтенные старушки, ваши приятельницы.

– Нет, кроме шуток, Огюст, у вас сегодня такое выражение лица, какое бывает, когда вы разговариваете с людьми, которых недолюбливаете.

– Какая вы нехорошая! Дайте мне вашу ручку.

Он поцеловал ей руку с иронической галантностью, и с минуту они пристально смотрели друг на друга.

Сен-Клер первый опустил глаза.

– Как трудно прожить на этом свете, не прославив злым человеком! – сказал он. – Для этого необходимо говорить только о погоде или об охоте либо обсуждать вместе с вашими приятельницами-старушками бюджет их благотворительных учреждений.

Сен-Клер взял со стола какую-то записку.

– Вот, – сказал он, – счет вашей прачки; будем беседовать об этом предмете, мой ангел, по крайней мере, вы не будете упрекать меня в том, что я злой.

– Вы меня просто удивляете, Огюст...

– Орфография этого счета напоминает мне письмо, найденное мною сегодня. Надо вам сказать, я разбирал сегодня свои бумаги; время от времени я навожу в них порядок. Так вот, я нашел любовное письмо, написанное мне швейкой, в которую я был влюблен, когда мне было шестнадцать лет. Каждое слово она писала особенным образом и притом крайне усложненно. Слог вполне соответствовал орфографии. Я был в то время немного фатом и находил несовместным с моим достоинством иметь любовницу, которая не владела пером, как госпожа де Севинье. Я быстро с ней порвал. Перечитывая сегодня ее письмо, я убедился, что швейка по-настоящему меня любила.

– Прекрасно! Женщина, которую вы содержали...

– Очень щедро: я давал ей пятьдесят франков в месяц. Опекун мой был прижимист; он утверждал, что молодой человек, у которого много денег, губит себя и других.

– А эта женщина? Что же с ней случилось?

– Почему я знаю?.. Вероятно, умерла в больнице.

– Если б это была правда, Огюст... вы бы не говорили об этом таким равнодушным тоном.

– Если хотите знать, она вышла замуж за «порядочного человека», а я, сделавшись совершеннолетним, дал ей неболь-

шое приданое.

– Какой вы, право, добрый!.. Зачем же вы хотите казаться злым?

– О, я очень добр!.. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что эта женщина действительно меня любила. Но в то время я не умел различить истинное чувство под смешной наружностью.

– Жаль, что вы не принесли мне это письмо. Я не стала бы ревновать... У нас, женщин, больше чутья, чем у вас; мы по стилю письма сейчас же узнаем, искренен ли писавший его или он разыгрывает страсть.

– Что не мешает вам, однако ж, попадаться так часто в ловушку глупцов и хвастунов!

Произнося эти слова, Сен-Клер смотрел на этрусскую вазу, и в его глазах и в голосе было злое выражение, которого, однако ж, не заметила Матильда.

– Полно! Все вы, мужчины, хотите прослыть за донжуанов. Вам кажется, что обманываете вы, а между тем вы сами часто попадаете в руки доньям жуанитам, еще более развращенным, чем вы.

– Конечно, с вашим тонким умом вы, женщины, должны чувствовать глупца за целую милю. Я не сомневаюсь, например, что ваш друг Масиньи, который был и глупец, и фат, умер девственником и мучеником...

– Масиньи? Он был далеко не так глуп. А потом, женщины тоже бывают глупые. Кстати, я вам расскажу одну историю,

случившуюся с Масиньи... Впрочем, я, кажется, уже вам ее рассказывала?..

– Никогда! – произнес Сен-Клер, и голос его дрогнул.

– Возвратясь из Италии, Масиньи влюбился в меня. Он был знаком с моим мужем; муж представил его мне как человека умного и со вкусом. Они были созданы друг для друга. Масиньи был сначала ко мне очень внимателен: преподносил мне акварели, выдавая их за свои, тогда как он попросту покупал их у Шрота, и беседовал со мною о музыке и живописи с видом знатока, не подозревая, как он смешон. Раз получаю я от него письмо невероятного содержания. В нем говорилось, между прочим, что я самая порядочная женщина в Париже – и по этой причине он хочет стать моим любовником. Я показала письмо кузине Жюли. Обе мы тогда были сумасбродками и решили сыграть с ним шутку. Как-то вечером собрались у нас гости, в числе которых был и Масиньи. Кузина вдруг говорит: «Я прочту вам объяснение в любви, – я получила его сегодня утром». Берет письмо и читает его во всеулышание при общем хохоте! Бедный Масиньи!

Сен-Клер радостно вскрикнул и упал на колени. Схватив руку графини, он покрыл ее поцелуями и окропил слезами. Матильда была крайне удивлена; ей даже показалось, что с ним что-то неладное. Сен-Клер мог только вымолвить: «Простите меня! Простите!» Наконец он встал: на лице его сияла радость. В эту минуту он чувствовал себя счастливее, чем даже в тот день, когда Матильда в первый раз сказала

ему: «Я люблю вас!»

– Я самый безумный, самый преступный человек на свете! – вскричал он. – Целых два дня меня мучили подозрения... а я не попытался объяснить с тобой...

– Ты подозревал меня!.. Но в чем же?

– О, я заслужил твое презрение!.. Мне сказали, что ты раньше любила Масиньи...

– Масиньи?..

Она засмеялась. Затем, сделавшись снова серьезной, сказала:

– Огюст! Можно ли быть в самом деле настолько безумным, чтобы дать волю таким подозрениям, и настолько лицемерным, чтобы скрыть их от меня?

В ее глазах блеснули слезы.

– Умоляю, прости меня!

– Могу ли я на тебя сердиться, мой милый?.. Но хочешь, я поклянусь тебе...

– О, верю, верю! Мне не надо клятв...

– Но, ради бога, скажи мне, на чем основывал ты свои нелепые подозрения?

– Виною всему мой злосчастный характер... И еще... эта этрусская ваза... Я знал, что тебе подарил ее Масиньи...

Графиня в изумлении всплеснула руками, но тут же, заливаясь смехом, сказала:

– Моя этрусская ваза! Моя этрусская ваза!

Сен-Клер тоже не мог удержаться от смеха, хотя по щекам

его катились крупные слезы. Он заключил Матильду в объятия и сказал:

– Я не выпущу тебя, пока не получу прощения...

– Прощаю тебя, безумец ты этакий! – проговорила она, нежно его целуя. – Сегодня я счастлива: в первый раз я вижу твои слезы; я не думала, чтобы ты мог плакать.

Высвободившись из его объятий, она схватила этрусскую вазу и, ударив об пол, разбила ее вдребезги. (Ваза принадлежала к числу очень редких. На ней изображен был в три краски бой лапифа с кентавром.)

В течение нескольких часов Сен-Клер был самым смущенным и самым счастливым из смертных.

.....

– Ну что? – спросил Рокантен, встретив полковника Боже вечером в кофейной Тортони. – Неужели это правда?

– К сожалению, да, – отвечал с грустным видом полковник.

– Расскажите же, как все произошло.

– Придаться не к чему. Сен-Клер сразу сказал мне, что он не прав, но хочет принести свои извинения только после того, как Темин сделает первый выстрел. Я не мог не одобрить его. Темин предложил бросить жребий, кому первому стрелять. Но Сен-Клер потребовал, чтобы первым стрелял Темин. Темин выстрелил. Я увидел, как Сен-Клер повернул-

ся и тут же упал мертвым. Мне часто приходилось наблюдать, как солдаты, раненные насмерть, так же странно поворачивались, перед тем как испустить последний вздох.

– Это удивительно! – заметил Рокантен. – Что же сделал Темин?

– То, что делают в подобных случаях. Он с видом глубокого сожаления бросил на землю пистолет. Бросил с такой силой, что собачка сломалась. Пистолет английской фабрики Ментона. Не думаю, чтобы нашелся в Париже оружейник, способный ее исправить.

.....

В течение трех лет графиня никого не хотела видеть. Зимой и лето проводила она в своей усадьбе, редко выходя из комнаты, редко даже обмениваясь словами с горничной-мулаткой, знавшей о ее связи с Сен-Клером. По прошествии этого времени ее кузина Жюли вернулась из дальнего путешествия. Она почти насильно проникла к затворнице и нашла бедную Матильду страшно исхудавшей и бледной, ей показалось, что перед ней труп женщины, которую она оставила такой прекрасной и полной жизни. Ей стоило огромных усилий извлечь Матильду из ее затвора и увезти на Гиерские острова. Там графиня протянула еще три-четыре месяца и наконец скончалась от «грудной болезни, вызванной семейными огорчениями», как уверял лечивший ее доктор М.

Партия в триктрак

Недвижные паруса висели, прилипнув к мачтам; море было ровно, как зеркало; зной был удушлив, безветрие приводило в отчаяние.

В морском путешествии возможности для развлечения, которые могут доставить себе обитатели корабля, немногочисленны. Увы! Люди слишком хорошо знают друг друга, проведя вместе четыре месяца в деревянном вместилище длиной в сто двадцать футов.

Вы видите, как подходит старший лейтенант, и вы уж заранее знаете, что он будет говорить вам о Рио-де-Жанейро, где он только что побывал, потом о пресловутом мосте под Эслингом, построенном на его глазах гвардейским экипажем, в котором тогда служил и он. Недели через две вам уже известны его излюбленные выражения, все, вплоть до манеры расставлять знаки препинания в фразах, до различных интонаций его голоса. Он непременно сделает печальную паузу, когда в его рассказе в первый раз встретится слово «император»... «Если бы вы тогда его видели!!!» (три восклицательных знака) – прибавляет он неизменно. А случай с лошадью трубача или с ядром, которое рикошетом сорвало сумку, где находилось семь с половиной тысяч франков в золоте и драгоценностях, и пр. и пр.! Младший лейтенант – великий политик; он каждый день комментирует последний но-

мер *Конститусьонеля*, вывезенный им из Бреста; если же он опустится с высот политики и снизойдет до литературы, то угостит вас разбором последнего водевиля, который он только что видел. О боже!.. У судебного интенданта была своя весьма интересная история. Когда в первый раз он нам рассказал, как он бежал с понтона в Кадисе, мы слушали его с восторгом; но, право же, при двадцатом повторении это уже было невыносимо... А мичманы, а гардемарины... Как вспомнишь их разговоры, волосы становятся дыбом. Капитан – обычно наименее скучный человек на корабле. В качестве деспотического начальника он находится в состоянии скрытой войны со всем своим штабом, он придирается, иногда притесняет, но зато какое удовольствие потихоньку проклинать его! Если у него есть кое-какие причуды, тягостные для подчиненных, то смеяться над своим начальником тоже не лишено приятности и служит некоторым утешением.

Офицеры корабля, на котором я находился, были превосходнейшими людьми – все добрые малые, любившие друг друга братской любовью; но скучали они всюю. Капитан был кротчайшим созданием, отнюдь не придиричивым (что встречается весьма редко). Свою диктаторскую власть он проявлял всегда очень неохотно. А все же каким долгим показалось мне это плавание! Особенно тягостно было безветрие, в полосу которого мы попали всего за несколько дней до того, как увидели землю!

Однажды после обеда, который мы от нечего делать тяну-

ли, насколько было возможно, мы все собрались на палубе в ожидании однообразного, но всегда величественного зрелища заката солнца на море. Одни курили, другие перечитывали в двадцатый раз какой-нибудь из трех десятков томов нашей жалкой библиотеки; все до слез зевали. Мичман, сидевший рядом со мной, занимался тем, что с важностью, достойной лучшего применения, бросал на дощатый пол палубы острием вниз кортик, который обычно носят при непарадной форме морские офицеры.

Это тоже своего рода развлечение, притом требующее известной ловкости, для того чтобы острие совершенно отвесно воткнулось в доску. Мне захотелось последовать примеру мичмана, и я попросил у капитана его кортик, так как своего у меня не было. Но он отказал мне. Он очень дорожил этим оружием, и ему было бы неприятно, если б оно послужило для такой праздной забавы. Прежде кортик этот принадлежал одному храброму офицеру, к несчастью, погибшему в последнюю кампанию... Я предчувствовал, что за этим последует какая-нибудь история. Я не ошибся. Капитан не заставил себя просить и начал рассказ. Что касается окружающих нас офицеров, из которых каждый наизусть знал злоключения лейтенанта Роже, они сейчас же потихоньку ретировались. Вот что рассказал мне капитан.

– Когда я познакомился с Роже, он был на три года старше меня: он был лейтенантом, я – мичманом. Уверю вас, это

был один из лучших офицеров в нашей команде, к тому же с прекрасным сердцем, умница, образованный, талантливый – одним словом, очаровательный молодой человек. К несчастью, немного горд и обидчив; происходило это, вероятно, оттого, что он был незаконным сыном и боялся, как бы его происхождение не лишило его положения в обществе. Но, по правде сказать, главным его недостатком было постоянное и непреодолимое желание первенствовать всюду, где бы он ни находился. Отца своего он никогда не видал, но тот выплачивал ему содержание, которого ему за глаза хватало бы, если бы Роже не был воплощенной щедростью. Все, что он имел, было к услугам его друзей. Придешь к нему, после того как он получит свое трехмесячное жалованье, сделаешь печальное и озабоченное выражение лица, и он сейчас же спросит:

– Что с тобой, приятель? Видно, если ты хлопнешь себя по карману, там не очень-то зазвенит... Полно! Вот мой кошелек. Бери, сколько нужно, и едем со мной обедать.

В Брест приехала молодая актриса, очень хорошенькая, по имени Габриэль, и сейчас же одержала ряд побед над моряками и гарнизонными офицерами. Ее нельзя было назвать безупречной красавицей, но она была хорошего роста, у нее были красивые глаза, маленькая ножка и достаточно наглый вид – все это очень нравится малым от двадцати до двадцати пяти лет. Говорили, что к тому же она самое капризное существо женского пола; ее манера играть не опровергала этой

репутации. Иногда играла она восхитительно, так, что можно было признать ее за первоклассную артистку, а на следующий день в той же пьесе она была холодна, бесчувственна и произносила свою роль, как ребенок твердит катехизис. Наших молодых людей особенно заинтересовала следующая история, которую про нее рассказывали. Будто бы ее содержал, тратя на нее много денег, некий парижский сенатор, совершавший ради нее всяческие, что называется, безумства. В один прекрасный день человек этот, будучи у нее в гостях, надел шляпу; она попросила ее снять, даже принялась жаловаться на недостаток уважения к ней. Сенатор рассмеялся, пожал плечами и, усевшись плотнее в кресло, сказал: «Неужели же я не могу вести себя как дома у девицы, которую я содержу?» В ответ на это Габриэль дала ему своей белой ручкой такую увесистую оплеуху, что шляпа сенатора полетела в другой угол комнаты. В результате – полный разрыв. Банкиры и генералы делали ей солидные предложения, но она на все отвечала отказом и сделала актрисой, чтобы вести, по ее словам, независимый образ жизни.

Как только Роже ее увидел и узнал про эту историю, он решил, что особа эта как раз по нем, и, чтобы показать ей, насколько ее прелести его тронули, он с грубоватой откровенностью, в которой упрекают нашего брата-моряка, прибегнул к такому способу. Он купил лучших и самых редких, какие только можно было найти в Бресте, цветов, составил из них букет, перевязал его красивой розовой лентой, а в бант

очень аккуратно вложил сверток из двадцати пяти золотых: в данную минуту это было все его состояние. Я помню, что в антракте пошел с Роже за кулисы. Он сказал Габриэль короткий комплимент насчет грации, с какой она носит костюм, поднес букет и попросил разрешения нанести визит. Все это высказано было в двух словах.

Покуда Габриэль видела только цветы и красивого молодого человека, который их подносит, она ему улыбалась и сопровождала свои улыбки премилыми поклонами, но когда она взяла букет в руки и почувствовала тяжесть золота, ее физиономия изменилась быстрее, чем поверхность моря под тропическим ураганом. И действительно, она была не менее сердита, чем ураган; изо всей силы она бросила букет и золотые монеты в лицо моему бедному другу, и тот целую неделю после этого ходил с синяками. Раздался звонок режиссера. Габриэль вышла на сцену и сыграла все шиворот-навыворот.

Роже сконфуженно подобрал свой букет и сверток с монетами и отправился в кофейную; там он поднес букет (уже без денег) кассирше, а воспоминание о жестокой красавице постарался утопить в пунше. Этого ему не удалось, и, очень досадуя, что никуда не может показаться с подбитым глазом, он все же безумно влюбился в строптивую Габриэль. Он ей писал по двадцати писем в день. И какие это были письма! Смиренные, нежные, почтительные... Их можно было бы адресовать какой-нибудь принцессе. Первые были возвращены ему нераспечатанными, последующие остались без отве-

та. Роже тем не менее сохранял кое-какую надежду, пока мы не обратили внимания на то, что театральная фруктовщица заворачивала апельсины в любовные письма Роже, которые Габриэль отдавала ей из утонченной злобы. Это был страшный удар для гордости нашего друга. Страсть его, однако, не уменьшалась. Он говорил, что посватается к актрисе; когда же ему сказали, что морской министр не даст ему на это согласия, он объявил, что застрелится.

В это самое время офицерам линейного полка Брестского гарнизона вздумалось заставить Габриэль повторить водевильные куплеты; она закапризничала и отказалась. Офицеры и актриса так старались переупрямить друг друга, что они свистками заставили опустить занавес, а она лишилась чувств. Вы знаете, какая публика в партере гарнизонного города. Офицеры сговорились между собой, что начиная со следующего же дня они будут беспощадно освистывать провинившуюся, что они ей не дадут сыграть ни одной роли, пока она надлежащим смирением не искупит свою вину. Роже не присутствовал на этом представлении, но он в тот же вечер узнал о скандале, взволновавшем весь театр, и о том, какая месть замышляется на следующий день. Решение было принято им немедленно.

На другой день, как только Габриэль появилась на сцене, с офицерских мест раздались оглушительные шиканье и свист. Роже, поместившийся нарочно поблизости от скандалистов, поднялся и запротестовал, позволив себе по отноше-

нию к самым шумным из них столь оскорбительные выражения, что вся их ярость тотчас же обратилась на него. Тогда с величайшим хладнокровием он вынул свою записную книжку и стал записывать фамилии, которые ему со всех сторон выкрикивали. Он принял бы вызов от всего полка, если бы из духа товарищества в дело не вмешались многие морские офицеры и не вызвали большую часть его противников. Шум поднялся невероятный.

Весь гарнизон был посажен под арест на несколько дней; но когда офицеров выпустили на свободу, мы должны были рассчитаться со всеми нашими противниками. На место поединка сошлось около шестидесяти человек. Роже довелось драться с тремя офицерами: одного он убил, а двух других тяжело ранил, сам не получив ни одной царапины. Я был менее удачлив: какой-то проклятый лейтенант, который оказался бывшим учителем фехтования, так хватил меня в грудь шпагой, что я чуть не умер. Поверьте, эта дуэль или, лучше сказать, эта битва представляла собой прекрасное зрелище. Флот одержал верх, и полк принужден был покинуть Брест.

Разумеется, высшее начальство не забыло того, кто был виновником этой ссоры. В продолжение двух недель к дверям его был приставлен караул.

К тому времени, как арест с него был снят, я вышел из госпиталя и отправился его навестить. Каково же было мое удивление, когда, войдя к нему, я застал его завтракающим с

глазу на глаз с Габриэль! По-видимому, они уже давно пришли к полному соглашению. Они уже говорили друг другу «ты» и пили из одного стакана. Роже представил меня своей любовнице как своего лучшего друга и сообщил ей, что я был ранен в стычке, причиной которой была она. За это я получил поцелуй от прекрасной особы. Наклонности у этой девицы были весьма воинственные.

Три месяца они были вполне счастливы и не разлучались ни на минуту. Габриэль, казалось, страстно полюбила Роже, а он признавался, что до встречи с нею не знал, что такое любовь.

В гавань прибыл голландский фрегат. Офицеры дали обед в нашу честь. Различных вин было выпито более чем достаточно. Наконец убрали со стола; эти господа говорили по-французски очень плохо, и потому собравшиеся, не зная, чем заняться, принялись за игру. У голландцев, по-видимому, было много денег, а их старший лейтенант рвался играть так крупно, что никто из нас не рисковал составить ему партию. Роже, который обычно никогда не играл, решил, что нужно поддержать национальную честь. Итак, он стал играть и отвечал на все ставки голландского лейтенанта. Сначала он был в выигрыше, потом стал проигрывать. Выигрыш и проигрыш несколько раз чередовались, и противники разошлись, закончив игру вничью. Мы дали ответный обед голландским морякам. Снова была игра. Роже и лейтенант возобновили схватку. Одним словом, в течение

нескольких дней они сходились то в кофейной, то на корабле, перепробовав всевозможные игры (особенно часто играли они в триктрак) и все время повышали ставки, так что в конце концов дошли до двадцати пяти наполеондоров за партию. Это была огромная сумма для таких неимущих офицеров, как мы, — больше чем двухмесячное жалованье! К концу недели Роже проиграл все свои наличные деньги, да еще в придачу три или четыре тысячи франков, которые он взял займы у кого только мог.

Вы, конечно, понимаете, что в конце концов у Роже и Габриэль хозяйство и касса сделались общими; это означало, что Роже, недавно получивший значительную сумму, вложил в общий котел в десять или двадцать раз больше, чем актриса. Тем не менее он всегда смотрел на общие деньги главным образом как на собственность своей любовницы и удержал для своих личных надобностей каких-нибудь полсотни наполеондоров. Однако теперь он должен был прибегнуть к этому резерву, чтобы продолжить игру. Габриэль на это не сказала ни слова.

Деньги на хозяйство отправились туда же, куда и карманные деньги. Вскоре Роже пришлось поставить последние двадцать пять наполеондоров. Он играл до ужаса старательно, так что партия вышла долгая и упорная. Наступила такая минута, что для Роже, за которым была очередь бросать кости, осталась только одна возможность выиграть: помнит-ся, надо было выкинуть шесть и четыре. Была уже поздняя

ночь. Один офицер, долго следивший за их игрой, заснул в кресле. Голландец устал, и ему хотелось спать, к тому же он много выпил пуншу. Один Роже был насторожен. Им владело отчаяние. Он весь дрожал, бросая кости. Он с такой силой швырнул их на игральную доску, что одна свеча от сотрясения упала на пол. Голландец сначала посмотрел на свечу, которая залила воском его новые брюки, а потом уж на кости. Они показывали шесть и четыре. Роже, бледный, как смерть, получил двадцать пять наполеондоров. Они продолжали игру. Счастье улыбнулось моему несчастному другу, хотя он делал промах за промахом и так сам себе загораживал ходы, будто хотел проиграть. Голландский лейтенант упорствовал: он удваивал, удесятерял ставки и все время проигрывал. Как сейчас вижу: высокий блондин, флегматичный, и лицо как будто восковое. Наконец он поднялся, проиграв восемьдесят тысяч франков, и выплатил их без малейших признаков волнения.

Роже сказал ему:

– Сегодняшняя игра не идет в счет: вы почти засыпали; я не возьму ваших денег.

– Вы шутите, – ответил флегматичный голландец, – я очень хорошо играл, но мне не везло. Я уверен, что в любой момент могу вас обыграть в пух и прах. Прощайте!

И они расстались.

На следующий день мы узнали, что в отчаянии от проигрыша он застрелился в своей каюте, предварительно осушив

чашу пунша.

Восемьдесят тысяч франков, выигранные Роже, лежали на столе, и Габриэль смотрела на них с улыбкой удовлетворения.

– Вот мы и богаты! – сказала она. – Что мы будем делать с такой кучей денег?

Роже ничего не отвечал; казалось, он не мог прийти в себя после смерти голландца.

– Нужно натворить всяких глупостей, – продолжала Габриэль. – Деньги эти так легко пришли к нам, что истратить их следует с такой же легкостью. Купим коляску и будем дразнить коменданта порта и его жену. Мне хочется бриллиантов, кашемира. Попроси отпуск, и поедem в Париж. Здесь нам ввек не истратить всех этих денег!

Она остановилась и взглянула на Роже. Он не слушал ее, он сидел, подперев голову рукою, не поднимая глаз; казалось, самые мрачные мысли бродили у него в голове.

– Что с тобою, Роже? – воскликнула она, положив руку ему на плечо. – Дуешься ты на меня, что ли? Слова из тебя не вытянешь.

– Я очень несчастен, – произнес он с подавленным вздохом.

– Несчастен! Господи прости, уж не раскаиваешься ли ты в том, что ощипал этого толстого *мингера*?

Он поднял голову и посмотрел на нее остановившимся взором.

– Что за важность, – продолжала она, – что он отнесся к этому так трагически и выпустил себе из головы остатки мозгов? Я не жалею проигравших игроков. Пусть уж лучше его деньги находятся в наших руках, чем в его. Он истратил бы их на выпивку да на табак, меж тем как мы... мы затеем массу чудачеств, одно элегантнее другого.

Роже ходил по комнате, опустив голову и полузакрыв глаза, полные слез. Вам стало бы жалко его, если бы вы его видели.

– Знаешь, – сказала Габриэль, – кому неизвестна твоя романтическая чувствительность, тот мог бы подумать, что ты сплутовал в игре.

– А если это так и есть? – произнес он глухим голосом, останавливаясь перед ней.

– Вздор! – ответила она с улыбкой. – У тебя ума не хватит, чтобы сплутовать в игре.

– Да, я сплутовал, Габриэль, сплутовал, как жалкий подлец!

Она поняла по его волнению, что он говорит правду. Она села на кушетку и некоторое время молчала.

– Лучше бы... – наконец промолвила она взволнованным голосом, – лучше бы ты убил десять человек, чем сплутовал в игре.

Полчаса длилась мертвая тишина. Они оба сидели на софе и ни разу не взглянули друг на друга. Роже встал первый и довольно спокойно пожелал ей спокойной ночи.

– Доброй ночи! – ответила она сухо и холодно.

Роже мне потом рассказывал, что он покончил бы с собою тогда же, если бы не боялся, что наши товарищи отгадают причину его самоубийства. Он не хотел, чтобы имя его было покрыто позором.

На следующий день Габриэль была весела, как обычно. Она словно позабыла о вчерашнем признании. А Роже сделался мрачным, капризным, угрюмым, почти не выходил из своей комнаты, избегал друзей и часто целыми днями не говорил ни слова со своей любовницей. Я приписывал его печаль чувствительности, вполне законной, но чрезмерной, и несколько раз пробовал его утешить, но он решительно отвергал эти утешения, высказывая полнейшее равнодушие к судьбе своего несчастного партнера. Однажды он позволил себе даже яростный выпад против голландской нации и пытался мне доказать, что во всей Голландии не найдется ни одного порядочного человека. А между тем тайком он собирал сведения о семье голландского лейтенанта; но никто ничего не мог ему сообщить.

Месяца полтора спустя после злосчастной партии в триктрак Роже нашел у Габриэль записку, писанную каким-то гардемаринном, в которой тот, по-видимому, благодарил ее за проявленную к нему благосклонность. Габриэль была воплощенный беспорядок, и вышеупомянутая записка валялась у нее на камине. Не знаю, изменила ли она Роже, но тот уверился в этом и пришел в бешенство. Единственными чув-

ствами, способными еще привязать его к жизни, были любовь и остатки гордости, и вдруг сильнейшее из этих чувств внезапно рушилось. Он осыпал оскорблениями надменную комедиантку; удивительно, как при своей несдержанности он ее не поколотил.

– Должно быть, – говорил он, – этот фатишка вам дорого заплатил? Вы ведь только деньги и любите. Вы согласились бы расточать свои ласки самому грязному из наших матросов, лишь бы у него было чем платить.

– А почему бы и нет? – холодно возразила актриса. – Да, я взяла бы деньги у матроса, но... *не стала бы его обворовывать.*

У Роже вырвался крик ярости. Дрожа, он выхватил свой кортик и с минуту смотрел на Габриэль блуждающим взором; потом, сделав над собою страшное усилие, швырнул оружие к ее ногам и бросился вон из комнаты, чтобы не поддаться искушению.

В тот вечер я довольно поздно проходил мимо его квартиры, я увидел у него свет и зашел попросить какую-то книгу. Он что-то писал с сосредоточенным видом и, казалось, едва заметил, что я нахожусь в комнате. Я сел около письменного стола и стал вглядываться в его черты; они так изменились, что будь на моем месте кто-нибудь другой, он узнал бы его с трудом. Вдруг я заметил на столе уже запечатанное письмо, адресованное мне. Я сейчас же распечатал его. Роже извещал меня, что он решил покончить с собой, и возлагал на меня

различные поручения. Пока я читал, он продолжал писать, не обращая на меня внимания: он прощался с Габриэль... Можете себе представить мое удивление! Пораженный его решением, я воскликнул:

– Как! Ты хочешь покончить с собой? Ты, такой счастливый человек?

– Друг мой! – сказал он, запечатывая письмо. – Ты ничего не знаешь. Ты не имеешь понятия, кто я такой. Я мошенник. Я столь презренный человек, что гулящая девка может меня оскорбить, и я так живо чувствую свою низость, что не смею прибить ее.

Тут он рассказал мне историю партии в триктрак и все, что вы уже знаете. Я был взволнован не меньше, чем он. Я не знал, что ему сказать; я пожимал ему руки, на глазах у меня выступили слезы, но я не мог говорить. Наконец мне пришлось в голову убедить его, что он не должен упрекать себя в том, что сознательно разорил голландца: в сущности говоря, при помощи плутовства он выиграл у него только двадцать пять наполеондоров.

– Значит, – вскричал он с горькой иронией, – я мелкий вор, а не крупный! При моем честолюбии быть простым ворюшкой!

И он расхохотался.

Я залился слезами.

Вдруг дверь отворилась. Вошла женщина и бросилась ему на грудь; то была Габриэль.

– Прости меня! – воскликнула она, сжимая его своими руками. – Прости меня! Я чувствую, что люблю тебя теперь, когда ты совершил поступок, в котором так раскаиваешься. Хочешь, я тоже украду?.. Я уже украла... Да, я украла: я украла золотые часы... Что может быть хуже?

Роже недоверчиво покачал головой; но чело его как будто бы прояснилось.

– Нет, бедное дитя, – сказал он, тихонько отстраняя ее, – я непременно должен убить себя. Я слишком страдаю, я не в состоянии переносить боль, которую я испытываю.

– Ну, хорошо. Если ты хочешь умереть, Роже, я умру с тобой! Без тебя что значит для меня жизнь? Я не труслива, я стреляла из ружья и сумею убить себя, как любой мужчина. К тому же я играла в трагедиях, у меня есть опыт.

Вначале у нее были слезы на глазах, но эта последняя фраза заставила ее рассмеяться; даже у самого Роже она вызвала улыбку.

– Ты смеешься, мой офицер! – воскликнула она, хлопая в ладоши и целуя его. – Ты не убьешь себя!

Она продолжала его целовать, то плача, то смеясь, то ругаясь, как матрос. Она была не из тех женщин, что боятся крепких слов.

Между тем я отобрал у Роже пистолеты и кортик и сказал ему:

– Милый Роже! У тебя есть возлюбленная и есть друг, которые тебя любят. Поверь, ты еще можешь быть счастлив в

этой жизни.

Я поцеловал его и вышел, оставив его наедине с Габриэль.

Мне думается, нам удалось бы лишь отсрочить его гибельное намерение, если бы он не получил от министра приказ отправиться в качестве старшего лейтенанта на фрегате, в задачи которого входило пробиться сквозь английскую эскадру, блокировавшую порт, и крейсировать затем в Индийском океане. Дело было рискованное. Я дал ему понять, что лучше с честью умереть от английской пули, чем самому прекратить свое существование без славы и без всякой пользы для отечества. Он дал обещание не убивать себя. Половину из восьмидесяти тысяч франков он раздал матросам-инвалидам, вдовам и сиротам моряков. Остальное он передал Габриэль, перед этим давшей клятву, что она употребит деньги исключительно на благотворительные цели. Бедная девушка твердо намеревалась сдержать свое слово, но порывы ее были скоротечны. Впоследствии я узнал, что несколько тысяч она раздала бедным. На остальные накопила тряпок.

Мы с Роже сели на прекрасный фрегат «Галатейя». Матросы были храбры, хорошо обучены и вымуштрованы, но командовал нами полнейший невежда, воображающий себя Жаном Бартом только потому, что ругался не хуже каптенармуса, коверкал язык и никогда не изучал теории той профессии, которую и на практике-то знал кое-как. Тем не менее на первых порах судьба ему благоприятствовала. Мы благополучно вышли из рейда: нам помог сильный ветер, прину-

дивший блокирующую эскадру уйти в открытое море. Наше крейсирование мы начали с того, что у берегов Португалии спалили английский корвет и судно Ост-Индской компании.

К индийским водам мы подвигались медленно: ветер был не попутный, и капитан наш так неудачно маневрировал, что от его неловкости наше плавание становилось еще опаснее. Ни одного дня не проходило без какого-нибудь приключения: то нас преследовали превосходящие нас силы, то мы гнались за торговыми судами. Но ни полная опасностей жизнь, ни хлопотливая служба на фрегате не могли рассеять печальные мысли, которые преследовали Роже. Когда-то он слыл за самого деятельного и блестящего офицера в нашем порту; теперь он ограничивался только исполнением своих служебных обязанностей. Как только оканчивалась служба, он запирался в своей каюте, где у него не было ни книг, ни бумаги. Несчастный целыми часами лежал на койке и не мог заснуть.

Однажды, видя его удрученное состояние, я решился заговорить с ним:

– Послушай, милый! Ты расстраиваешься из-за пустяков. Ты стащил у толстого голландца двадцать пять наполеондоров, а угрызений совести у тебя больше, чем на миллион. А скажи: когда ты был любовником жены префекта в ***, у тебя не было угрызений совести? А между тем она стояла подороже, чем двадцать пять наполеондоров.

Он повернулся на своем тюфяке, ничего мне не ответив.

Я продолжал:

– В конце концов, у твоего преступления (ведь ты утверждаешь, что это – преступление) был достойный уважения повод, и оно проистекало от возвышенного чувства.

Он повернулся ко мне лицом, и в его взгляде сверкнуло бешенство.

– Конечно. Что случилось бы с Габриэль, если бы ты проиграл? Бедная девушка! Она продала бы для тебя последнюю рубашку... Если бы ты проиграл, ты бы обрек ее на нищету... Именно ради нее, из любви к ней ты сплутовал... Есть люди, которые из-за любви убивают других... убивают себя... Ты же, милый Роже, сделал больше. Людям вроде нас с тобой требуется гораздо больше мужества, чтобы украсть, чем для того, чтобы покончить с собой.

– Теперь, может быть, я вам кажусь смешным, – обратился ко мне капитан, прерывая рассказ. – Но уверяю вас, что в ту минуту дружеские чувства к Роже придавали мне красноречие, которого в настоящее время я в себе не нахожу. И, черт бы меня побрал, я говорил совершенно искренне, я верил в то, что говорил! Да, тогда я был еще молод!

Роже помолчал, потом протянул мне руку.

– Друг мой, – сказал он, по-видимому, сделав над собой большое усилие. – Ты меня приукрашиваешь. Я жалкий подлец. Когда я сплутовал в игре с голландцем, я думал только

о том, чтобы выиграть двадцать пять наполеондоров, – вот и все. О Габриэль я совсем тогда не думал, вот почему я себя презираю... Оценить свою честь меньше, чем в двадцать пять наполеондоров!.. Какая низость!.. О, я был бы счастлив, если бы мог сказать: «Я совершил кражу, чтобы спасти Габриэль от нищеты»... Нет, нет... о ней я не думал... В ту минуту я не был влюбленным... я был игроком... я был вором... Я украл деньги, чтобы присвоить их... и поступок этот унижил, опустошил меня до такой степени, что теперь у меня нет ни мужества, ни любви... Я живу и не думаю больше о Габриэль... я – конченный человек.

Он казался таким несчастным, что, попроси он у меня пистолеты, чтобы застрелиться, я, вероятно, дал бы ему их.

В одну из пятниц (тяжелый день!) большой английский фрегат «Алкеста» погнался за нами. На нем было пятьдесят восемь пушек, тогда как у нас всего тридцать восемь. Мы подняли все паруса, чтобы ускользнуть от него, но его ход был быстрее нашего, и он с каждой минутой к нам приближался; было очевидно, что до наступления темноты нам придется вступить в неравный бой. Капитан позвал к себе Роже, и они совещались добрых четверть часа. Роже вернулся на палубу, взял меня под руку и отвел в сторону.

– Через два часа, – сказал он, – завяжется бой. Наш храбрец, который сейчас дерет горло на шканцах, совсем потерял голову. У нас было два выхода: один, наиболее благородный, – это подпустить к себе врага, затем, взяв его на

абордаж, перебросить ему на борт сотню головорезов; другим выходом, тоже неплохим, хотя и менее красивым, было – несколько облегчить себя, выбросив в море часть наших пушек. Тогда мы смогли бы близко подойти к африканскому берегу, что виден там, налево от нас. Англичанин побоялся бы сесть на мель и был бы вынужден дать нам возможность уйти от него. Но наш капитан – ни трус, ни герой: он предоставит врагам издали громить нас, с часок продержится, а потом с честью сдастся. Тем хуже для тебя: тебя ждут портсмутские понтоны. А я, я туда не собираюсь.

– А может быть, – сказал я, – мы первыми же выстрелами причиним врагу такие повреждения, что он вынужден будет прекратить погоню?

– Послушай: я не хочу попасть в плен, я хочу быть убитым; пора с этим покончить. Если, на беду, я буду только ранен, дай мне слово, что ты бросишь меня в море. Оно должно быть смертным одром для такого моряка, как я.

– Что за вздор! – воскликнул я. – Хорошие поручения ты мне даешь!

– Ты исполнишь свой долг верного друга. Ты знаешь: мне нужно умереть. Вспомни: я согласился не кончать жизнь самоубийством только в надежде, что я буду убит. Ну, обещай мне исполнить мою просьбу, а не то я обращусь за этой услугой к подшкиперу, и он не откажет мне.

Подумав, я сказал:

– Даю тебе слово, что, если ты будешь смертельно ранен,

без надежды на выздоровление, я исполню твое желание. В этом случае я согласен избавить тебя от мучений.

– Я буду смертельно ранен или просто буду убит.

Он протянул мне руку, я крепко ее пожал. С этой минуты он стал спокойнее, даже какой-то военный задор заиграл на его лице.

К трем часам пополудни выстрелы носовых орудий противника начали задевать наши снасти. Тогда мы свернули часть парусов, стали в траверз к «Алкесте» и открыли беглый огонь; англичане тоже спуску нам не давали. После пальбы, длившейся примерно час, наш капитан, все делавший невпопад, решил попробовать абордаж. Но у нас было уже много убитых и раненых, а у остальных пропал боевой пыл; к тому же наши снасти немало пострадали, а мачты были сильно повреждены. В ту минуту, как мы распустили паруса, чтобы подойти к англичанам, наша грот-мачта, ничем больше не поддерживаемая, рухнула со страшным грохотом. «Алкеста» воспользовалась замешательством, произведенным этой бедою: она прошла мимо нашей кормы и на половинном расстоянии пистолетного выстрела разрядила в нас все свои бортовые орудия; так она прошла вдоль нашего несчастного фрегата, который мог противопоставить ей с этой стороны только две маленькие пушки.

В эту минуту я находился около Роже, который рубил ванты, еще державшие свалившуюся мачту. Я почувствовал, что он крепко сжимает мне руку. Оборачиваюсь и вижу: он опро-

кинулся на палубу и весь залит кровью. Он только что получил заряд картечи в живот.

Капитан подбежал к нему.

– Что делать, лейтенант? – вскричал он.

– Прибить флаг к обломку мачты и пустить судно ко дну.

Капитану не очень понравился этот совет, и он сейчас же отошел.

– Ну, – произнес Роже, – не забудь своего обещания.

– Пустяки! – ответил я. – Ты еще поправишься.

– Бросай меня за борт! – закричал он с ужасными ругательствами, хватая меня за полы. – Ты видишь, я все равно подохну; бросай меня в море; я не хочу видеть, как спустят флаг.

К нему подошли два матроса, чтобы отнести его в трюм.

– К пушкам, мерзавцы! – закричал он. – Палите картечью, цельтесь в верхнюю палубу! А ты – раз ты не держишь слова, я тебя проклинаяю, считаю за самого трусливого и подлого человека!

Рана его, очевидно, была смертельна. Я видел, как капитан подозвал гардемарина и приказал ему спустить флаг.

– Дай мне руку, – сказал я Роже.

В то самое мгновение, когда флаг наш был спущен...

– Капитан! У бакборта кит! – прервал рассказчика подбежавший мичман.

– Кит! – вскричал капитан, просияв от радости и прервав свой рассказ. – Живо! Шлюпку в море! Лодку в море! Все

шлюпки в море! Гарпуны, веревки! И т. д. и т. д.

Так мне и не удалось узнать, как умер бедный лейтенант Роже.

Двойная ошибка

*Zagala, más que las flores
Blanca, rubia y ojos verdes!
Si piensas seguir amores,
Piérdote bien, pues te pierdes³.*

Глава 1

Жюли де Шаверни была замужем около шести лет, и вот уж пять с половиной лет, как она поняла, что ей не только невозможно любить своего мужа, но даже трудно питать к нему хотя бы некоторое уважение.

Между тем муж отнюдь не был человеком бесчестным; он не был ни грубияном, ни дураком. А все-таки его, пожалуй, можно было назвать всеми этими именами. Если бы она углубилась в свои воспоминания, она припомнила бы, что когда-то он был ей приятен, но теперь он казался ей несносным. Все в нем отталкивало ее. При взгляде на то, как он ел, пил кофе, говорил, с ней делались нервные судороги. Они виделись и разговаривали только за столом, но обедать вме-

³ Девушка зеленоглазая, Более белая и алая, чем цветы! Коль скоро ты решила полюбить, То погибай до конца, раз уж ты гибнешь (исп.). Старинная испанская народная песня

сте им приходилось несколько раз в неделю, и этого было достаточно, чтобы поддерживать отвращение Жюли.

Шаверни был довольно представительный мужчина, слишком полный для своего возраста, сангвиник, со свежим цветом лица, по характеру своему не склонный к тому смутному беспокойству, которому часто подвержены люди, обладающие воображением. Он свято верил, что жена питает к нему спокойную дружбу (он слишком был философом, чтобы считать себя любимым, как в первый день супружества), и уверенность эта не доставляла ему ни удовольствия, ни огорчения; он легко примирился бы и с обратным положением. Он несколько лет прослужил в кавалерийском полку, но, получив крупное наследство, почувствовал, что гарнизонная жизнь ему надоела, подал в отставку и женился. Объяснить брак двух молодых людей, не имеющих ничего общего, – это довольно трудная задача. С одной стороны, дед с бабкой и некоторые услужливые люди, которые, подобно Фрозине, охотно повенчали бы Венецианскую республику с турецким султаном, изрядно хлопотали, чтобы упорядочить материальные дела. С другой стороны, Шаверни происходил из хорошей семьи, в то время еще не растолстел, был весельчаком и в полном смысле слова «добрым малым». Жюли нравилось, что он ходит к ее матери, так как он смешил ее рассказами из полковой жизни, комизм которых не всегда отличался хорошим вкусом. Она находила, что он очень мил, так как он танцевал с нею на всех балах и всегда придумы-

вал способ уговорить мать Жюли остаться на них подольше, съездить в театр или в Булонский лес. Наконец, Жюли считала его героем, так как он два или три раза с честью дрался на дуэли. Но окончательную победу доставило Шаверни описание кареты, которую он собирался заказать по собственному рисунку и в которой он обещал сам повезти Жюли, когда она согласится отдать ему свою руку.

Через несколько месяцев после свадьбы все прекрасные качества Шаверни в значительной степени потеряли свою ценность. Нечего и говорить, что он уже не танцевал со своей женой. Забавные истории свои он пересказал уже раза по три, по четыре. Теперь он находил, что балы ужасно затягиваются. В театрах он зевал и считал невыносимо стеснительным обычай одеваться к вечеру. Главным его недостатком была лень. Если бы он заботился о том, чтобы нравиться, ему это, может быть, и удалось бы, но всякое стеснение казалось ему наказанием – это свойство почти всех тучных людей. В обществе ему было скучно, потому что там любезный прием прямо пропорционален усилиям, затраченным на то, чтобы понравиться. Шумный кутеж предпочитал он всяким более изысканным развлечениям, ибо для того, чтобы выделиться в среде людей, которые были ему по вкусу, ему было достаточно перекричать других, а это не представляло для него трудностей при его могучих легких. Кроме того, он полагал свою гордость в том, что мог выпить шампанского больше, чем обыкновенный человек, и умел превосход-

но брать четырехфутовые барьеры. Таким образом, он приобрел вполне заслуженное уважение среди тех трудно определимых существ, которые называются «молодыми людьми» и которыми кишат наши бульвары начиная с пяти часов вечера. Охота, загородные прогулки, скачки, холостые обеды, холостые ужины – всему этому он предавался со страстью. Раз двадцать на дню он повторял, что он счастливейший из смертных. И всякий раз, как Жюли это слышала, она поднимала глаза к небу, и маленький ротик ее выражал при этом несказанное презрение.

Она была молода, красива и замужем за человеком, который ей не нравился; вполне понятно, что ее окружало далеко не бескорыстное поклонение. Но, не считая присмотра матери, женщины очень благоразумной, собственная ее гордость (это был ее недостаток) до сей поры охраняла ее от светских соблазнов. К тому же разочарование, которое постигло ее в замужестве, послужив ей до некоторой степени уроком, притупило в ней способность воспламеняться. Она гордилась тем, что в обществе ее жалеют и ставят в пример как образец покорности судьбе. Она была по-своему даже счастлива, так как никого не любила, а муж предоставлял ей полную свободу. Ее кокетство (надо признаться, она все же любила порисоваться тем, что ее муж даже не понимает, каким он обладает сокровищем) было совершенно инстинктивным, как кокетство ребенка. Оно отлично уживалось с пренебрежительной сдержанностью, совсем непохожей на чопорность. При-

том она умела быть любезной со всеми, и со всеми одинаково. В ее поведении невозможно было найти ни малейшего повода для злословия.

Глава 2

Супруги обедали у матери Жюли г-жи де Люсан, собиравшейся уехать в Ниццу. Шаверни, который смертельно скучал у своей тещи, принужден был провести там вечер, хотя ему и очень хотелось встретиться со своими друзьями на бульваре. После обеда он уселся на удобный диван и просидел два часа, погруженный в молчание. Объяснялось его поведение очень просто: он заснул, сохраняя, впрочем, вполне приличный вид, склонив голову набок, словно с интересом прислушиваясь к разговору. Время от времени он даже просыпался и вставлял одно-два словечка.

Затем пришлось сесть за вист. Этой игры он терпеть не мог, так как она требует известного умственного напряжения. Все это задержало его довольно долго. Пробыло половину двенадцатого. На вечер Шаверни не был никуда приглашен – он решительно не знал, куда деваться. Покуда он мучился этим вопросом, доложили, что экипаж подан. Если он поедет домой, нужно будет ехать с женой; перспектива провести с ней двадцать минут с глазу на глаз пугала его. Но у него не было при себе сигар, и он сгорал от нетерпения вскрыть новый ящик, полученный им из Гавра как раз в ту минуту, когда он выезжал на обед. Он покорился своей участи.

Окутывая жену шалью, он не мог удержаться от улыбки.

ки, когда увидел себя в зеркале исполняющим обязанности влюбленного мужа. Обратил он внимание и на жену, на которую за весь вечер ни разу не взглянул. Сегодня она показалась ему красивее, чем обыкновенно; поэтому он довольно долго расправлял складки на ее шали. Жюли было также не по себе от предвкушения супружеского тет-а-тета. Она надула губки, и дуги бровей у нее невольно сдвинулись. Все это придало ее лицу такое привлекательное выражение, что даже сам муж не мог остаться равнодушным. Глаза их в зеркале встретились во время только что описанной процедуры. Оба смутились. Чтобы выйти из неловкого положения, Шаверни, улыбаясь, поцеловал у жены руку, которую она подняла, чтобы поправить шаль.

– Как они любят друг друга! – прошептала г-жа де Люсан, не замечая ни холодной пренебрежительности жены, ни равнодушия супруга.

Сидя рядом в своем экипаже, почти касаясь друг друга, они некоторое время молчали. Шаверни отлично знал, что из приличия нужно о чем-нибудь заговорить, но ему ничего не приходило в голову. Жюли хранила безнадежное молчание. Он зевнул раза три или четыре, так что самому стало стыдно, и при последнем зевке счел необходимым извиниться перед женой.

– Вечер затянулся, – заметил он в виде оправдания.

Жюли усмотрела в этом замечании намерение покровителем вечера у ее матери и сказать ей какую-нибудь непри-

ятность. С давних пор она привыкла уклоняться от всяких объяснений с мужем; поэтому она продолжала хранить молчание.

У Шаверни в этот вечер неожиданно развязался язык; минуты через две он снова начал:

– Я отлично пообедал сегодня, но должен вам сказать, что шампанское у вашей матушки слишком сладкое.

– Что? – спросила Жюли, неторопливо повернув к нему голову и притворяясь, что не расслышала.

– Я говорю, что шампанское у вашей матушки слишком сладкое. Я забыл ей об этом сказать. Странное дело: воображают, что нет ничего легче, как выбрать шампанское. Между тем это очень трудно. На двадцать плохих марок одна хорошая.

– Да?

Удостоив его из вежливости этим восклицанием, Жюли отвернулась и стала смотреть в окно кареты. Шаверни откинулся на спинку и положил ноги на переднюю скамеечку, несколько раздосадованный тем, что жена его так явно равнодушна ко всем его стараниям завязать разговор.

Тем не менее, зевнув еще раза два или три, он снова начал, придвигаясь к Жюли:

– Сегодняшнее ваше платье удивительно к вам идет, Жюли. Где вы его заказывали?

«Наверно, он хочет заказать такое же для своей любовницы», – подумала Жюли и, слегка улыбнувшись, ответила:

– У Бюрти.

– Почему вы смеетесь? – спросил Шаверни, снимая ноги со скамеечки и придвигаясь еще ближе.

В то же время он жестом, несколько напоминавшим Тартюфа, стал поглаживать рукав ее платья.

– Мне смешно, что вы замечаете, как я одета, – отвечала Жюли. – Осторожнее! Вы изомнете мне рукава.

И она высвободила свой рукав.

– Уверяю вас, я очень внимательно отношусь к вашим туалетам и в полном восхищении от вашего вкуса. Честное слово, еще недавно я говорил об этом с... с одной женщиной, которая всегда очень плохо одета... хотя ужасно много тратит на платья... Она способна разорить... Я говорил с ней... и ставил в пример вас...

Жюли доставляло удовольствие его смущение; она даже не пыталась прийти к нему на помощь и не прерывала его.

– У вас неважные лошади: они еле передвигают ноги. Нужно будет их переменить, – произнес Шаверни, совершенно смешавшись.

В течение остального пути разговор не отличался оживленностью: с той и с другой стороны он не шел далее нескольких фраз.

Наконец супруги добрались до дому и расстались, пожелав друг другу спокойной ночи.

Жюли начала раздеваться. Горничная ее зачем-то вышла, дверь в спальне неожиданно открылась, и вошел Шаверни.

Жюли торопливо прикрыла плечи платком.

– Простите, – сказал он, – мне бы хотелось почитать на сон грядущий последний роман Вальтера Скотта... *Квентин Дорвард*, кажется?

– Он, наверное, у вас, – ответила Жюли, – здесь книг нет.

Шаверни посмотрел на жену. Полуодетая (а это всегда подчеркивает красоту женщины), она показалась ему, если пользоваться одним из ненавистных мне выражений, *пикантной*. «В самом деле, она очень красива!» – подумал Шаверни. И он продолжал стоять перед нею, не двигаясь с места и не говоря ни слова, с подсвечником в руке. Жюли тоже стояла перед ним и мяла ночной чепчик, казалось, с нетерпением ожидая, когда он оставит ее одну.

– Вы сегодня очаровательны, черт меня побери! – воскликнул Шаверни, делая шаг вперед и ставя подсвечник. – Люблю женщин с распущенными волосами!

С этими словами он схватил рукою одну из прядей, покрывавших плечи Жюли, и почти с нежностью обнял ее за талию.

– Боже мой, как от вас пахнет табаком! – воскликнула Жюли и отвернулась. – Оставьте мои волосы в покое, а то они пропитаются табачным запахом, и я не смогу от него отделаться.

– Пустяки! Вы говорите это просто так, зная, что я иногда курю. Ну, женушка, не изображайте из себя недотрогу!

Она недостаточно быстро вырвалась из его объятий, так

что ему удалось поцеловать ее в плечо.

К счастью для Жюли, вернулась горничная. Для женщин нет ничего ненавистнее подобных ласк, которые и принимать, и отвергать одинаково смешно.

– Мари! – обратилась г-жа де Шаверни к горничной. – У моего голубого платья лиф слишком длинен. Я видела сегодня госпожу де Бежи, а у нее безукоризненный вкус: лиф у нее был на добрых два пальца короче. Заколите складку булавками – посмотрим, как это выйдет.

Между горничной и барыней завязался самый оживленный разговор относительно того, какой длины должен быть лиф. Жюли знала, что Шаверни терпеть не может разговоров о тряпках и что она его выживет таким образом. Действительно, походив взад и вперед минут пять и видя, что Жюли всецело занята своим лифом, Шаверни зевнул во весь рот, взял свой подсвечник, вышел и больше не возвращался.

Глава 3

Майор Перен сидел за маленьким столиком и внимательно читал. Тщательно вычищенный сюртук, фуражка и в особенности гордо выпяченная грудь – все выдавало в нем старого служаку. В комнате у него все было чисто, но крайне просто. Чернильница и два очиненных пера находились на столе рядом с пачкой почтовой бумаги, ни один листик которой не был пущен в ход по крайней мере в течение года. Но если майор Перен не любил писать, то читал он очень много. В настоящее время он читал *Персидские письма*, покуривая пенковую трубку, и двойное занятие это поглощало все его внимание, так что он не сразу заметил, как в его комнату вошел майор де Шатофор. Это был молодой офицер из его полка, обладавший очаровательной наружностью, крайне любезный, фатоватый, которому очень покровительствовал военный министр, – словом, почти во всех отношениях прямая противоположность майору Перену. Тем не менее они почему-то дружили и видались ежедневно.

Шатофор хлопнул по плечу майора Перена. Тот обернулся, не вынимая трубки изо рта. Первым чувством его была радость при виде друга; вторым – сожаление (достойный человек!), что его оторвали от книги; третьим – покорность обстоятельствам и полная готовность быть гостеприимным хозяином. Он стал отыскивать в кармане ключ от шкафа, где

хранилась заветная коробка с сигарами, которых сам майор не курил, но которыми он по одной угощал своего друга.

Но Шатофор, выдавший это движение сотни раз, остановил его, воскликнув:

– Не надо, дядюшка Перен, поберегите ваши сигары! Я взял с собой.

Затем он достал изящный портсигар из мексиканской соломки, вынул оттуда сигару цвета корицы, заостренную с обоих концов, и, закурив ее, растянулся на маленькой кушетке, которой майор Перен никогда не пользовался; голову он положил на изголовье, а ноги – на противоположный валик. Первым делом Шатофор окутал себя облаком дыма; потонув в нем, он закрыл глаза, словно обдумывая то, что намеревался сообщить. Лицо его сияло от радости; грудь, по-видимому, с трудом удерживала тайну счастья – он горел нетерпением выдать ее. Майор Перен, усевшись на стул около кушетки, некоторое время курил молча, потом, видя, что Шатофор не торопится рассказывать, спросил:

– Как поживает Урика?

Урика была черная кобыла, которую Шатофор загнал, чуть не доведя ее до запала.

– Отлично, – ответил Шатофор, не расслышав вопроса. – Перен! – вскричал он, вытягивая по направлению к нему ногу, лежавшую на валике кушетки. – Знаете ли вы, что для вас большое счастье быть моим другом?..

Старый майор стал перебирать в уме, какие выгоды имел

он от знакомства с Шатофором, но ничего не мог вспомнить, кроме нескольких фунтов кнастера, которые тот ему подарил, да нескольких дней ареста за участие в дуэли, где первую роль играл Шатофор. Правда, его друг неоднократно давал ему доказательства своего доверия. Шатофор всегда обращался к Перену, когда нужно было заменить его по службе или когда ему требовался секундант.

Шатофор не дал ему времени на раздумье и протянул письмецо на атласной английской бумаге, написанное красивым бисерным почерком. Майор Перен состроил гримасу, которая у него должна была заменять улыбку. Он часто видел эти атласные письма, покрытые бисерным почерком и адресованные его другу.

– Вот, прочтите, – сказал тот, – вы этим обязаны мне.

Перен прочел нижеследующее:

Было бы очень мило с Вашей стороны, дорогой господин де Шатофор, если бы Вы пришли к нам пообедать. Господин де Шаверни лично приехал бы Вас пригласить, но он должен отправиться на охоту. Я не знаю адреса майора Перена и не могу послать ему письменное приглашение. Вы возбудили во мне желание познакомиться с ним, и я буду Вам вдвойне обязана, если Вы привезете его к нам.

Жюли де Шаверни

P. S. Я Вам крайне признательна за ноты, которые Вы для меня потрудились переписать. Музыка очаровательна и, как

всегда, доказывает Ваш вкус. Вы не приходите больше к нам по четвергам. Между тем Вы знаете, какое удовольствие доставляют нам Ваши посещения.

– Красивый почерк, только слишком мелкий, – сказал Перен, окончив чтение. – Но, черт возьми, обед этот мало меня интересует; придется надеть шелковые чулки и не курить после обеда!

– Какая неприятность!.. Стало быть, вы предпочитаете трубку самой хорошенькой женщине в Париже... Но больше всего меня удивляет ваша неблагодарность, вы даже не поблагодарили меня за счастье, которым обязаны мне.

– Вас благодарить? Но ведь этим удовольствием я обязан не вам... если только это можно назвать удовольствием.

– А кому же?

– Шаверни, который был у нас ротмистром. Наверно, он сказал своей жене: «Пригласи Перена, он добрый малый». С какой стати хорошенькая женщина, с которой я встречался всего один раз, будет приглашать такую старую корягу?

Шатофор улыбнулся и взглянул в узенькое зеркальце, украшавшее помещение майора.

– Сегодня вы не особенно проницательны, дядюшка Перен. Перечтите-ка еще раз это письмо: может быть, вы найдете кое-что, чего вы не рассмотрели.

Майор рассмотрел письмо со всех сторон, но ничего не увидел.

– Как! – вскричал Шатофор. – Неужели вы, старый драгун, не понимаете? Ведь она приглашает вас, чтобы доставить мне удовольствие, единственно из желания показать мне, что она считается с моими друзьями... чтобы дать мне понять...

– Что? – перебил его Перен.

– Что? Вы сами знаете что.

– Что она вас любит? – спросил недоверчиво майор.

Шатофор в ответ засвистел.

– Значит, она влюблена в вас?

Шатофор снова свистнул.

– Она призналась вам?

– Но... Мне кажется, это и так видно.

– Откуда?... Из этого письма?..

– Конечно.

Теперь уже засвистел Перен. Свист его был так же многозначителен, как пресловутое *Лиллибулерио* дядюшки Тоби.

– Как! – вскрикнул Шатофор, вырывая письмо из рук Перена. – Вы не видите, сколько в этом письме заключено... нежности... именно нежности? «Дорогой господин де Шатофор», – что вы на это скажете? Заметьте, что раньше в письмах она писала мне просто «милостивый государь». «Я буду Вам вдвойне обязана» – это ясно. И посмотрите, в конце зачеркнуто слово «искренне». Она хотела написать «искренне расположенная к Вам», но не решилась. А «искренне уважающая Вас» ей казалось слабым... Она не кончила письма... Чего вы еще хотите, старина? Чтобы дама из хорошей семьи

бросилась на шею вашему покорнейшему слуге как маленькая гризетка?.. Письмо, уверяю вас, очаровательно, нужно быть слепым, чтобы не видеть всей его страстности... А что вы скажете об упреках в конце письма за то, что я пропустил один-единственный четверг?

– Бедная женщина! – воскликнул Перен. – Не влюбляйся в этого человека: ты очень скоро раскаешься.

Шатофор пропустил мимо ушей восклицание приятеля и, понизив голос, заговорил вкрадчиво:

– Знаете, дорогой, вы могли бы мне оказать большую услугу...

– Каким образом?

– Вы должны мне помочь в этом деле. Я знаю, что муж с ней очень плохо обращается... Из-за этого скота она несчастна... Вы его знаете, Перен. Подтвердите его жене, что он – грубое животное и что репутация у него прескверная.

– О!..

– Развратник... Вы же знаете! Когда он был в полку, у него были любовницы, и какие любовницы! Расскажите обо всем его жене.

– Но как же говорить о таких вещах? Соваться не в свое дело!..

– Боже мой, все можно сказать умеючи! Но главное, отзовитесь с похвалой обо мне.

– Это легче. Но все-таки...

– Не так-то легко, как кажется. Дай вам волю, вы меня

так расхвалите, что от ваших похвал не поздоровится... Скажите ей, что с некоторых пор, как вы замечаете, я сделался грустным, перестал разговаривать, перестал есть...

– Еще чего! – воскликнул Перен, громко расхохотавшись, отчего трубка его заплясала самым забавным образом. – Этого я никогда не смогу сказать в лицо госпоже де Шаверни. Еще вчера вечером вас чуть не на руках унесли после обеда, который нам давали сослуживцы.

– Да, но рассказывать ей об этом – совершенно лишнее. Пусть она знает, что я в нее влюблен. А эти писаки-романисты вбили женщинам в голову, что человек, который ест и пьет, не может быть влюбленным.

– Вот я, например, не знаю, что бы могло меня заставить отказаться от еды и питья.

– Итак, решено, дорогой Перен! – сказал Шатофор, надевая шляпу и поправляя завитки волос. – В четверг я за вами захожу. Туфли, шелковые чулки, парадный мундир. Главное, не забудьте наговорить ей всяких ужасов про мужа и как можно больше хорошего про меня.

Он ушел, грациозно помахивая тросточкой, а майор Перен остался, крайне обеспокоенный только что полученным приглашением. Особенно мучила его мысль о шелковых чулках и парадном мундире.

Глава 4

Обед оказался скучноватым, так как многие из приглашенных к г-же де Шаверни прислали извинительные записки. Шатофор сидел рядом с Жюли, заботливо услуживал ей, был галантен и любезен, как всегда. Что касается Шаверни, то, совершив утром длинную прогулку верхом, он здорово проголодался. Ел и пил он так, что возбудил бы аппетит даже у смертельно больного. Майор Перен поддерживал компанию, часто подливал ему вина и так хохотал, что стекла дребезжали всякий раз, когда бурная веселость хозяина давала ему повод для смеха. Шаверни, очутившись снова в обществе военных, сразу обрел и прежнее хорошее настроение, и казарменные замашки; впрочем, он никогда особенно не стеснялся в выборе выражений. Жена его принимала холодно-презрительный вид при каждой его грубой шуточке. В таких случаях она поворачивалась в сторону Шатофора и заводила с ним отдельную беседу, чтобы не было заметно, что она слышит разговор, который ей был в высшей степени неприятен.

Приведем образчик изысканности этого примерного супруга. Под конец обеда речь зашла об опере, стали обсуждать достоинства различных танцовщиц; в числе других очень хвалили мадемуазель Н. Шатофор старался больше всех, расхваливая в особенности ее грацию, стройность, скром-

ный вид.

Перен, которого Шатофор несколько дней тому назад водил в оперу и который был там один-единственный раз, очень хорошо запомнил мадемуазель Н.

– Это та малютка в розовом, что скакала, как козочка? Та самая, о чьих ножках вы так много толковали, Шатофор?

– А, вы толковали о ее ножках? – вскричал Шаверни. – Но знаете: если вы слишком много будете об этом толковать, вы поссоритесь с вашим генералом, герцогом де Ж.! Берегитесь, приятель!

– Ну я думаю, он не так ревнив, чтобы запрещать смотреть на ее ножки в бинокль.

– Наоборот! Он так ими гордится, будто это он их открыл. Что скажете, майор Перен?

– Я понимаю толк только в лошадиных ногах, – скромно ответил старый вояка.

– Они в самом деле изумительны! – продолжал Шаверни. – Равных им нет в Париже, разве только...

Он остановился и начал крутить ус с самодовольным видом, глядя на свою жену, которая покраснела до корней волос.

– Разве только у мадемуазель Д., – перебил его Шатофор, называя другую танцовщицу.

– Нет! – трагическим тоном Гамлета ответил Шаверни. – «Вы лучше на жену мою взгляните».

Жюли сделалась пунцовой от негодования. Она бросила

на мужа молниеносный взгляд, в котором ясно были видны презрение и бешенство. Потом, овладев собой, она вдруг обратилась к Шатофору.

– Хорошо бы нам посмотреть дуэт из *Maometto*⁴, – произнесла она слегка дрожащим голосом. – Мне кажется, он будет вам вполне по голосу.

Шаверни не так легко было сбить с позиции.

– Знаете, Шатофор, – не унимался он, – я все хотел заказать гипсовый слепок с ног, о которых я говорю, но никак не мог добиться согласия их обладательницы.

Шатофор с живейшей радостью слушал эти нескромные разоблачения, но делал вид, что, будучи всецело занят разговором с г-жой де Шаверни о *Maometto*, ничего не слышит.

– Особа, о которой идет речь, – продолжал неумолимый супруг, – обычно страшно возмущается, когда ей отдают должное по этому пункту, но в глубине души совсем не сердится. Знаете, она всегда заставляет чулочного мастера снимать мерку... Не сердитесь, дорогая: я хотел сказать – мастерицу... И когда я ездил в Брюссель, она три страницы заполнила подробнейшими указаниями по поводу покупки чулок.

Он мог говорить сколько ему угодно – Жюли твердо решила ничего не слышать. Беседуя с Шатофором, она говорила с преувеличенной веселостью, своей прелестной улыбкой стараясь убедить его, что только его и слушает. Шатофор, по-видимому, тоже был всецело поглощен *Maometto*, но ни

⁴ «Магомет» (*um.*).

одна из нескромностей Шаверни не ускользнула от него.

После обеда занялись музыкой, г-жа де Шаверни пела с Шатофором. Как только подняли крышку фортепьяно, Шаверни исчез. Пришли новые гости, но это не помешало Шатофору переговариваться шепотом с Жюли. Выходя, он объявил Перену, что вечер не пропал даром и дела его подвинулись вперед.

Перен находил вполне естественным, что муж говорил о жениных ногах; поэтому, когда они остались с Шатофором на улице одни, он сказал проникновенным голосом:

– Как у вас хватает духа нарушать супружеское счастье? Он так любит свою прелестную жену.

Глава 5

Вот уже месяц, как Шаверни занимала мысль сделаться камер-юнкером.

Может быть, покажется удивительным, что этому тучному, любящему удобства человеку доступны были честолюбивые мечты, но у него было достаточно оправданий своему тщеславию.

– Прежде всего, – говорил он друзьям, – я очень много трачу на ложи для женщин. Получив придворную должность, я буду иметь в своем распоряжении сколько угодно даровых лож. А известно, что с помощью лож можно достигнуть чего угодно! Затем я очень люблю охотиться, и к моим услугам будут королевские охоты. Наконец, теперь, когда я не ношу мундира, я решительно не знаю, как одеваться на придворные балы; одеваться маркизом я не люблю, а камер-юнкерский мундир отлично мне пойдет.

Итак, он начал хлопотать. Ему хотелось, чтобы и жена принимала участие в этих хлопотах, но она наотрез отказалась, хотя у нее было немало влиятельных подруг. Он оказал несколько мелких услуг очень влиятельному в ту пору при дворе герцогу Г. и многого ждал от его покровительства. У друга его Шатофора тоже было много полезных знакомых, и он помогал Шаверни с усердием и преданностью, которые вы тоже, может быть, встретите в жизни, если будете мужем

хорошенькой женщины.

Одно обстоятельство значительно подвинуло вперед дела Шаверни, хотя и могло бы иметь для него роковые последствия. Г-жа де Шаверни достала как-то, не без некоторого труда, ложу в оперу на первое представление. В ложе было шесть мест. Муж ее после долгих уговоров вопреки своему обыкновению согласился сопровождать ее. Жюли хотела предложить одно место Шатофору; понимая, что она не может ехать в оперу с ним вдвоем, она взяла слово с мужа, что он тоже будет присутствовать на этом представлении.

Сейчас же после первого акта Шаверни вышел, оставив жену наедине со своим другом. Оба сначала хранили несколько натянутое молчание: Жюли с некоторых пор вообще чувствовала себя стесненно, оставаясь вдвоем с Шатофором, а у Шатофора были свои расчеты, и он находил уместным казаться взволнованным. Бросив украдкой взгляд на зрительный зал, он с удовольствием заметил, что бинокли многих знакомых направлены на их ложу. Он испытывал чувство удовлетворения при мысли, что большинство его друзей завидуют его счастью, по-видимому, считая это счастье более полным, чем оно было в действительности.

Жюли понюхала несколько раз свой флакончик с духами и свой букет, поговорила о духоте, о спектакле, о туалетах. Шатофор слушал рассеянно, вздыхал, вертелся на стуле, поглядывая на Жюли, и снова вздыхал. Жюли начала уже беспокоиться. Вдруг он воскликнул:

– Как я жалею, что прошли рыцарские времена!

– Рыцарские времена? Почему? – спросила Жюли. – Должно быть, потому, что, по вашему мнению, к вам пошел бы средневековый костюм?

– Вы считаете меня большим фатом! – сказал он горестно и печально. – Нет, я жалею о тех временах потому, что человек смелый... тогда... мог добиться... многого. В конце концов достаточно было разрубить какого-нибудь великана, чтобы понравиться даме... Посмотрите вон на того огромного человека на балконе. Мне бы хотелось, чтобы вы приказали мне оборвать ему усы, а за это позволили сказать вам три словечка, не возбуждая вашего гнева.

– Что за вздор! – воскликнула Жюли, краснея до ушей: она сразу догадалась, какие это три словечка. – Взгляните на госпожу де Сент-Эрми. В ее возрасте – бальное платье и декольте!

– Я вижу только то, что вы не желаете меня выслушать, я давно это замечаю... Вам угодно, чтобы я молчал. Но, – прибавил он шепотом и со вздохом, – вы меня поняли...

– Нисколько, – сухо ответила Жюли. – Но куда же пропал мой муж?

Очень кстати кто-то вошел в ложу, и это вывело Жюли из неловкого положения. Шатофор не открывал рта. Он был бледен и казался глубоко взволнованным. Когда посетитель ушел, он сделал несколько незначительных замечаний относительно спектакля. Разговор прерывался долгими паузами.

Перед самым началом второго действия дверь в ложу открылась, и появился Шаверни, сопровождая молодую женщину, очень красивую и разряженную, с великолепными розовыми перьями в причёске. За ними шел герцог Г.

– Милая моя! – обратился Шаверни к жене. – Оказывается, у герцога и его дамы ужасная боковая ложа, оттуда совсем не видно декораций. Они согласились пересесть в нашу.

Жюли холодно поклонилась. Герцог Г. ей не нравился. Герцог и дама с розовыми перьями рассыпались в извинениях, опасаясь, что они стеснят. Все засуетились и стали уступать друг другу лучшие места. Во время происшедшей сумятицы Шатофор наклонился к Жюли и быстро шепнул ей:

– Ради бога, не садитесь впереди!

Жюли очень удивилась и осталась на прежнем месте. Когда все уселись, она повернулась к Шатофору и довольно строгим взглядом спросила объяснения этой загадки. Он сидел, не поворачивая головы, поджав губы, и весь его вид выражал крайнее неудовольствие. Подумав, Жюли объяснила себе совет Шатофора довольно мелкими побуждениями. Она решила, что он и во время спектакля хочет продолжать свой странный разговор шепотом, что, конечно, было бы невозможно, останься она у барьера. Переведя глаза на зрительный зал, она заметила, что многие женщины направили свои бинокли на их ложу, но ведь так бывает всегда, когда появляется новое лицо. Смотревшие шептались, пересмеивались, но что же в этом необыкновенного? Оперный

театр – это маленький провинциальный городок.

Незнакомая дама наклонилась к букету Жюли и произнесла с очаровательной улыбкой:

– Какой дивный букет у вас, сударыня! Наверно, он страшно дорого стоит в это время года – по крайней мере десять франков? Но вам его преподнесли, это подарок, разумеется? Дамы никогда не покупают сами себе цветов.

Жюли широко раскрыла глаза, недоумевая, что за провинциалку ей бог послал.

– Герцог! – продолжала дама с томным видом. – А вы мне не поднесли букета!

Шаверни бросился к двери. Герцог хотел его остановить, дама тоже – ей уже расхотелось иметь букет. Жюли переглянулась с Шатофором. Взгляд ее хотел сказать: «Благодарю вас, но теперь уже поздно». Но все же она еще не разгадала, в чем дело.

Во время всего спектакля дама с перьями не в такт постукивала пальцами и вкривь и вкось толковала о музыке. Она расспрашивала Жюли, сколько стоит ее платье, ее драгоценности, выезд. Жюли еще никогда не видала подобных манер. Она решила, что незнакомка приходится какой-нибудь родственницей герцогу и только что приехала из Нижней Бретани. Когда Шаверни вернулся с огромным букетом, лучшим, чем у жены, начались бесконечные восторги, посыпались благодарности, извинения.

– Господин де Шаверни! – сказала наконец после длинной

тирады провинциальная дама. – Я не лишена чувства благодарности. В доказательство «напомните мне что-нибудь вам пообещать», как говорит Потье. В самом деле, я вышью вам кошелек, когда кончу кошелек, обещанный герцогу.

Наконец опера кончилась, к большому облегчению Жюли, которой было не по себе рядом с такой странной соседкой. Герцог подал руку Жюли; Шаверни предложил свою другой даме. Шатофор с мрачным и недовольным видом шел за Жюли, смущенно раскланиваясь со знакомыми, которые ему встречались на лестнице.

Мимо них прошли женщины. Жюли где-то их уже видела. Какой-то молодой человек шепнул им что-то, посмеиваясь; они с живейшим любопытством посмотрели на Шаверни и его жену, и одна из них воскликнула:

– Да не может быть!

Герцогу подали карету, он поклонился г-же де Шаверни, с жаром поблагодарив еще раз за ее любезность. Шаверни захотел проводить незнакомку до герцогской кареты, и на минуту Жюли с Шатофором остались одни.

– Кто эта женщина? – спросила Жюли.

– Я не могу вам этого сказать... это слишком необыкновенно.

– Как?

– В конце концов все, кто вас знает, сумеют разобрать, в чем дело... Но Шаверни!... Этого я от него не ожидал.

– Но что все это значит? Ради бога, скажите! Кто она?

Шаверни шел уже обратно. Шатофор, понизив голос, сказал:

– Любовница герцога Г., Мелани Р.

– Боже! – воскликнула Жюли, посмотрев на Шатофора с изумлением. – Этого не может быть!

Шатофор пожал плечами и, провожая ее к карете, добавил:

– Это же самое говорили и дамы, которых мы встретили на лестнице. Для своего разряда это еще вполне приличная женщина. Она требует внимания, почтительности... У нее даже есть муж.

– Милочка! – сказал Шаверни веселым голосом. – Вы отлично можете доехать домой без меня. Спокойной ночи! Я еду ужинать к герцогу.

Жюли молчала.

– Шатофор! – продолжал Шаверни. – Не хотите ли поехать со мной к герцогу? Мне только что сказали, что вы тоже приглашены. Вас заметили. Вы произвели впечатление, плутишка.

Шатофор холодно поблагодарил и простился с г-жой де Шаверни, которая закусилла платок от негодования, когда карета тронулась.

– Ну, милый, – обратился к нему Шаверни, – по крайней мере хоть подвезите меня в вашем кабриолете до дверей этой инфанты.

– Охотно, – ответил весело Шатофор. – Кстати, вы знае-

те, что жена ваша в конце концов поняла, с кем она сидела рядом?

– Не может быть!

– Уверяю вас. И это не очень хорошо с вашей стороны.

– Пустяки! Она держит себя вполне прилично. И потом, еще мало кто ее знает. Герцог бывает с ней всюду.

Глава 6

Госпожа де Шаверни провела очень беспокойную ночь. Поведение ее мужа в опере превзошло все его проступки и, как ей показалось, требовало немедленного разрыва. Завтра же она с ним объяснится и заявит, что не намерена более оставаться под одной крышей с человеком, так жестоко ее скомпрометировавшим. Однако объяснение это ее пугало. До сих пор неудовольствие ее выражалось лишь в том, что она дулась, на что Шаверни не обращал ни малейшего внимания; предоставив жене своей полную свободу, он не допускал мысли, чтобы она могла отказать ему в снисходительности, которую в случае нужды он готов был проявить по отношению к ней. Всего больше она боялась, что во время объяснения она расплчется и Шаверни припишет эти слезы оскорбленному чувству любви. Вот когда она пожалела, что подле нее нет матери, которая могла бы дать ей хороший совет или взять на себя заявление о разрыве. От всех этих мыслей она пришла в сильнейшее замешательство и, засыпая, решила посоветоваться с одной из своих замужних подруг, которая знала ее с ранней юности, и довериться ее благоразумию в вопросе о том, как вести себя с Шаверни.

Вся во власти негодования, она невольно сравнила своего мужа с Шатофором. Чудовищная бестактность первого оттеняла деликатность второго, и г-жа де Шаверни не без

удовольствия, за которое она, впрочем, упрекнула себя, отметила, что влюбленный заботился о ее чести больше, чем муж. Сравнивая их нравственные качества, она, естественно, пришла к мысли о том, насколько изящны манеры Шатофора и до чего непривлекателен весь облик Шаверни. Она живо представляла себе мужа с его брюшком, грузно суемящегося около любовницы герцога Г., между тем как Шатофор, еще более почтительный, чем обычно, казалось, старался поддержать уважение к ней со стороны света, которое муж готов был разрушить. Наконец – а ведь мысли могут завести нас далеко помимо нашей воли, – она представляла себе, что может овдоветь, и тогда ничто не помешает ей, молодой и богатой женщине, законным образом увенчать любовь и постоянство юного командира эскадрона. Неудачный опыт не есть еще довод против брака вообще, и если привязанность Шатофора искренняя... Но она гнала эти мысли, заставлявшие ее краснеть, и давала себе слово быть с ним еще сдержаннее, чем раньше.

Она проснулась с ужасной головной болью и еще менее, чем накануне, подготовленной к решительному объяснению. Она не пожелала выйти к завтраку из страха встретиться с мужем, велела подать чай к себе в комнату и заказала экипаж, чтобы поехать к г-же Ламбер, своей приятельнице, с которой она хотела посоветоваться. Дама эта находилась в то время в своем поместье в П.

За завтраком Жюли развернула газету. Первое, что попа-

лось ей на глаза, было следующее:

Г-н Дарси, первый секретарь французского посольства в Константинополе, позавчера прибыл в Париж с дипломатической почтой. Сразу же по своем прибытии молодой дипломат имел продолжительную беседу с его превосходительством министром иностранных дел.

– Дарси в Париже! – воскликнула она. – Я бы с удовольствием его повидала. Изменился ли он? Наверно, стал очень чопорным? «Молодой дипломат»! Дарси – молодой дипломат.

Она не могла удержаться от смеха при словах «молодой дипломат».

Этот Дарси в свое время часто посещал вечера г-жи де Люсан. Тогда он был атташе при министерстве иностранных дел. Из Парижа он уехал незадолго до замужества Жюли, и с тех пор они не видались. Она знала только одно – что он много путешествовал и быстро получил повышение.

Она еще держала газету в руках, когда в комнату вошел муж. По-видимому, он был в прекраснейшем настроении. Увидев его, она поднялась и хотела выйти. Но для того, чтобы попасть в будуар, нужно было пройти мимо него; поэтому она продолжала стоять на месте, но так волновалась, что рука ее, опиравшаяся на чайный столик, заметно дрожала и фарфоровый сервиз дребезжал.

– Дорогая моя! – сказал Шаверни. – Я пришел проститься с вами на несколько дней. Я еду на охоту к герцогу Г. Могу сообщить вам, что он в восторге от вашей вчерашней любезности. Дела мои идут хорошо, и он обещал похлопотать обо мне перед королем самым настойчивым образом.

Слушая его, Жюли то бледнела, то краснела.

– Герцог Г. только исполняет свой долг по отношению к вам, – сказала она дрожащим голосом. – Меньше нельзя сделать для человека, который так скандально компрометирует свою жену с любовницами своего покровителя.

Потом, сделав над собой огромное усилие, она величественной походкой прошла через комнату в свой будуар и громко захлопнула за собой дверь.

Шаверни с минуту постоял, смущенно потупившись. «Черт побери, откуда она знает? – подумал он. – Но, в конце концов, не все ли равно? Что сделано, то сделано!» И так как не в его правилах было долго задерживаться на непонятной мысли, он сделал пируэт, взял из сахарницы кусочек сахара и, положив его в рот, крикнул вошедшей горничной:

– Передайте жене, что я пробуду у герцога дней пять и пришлю ей дичи!

Шаверни вышел из дому, ни о чем другом не думая, как о фазанах и диких козах, которых он собирался настрелять.

Глава 7

Жюли поехала в П., вдвойне рассерженная на мужа. Вторая причина ее неудовольствия была довольно пустой. Он велел заложить себе новую коляску, чтобы отправиться в замок к герцогу Г., а жене оставил другой экипаж, требовавший, по словам кучера, починки.

По дороге г-жа де Шаверни обдумала, как она расскажет г-же Ламбер о своем приключении. Несмотря на свое горе, она предвкушала удовольствие, которое испытывает всякий рассказчик, когда он хорошо рассказывает свою историю; она готовилась к повествованию, подыскивая вступление и пробуя начать то так, то этак. В результате этого поступок мужа предстал перед нею во всем его безобразии, и чувство обиды у нее соответственно возросло.

Всем известно, что от Парижа до П. более четырех миль, и как бы длинен ни был обвинительный акт, составленный г-жой де Шаверни, даже при жгучей ненависти невозможно столько времени думать об одном и том же. К негодованию, вызванному провинностью мужа, стали примешиваться нежные меланхолические воспоминания: такова уж странная способность человеческого ума связывать иногда с тягостными впечатлениями ласкающие образы.

Чистый и холодный воздух, ясное солнце, беззаботные лица прохожих также способствовали тому, что ее раздраже-

ние рассеялось. На память ей пришли картины детства, когда она гуляла за городом со своими юными сверстницами. Ей живо представились монастырские подруги, их игры, трапезы. Теперь ей понятны были те таинственные признания, которые случайно доносились до ее слуха от старших учениц, и она невольно улыбнулась, подумав, как рано в сотне мелких черточек сказывается природная склонность женщин к кокетству.

Потом она представила себе свой выезд в свет. Она заново переживала самые блестящие из балов, на которых она бывала в первый год после выхода из монастыря. Остальные балы она забыла: пресыщение наступает так быстро! Эти первые балы напомнили ей о муже. «Какая я была глупая! – подумала она. – Как с первого взгляда не поняла я, что буду с ним несчастлива?» Все нелепости, все бестактности, которые бедный Шаверни за месяц до свадьбы совершил в качестве жениха с таким апломбом, сохранились в ее памяти, все было тщательно запротоколировано. В то же время она не могла отогнать мысль о том, скольких поклонников ее замужество повергло в отчаяние, хотя это не помешало им в скором времени жениться или утешиться другим способом.

«Была ли бы я счастлива с другим? – задавала она себе вопрос. – А., разумеется, глуп, но он безобиден, и Амели вертит им, как хочет. С послушным мужем всегда можно ужиться. У Б. есть любовницы, и жена его по своей наивности огорчается. Вот дурочка! В конце концов, он с нею чрезвычайно

почтителен, и... я этим вполне бы удовлетворялась. Молодой граф С., который целый день занят чтением памфлетов и старается стать со временем хорошим депутатом, мог бы, пожалуй, оказаться хорошим мужем. Да, но все эти господа скучны, безобразны, глупы...» В то время, как она перебирала в памяти всех молодых людей, которых знавала еще девушкой, фамилия Дарси вторично пришла ей на ум.

В свое время в кружке г-жи де Люсан Дарси не пользовался большим весом, так как было известно – известно мамашам, – что отсутствие состояния не позволяет ему иметь виды на их дочерей. Что касается самих дочерей, то они не видели в его внешности, хотя и привлекательной, ничего, что могло бы вскружить их молодые головы. Впрочем, репутацией он пользовался прекрасной. Он был слегка мизантроп, обладал едким умом; ему доставляло удовольствие, сидя в кругу барышень, смеяться над комичностью и претенциозностью остальных молодых людей. Когда он говорил вполголоса с какой-нибудь из девиц, мамыши не беспокоились, так как дочери громко смеялись, а мамыши тех девиц, у которых были хорошие зубы, даже находили г-на Дарси весьма приятным молодым человеком.

Общность вкусов, а также боязнь попасться друг другу на зубок сблизили Жюли и Дарси. После нескольких стычек они заключили мирный договор, наступательный и оборонительный союз. Друг друга они щадили, но всегда были заодно, когда являлся повод высмеять кого-нибудь из знакомых.

Как-то на вечере Жюли попросили что-нибудь спеть. У нее был хороший голос, и она это знала. Подойдя к фортепьяно, она, перед тем как петь, обвела женщин горделивым взглядом, словно посылая им вызов. Но как раз в этот вечер, по нездоровью ли, по несчастной ли случайности, она оказалась не в голосе. Первая же нота, вылетевшая из ее обычно столь певучего, мелодичного горлышка, была положительно фальшивой. Жюли смутилась и пропела все из рук вон плохо, ни один из пассажиров ей не удался – словом, провал был скандальный. Смешавшись и чуть не плача, Жюли отошла от фортепьяно; возвращаясь на свое место, она не могла не заметить плохо скрытое злорадство на лицах своих подруг при виде ее униженной гордости. Даже мужчины, казалось, с трудом сдерживали насмешливую улыбку. От стыда и гнева она опустила глаза и некоторое время не решалась ни на кого взглянуть. Первое дружелюбное лицо, которое она увидела, подняв голову, было лицо Дарси. Он был бледен, глаза были наполнены слезами: казалось, он был огорчен ее неудачей больше, чем она сама. «Он любит меня! – подумала она. – Он искренне меня любит». Она не спала почти всю ночь, и все время у нее перед глазами стояло печальное лицо Дарси. Целых два дня она думала о нем и о тайной страсти, которую, очевидно, он к ней питает. Роман уже начинал развиваться, как вдруг г-жа де Люсан нашла у себя визитную карточку Дарси с тремя буквами: *P. P. C.*

– Куда же Дарси едет? – спросила Жюли у одного моло-

дого человека, его знакомого.

– Куда он едет? Разве вы не знаете? В Константинополь. Он отправляется сегодня вечером в качестве дипломатического курьера.

«Значит, он меня не любит!» – подумала Жюли. Через неделю Дарси был забыт. Но сам Дарси, который в то время был настроен довольно романтически, месяцев восемь не мог забыть Жюли.

Чтобы извинить Жюли и понять удивительную разницу в степени их постоянства, нужно принять во внимание, что Дарси жил среди варваров, между тем как Жюли осталась в Париже, окруженная поклонением и удовольствиями.

Как бы то ни было, через шесть или семь лет после их разлуки Жюли в своей карете по дороге в П. припомнила грустное выражение лица Дарси в тот вечер, когда она так неудачно пела. И, нужно признаться, ей даже пришло на ум, что, вероятно, он в то время любил ее. Все это в течение некоторого времени занимало ее достаточно живо, но, проехав с полмили, она в третий раз позабыла о Дарси.

Глава 8

Жюли не на шутку огорчилась, когда сразу же по прибытии в П. увидела, что во дворе г-жи Ламбер стоит какой-то экипаж, из которого выпрягают лошадей: это означало, что здесь находятся посетители, которые не собираются скоро уезжать. Следовательно, невозможно было поговорить об обиде, причиненной ей мужем.

Когда Жюли входила в гостиную, у г-жи Ламбер сидела дама, с которой Жюли встречалась в обществе, не зная ее имени. Ей стоило некоторого труда скрыть свою досаду на то, что она зря приехала в П.

– Ну вот наконец-то, красавица моя! – вскричала г-жа Ламбер, обнимая ее. – Как я рада, что вы не забыли меня! Приехали вы необыкновенно кстати: я жду сегодня много гостей, и все они от вас без ума.

Жюли ответила несколько принужденно, что она рассчитывала застать г-жу Ламбер одну.

– Они будут страшно рады вас видеть, – продолжала г-жа Ламбер. – С тех пор как дочь вышла замуж, в доме у меня стало так уныло, что я бываю счастлива, когда моим друзьям приходит в голову мысль собраться у меня. Но, дитя мое, куда девался ваш прекрасный цвет лица? Вы сегодня ужасно бледны.

Жюли решила солгать: длинная дорога, пыль, солнце...

– Как раз сегодня у меня обедает один из ваших поклонников, для которого ваш приезд будет приятной неожиданностью: господин де Шатофор. С ним будет, по всей вероятности, его верный Ахат, майор Перен.

– Недавно я имела удовольствие принимать у себя майора Перена, – ответила Жюли и покраснела, так как думала она о Шатофоре.

– Будет также господин де Сен-Леже. Через месяц он непременно должен устроить у меня вечер драматических пословиц, и вы, мой ангел, будете в нем участвовать. Два года тому назад вы во всех пословицах играли у нас главные роли.

– Ах, я так давно не участвовала в пословицах, что потеряла прежнюю уверенность! Мне придется прибегнуть к помощи суфлера.

– Жюли, дитя мое! Знаете, кого мы еще ждем! Но только, дорогая, нужно иметь хорошую память, чтобы вспомнить его имя.

Жюли сейчас же пришла на ум фамилия Дарси.

«Он меня неотступно преследует», – подумалось ей.

– Хорошую память? У меня память неплохая.

– Да, но нужно вспомнить то, что было лет шесть-семь назад. Вам не припоминается один из ваших поклонников, когда вы были еще подростком и носили гладкую прическу?

– Признаться, не догадываюсь.

– Какой ужас, дорогая!.. Совсем забыть очаровательного

человека, который, если я не ошибаюсь, в свое время вам так нравился, что это даже тревожило вашу матушку! Ну, нечего делать, дорогая: раз вы забываете своих вздыхателей, придется вам их напомнить. Вы увидите сегодня господина Дарси.

– Дарси?

– Да. Несколько дней тому назад он наконец вернулся из Константинополя. Третьего дня он был у меня с визитом, и я его пригласила. А знаете ли вы, неблагодарное существо, с каким интересом он расспрашивал о вас? Это неспроста.

– Господин Дарси? – повторила Жюли с запинкой и напускной рассеянностью. – Господин Дарси?.. Это тот высокий блондин... секретарь посольства?

– Вы его не узнаете, дорогая, так он переменялся. Теперь он бледен, или, скорее, оливкового цвета, глаза впали, волосы заметно поредели – от сильной жары, по его словам. Если будет так продолжаться, года через два-три он совсем облысеет. А между тем ему нет еще тридцати.

Дама, при которой велся этот разговор о неприятности, постигшей Дарси, усиленно стала рекомендовать калидор, который очень ей помог, когда после болезни у нее начали выпадать волосы. Говоря это, она проводила пальцами по своим пышным локонам прекрасного пепельно-русого цвета.

– И все это время Дарси провел в Константинополе? – спросила г-жа де Шаверни.

– Не все, он много путешествовал. Он был в России, потом объездил всю Грецию. Вы еще не знаете, как ему повезло. У него умер дядюшка и оставил ему большое состояние. Побывал он также и в Малой Азии... в этой, как ее... в Карамании. Он прелестен, дорогая. Он рассказывает очаровательные истории – вы будете в восторге. Вчера он рассказывал мне такие интересные вещи, что я все время говорила: «Приберегите их на завтра, вы их расскажете всем дамам, вместо того чтобы тратить их на такую старуху, как я».

– А он рассказывал вам, как он спас турчанку? – спросила г-жа Дюмануар, рекомендовавшая калидор.

– Он спас турчанку? Разве он спас турчанку? Он мне об этом ни слова не говорил.

– Но ведь это замечательный поступок, настоящий роман.

– О, расскажите нам, пожалуйста!

– Нет, нет, попросите его самого. Я знаю об этой истории только от сестры, муж которой, как вам известно, был когда-то консулом в Смирне. А ей это рассказывал один англичанин, очевидец происшествия. Прямо удивительно!

– Расскажите нам эту историю. Неужели вы думаете, что мы будем дожидаться обеда? Ведь это ужасно, когда говорят о какой-нибудь истории, о которой сама ничего не знаешь.

– Ну хорошо, только я расскажу ее очень плохо. Во всяком случае, я передаю то, что слышала. Дарси находился в Турции, исследовал какие-то развалины на берегу моря. Вдруг он видит, что к нему направляется мрачная процессия. Чер-

ные немые рабы несли мешок, который шевелился, как будто в нем было что-то живое...

– Боже мой! – вскричала г-жа Ламбер, читавшая *Гяура*. – Эту женщину собирались бросить в море?

– Совершенно верно, – продолжала г-жа Дюмануар, раздосадованная тем, что пропал самый эффектный момент рассказа. – Дарси смотрит на мешок, слышит глухой стон и сразу же угадывает ужасную правду. Он спрашивает у немых рабов, что они собираются делать, – те вместо всякого ответа обнажают кинжалы. К счастью, Дарси был хорошо вооружен. Он обращает в бегство невольников и освобождает, наконец, из этого отвратительного мешка женщину восхитительной красоты, в полуобморочном состоянии. Он отвозит ее в город и помещает в надежный дом.

– Бедняжка! – произнесла Жюли, которую эта история уже начала интересовать.

– Вы думаете, что этим все кончилось? Ничуть не бывало. Муж ее, ревнивый, как все мужья, подстрекает толпу, она бросается к жилищу Дарси с факелами, чтобы сжечь его живьем. Я не знаю точно, что случилось потом. Знаю только, что он выдержал форменную осаду и в конце концов поместил женщину в надежное место. По-видимому, – добавила г-жа Дюмануар, сразу изменив выражение лица и гнуся, как настоящая ханжа, – по-видимому, Дарси позаботился о том, чтобы ее обратили в истинную веру, и она крестилась.

– И Дарси на ней женился? – спросила Жюли с улыбкой.

– Этого я не могу вам сказать. Но турчанка – у нее было странное имя, она звалась Эминэ – вспылала страстью к Дарси. Сестра передавала мне, что она иначе не называла его, как «сотир»... «Сотир» по-турецки или по-гречески значит «спаситель». По словам Эвали, это была одна из красивейших женщин на свете.

– Мы ему зададим за эту турчанку! – воскликнула г-жа Ламбер. – Правда, нужно его немного помучить?.. В конце концов поступок Дарси меня несколько не удивляет: он один из самых великодушных людей, каких я знаю, о некоторых его поступках я не могу вспоминать без слез. После смерти его дяди осталась незаконная дочь, которую тот не хотел признавать. Завещания сделано не было, так что она не имела никаких прав на наследство. Дарси, будучи единственным наследником, решил выделить ей часть наследства и уж, конечно, отдал ей гораздо больше, чем сделал бы это сам дядя.

– Что же, она была хорошенькая, эта незаконная дочь? – спросила г-жа де Шаверни не без злости.

Ей хотелось сказать что-нибудь дурное о Дарси, мысль о котором не давала ей покоя.

– Ах, дорогая, как вам могло прийти в голову?.. К тому же, когда дядя его умирал, Дарси был еще в Константинополе и, по всей вероятности, никогда в жизни не видел этой особы.

Тут вошли Шатофор, майор Перен и несколько других лиц, и это положило конец разговору. Шатофор сел рядом с г-жой де Шаверни и, выбрав минуту, когда все громко гово-

рили, спросил:

– Вы, кажется, грустите, сударыня? Я был бы крайне огорчен, если бы сказанное мною вчера оказалось тому причиной.

Госпожа де Шаверни не слышала его слов или, скорее, не пожелала слышать. Шатофор был вынужден, к своему неудовольствию, повторить всю фразу, и еще большее неудовольствие он испытал, получив суховатый ответ, а Жюли сейчас же приняла участие в общем разговоре. Затем она пересела на другое место, оставив своего несчастного поклонника.

Не теряя присутствия духа, Шатофор блистал остроумием, но понапрасну. Понравиться он хотел одной г-же де Шаверни, но она слушала его рассеянно: она думала о скором появлении Дарси, спрашивая себя, почему ее так занимает человек, которого она должна была бы уже забыть и который, вероятно, сам ее давно позабыл.

Наконец послышался стук подъезжающей кареты; дверь в гостиную отворилась.

– Вот и он! – воскликнула г-жа Ламбер.

Жюли не решилась повернуть голову, но страшно побледнела. Она внезапно испытала острое ощущение холода и должна была собрать все свои силы, чтобы взять себя в руки и не дать Шатофору заметить, как изменилось выражение ее лица.

Дарси поцеловал руку г-же Ламбер и, поговорив с нею несколько минут стоя, сел около нее. Воцарилось молча-

ние; г-жа Ламбер, казалось, ждала терпеливо, чтобы старые знакомые узнали друг друга. Шатофор и другие мужчины, исключая славного майора Перена, рассматривали Дарси с несколько ревнивым любопытством. Приехав недавно из Константинополя, он имел большое преимущество перед ними, и это было достаточно серьезной причиной, чтобы все приняли чопорный вид, как это делается обыкновенно в присутствии иностранцев. Дарси, не обратив ни на кого внимания, заговорил первый. О чем бы он ни говорил – о дороге или о погоде, – голос его был нежен и музыкален. Г-жа де Шаверни рискнула на него взглянуть; она увидела его в профиль. Ей показалось, что он похудел и что выражение лица у него стало другое. В общем, она нашла его интересным.

– Дорогой Дарси! – сказала г-жа Ламбер. – Посмотрите хорошенько вокруг: не найдете ли вы тут кое-кого из ваших старых знакомых?

Дарси повернул голову и заметил Жюли, до этой минуты скрывавшую свое лицо под полями шляпы. Он стремительно поднялся, вскрикнув от удивления, и направился к ней с протянутой рукой; потом вдруг остановился и, как бы раскаяваясь в излишней фамильярности, отвесил Жюли низкий поклон и высказал ей в пристойных выражениях, как рад он снова с нею встретиться. Жюли пролепетала несколько вежливых слов и густо покраснела, видя, что Дарси все стоит перед нею и пристально на нее смотрит.

Вскоре ей удалось овладеть собой, и она тоже взгляну-

ла на него тем как будто рассеянным и вместе наблюдательным взглядом, каким умеют, когда захотят, смотреть светские люди. Дарси был высокий бледный молодой человек; черты лица его выражали спокойствие, но это спокойствие, казалось, говорило не столько об обычном состоянии души, сколько об умении владеть выражением своего лица. Ясно обозначившиеся морщины бороздили его лоб. Глаза впали, углы рта были опущены, волосы на висках начали редеть. А ведь ему было не более тридцати лет. Одет Дарси был просто, но элегантно, что доказывало привычку к хорошему обществу и безразличное отношение к своему туалету, который составляет предмет мучительных раздумий для стольких молодых людей. Жюли не без удовольствия сделала все эти наблюдения. Она заметила также, что на лбу у него довольно большой, плохо скрытый под прядью волос шрам, по видимому, от сабельного удара.

Жюли сидела рядом с г-жой Ламбер. Между нею и Шатофором стоял стул, но как только Дарси поднялся с места, Шатофор положил руку на спинку этого стула и, поставив его на одну ножку, постарался удержать в равновесии. Очевидно, он имел намерение охранять его, как собака охраняет сено. Г-жа Ламбер сжалась над Дарси, который продолжал стоять перед г-жой де Шаверни. Она подвинулась на диване и освободила место для Дарси – таким образом, тот очутился рядом с Жюли. Он поспешил воспользоваться этим выгодным положением и сейчас же начал с нею более связный

разговор.

Между тем со стороны г-жи Ламбер и некоторых других особ Дарси подвергся форменному допросу относительно своих странствий. Но он отделялся довольно лаконичными ответами и пользовался каждой свободной минутой, чтобы продолжать разговор с г-жой де Шаверни.

– Предложите руку госпоже де Шаверни, – сказала г-жа Ламбер Дарси, когда колокол возвестил время обеда.

Шатофор закусил губу. Но он нашел возможность сесть за стол довольно близко от Жюли, чтобы хорошенько наблюдать за нею.

Глава 9

Вечер был ясный и теплый. После обеда все вышли в сад пить кофе и расположились за круглым садовым столом.

Шатофор все больше раздражался, замечая внимательность Дарси по отношению к г-же де Шаверни. Видя, с каким увлечением она разговаривает с вновь прибывшим, он становился все менее любезным; его ревность приводила только к тому, что он утрачивал свою привлекательность. Он прохаживался по террасе, где находилось все общество, не мог оставаться на месте, как это бывает с людьми встревоженными, часто взглядывал на тяжелые тучи, громоздившиеся на горизонте и предвещавшие грозу, а еще чаще на своего соперника, который тихонько беседовал с Жюли. Он видел, что она то улыбалась, то делалась серьезной, то робко опускала глаза; короче говоря, он видел, что каждое слово, произносимое Дарси, производит на нее впечатление. Особенно его огорчало, что разнообразные выражения, пробежавшие по чертам Жюли, казалось, были только отпечатком, как бы отражением подвижной физиономии Дарси. Наконец ему не под силу стало выносить эту пытку – он подошел к ней и, выбрав минуту, когда Дарси давал кому-то разъяснения насчет бороды султана Махмуда, наклонился над спинкой ее стула и произнес с горечью:

– По-видимому, сударыня, господин Дарси очень занят-

ный человек.

– О да! – ответила г-жа де Шаверни с восхищением, которого она не могла скрыть.

– Это видно, – продолжал Шатофор, – раз из-за него вы забываете ваших старых друзей.

– Моих старых друзей? – строгим тоном спросила Жюли. – Я не понимаю, что вы хотите этим сказать.

И она отвернулась от него. Потом, взяв за кончик платок, который держала в руках г-жа Ламбер, произнесла:

– С каким вкусом вышит этот платок! Чудесная работа!

– Вы находите, дорогая? Это подарок господина Дарси; он привез мне целую кучу вышитых платков из Константинополя. Кстати, Дарси, это не ваша турчанка их вышивала?

– Моя турчанка? Какая турчанка?

– Ну да, красавица султанша, которую вы спасли и которая вас называла... о, нам все известно!.. которая вас называла... своим... ну, словом, своим спасителем. Вы отлично знаете, как это будет по-турецки.

Дарси хлопнул себя по лбу и рассмеялся.

– Каким это образом слух о моем несчастном приключении успел достигнуть Парижа?..

– Но в этом приключении не было ничего несчастного. Несчастье могло быть только для *мамамуши*, потерявшего свою фаворитку.

– Увы, – ответил Дарси, – я вижу, что вам известна только одна половина истории. На самом деле приключение это

так же несчастливо для меня, как эпизод с мельницами для Дон Кихота. Мало того что я дал повод для смеха всем *франкам*, – еще и в Париже меня преследуют насмешками за единственный подвиг странствующего рыцаря, который я совершил.

– Значит, мы ничего не знаем. Расскажите! – воскликнули все дамы одновременно.

– Мне не следовало бы рассказывать, что произошло после известных вам событий, – сказал Дарси, – ибо вспоминать о конце этой истории не доставляет мне никакого удовольствия. Но один из моих друзей (я попрошу позволения представить его вам, госпожа Ламбер, – это сэр Джон Тиррел), один из моих друзей, тоже участник этой трагической пьесы, скоро прибудет в Париж. Возможно, что он не откажет себе в ехидном удовольствии приписать мне еще более смешную роль, чем та, какую я разыграл в действительности. Вот как было дело. Эта несчастная женщина, поселившись во французском консульстве...

– Нет, нет, расскажите все с самого начала! – воскликнула г-жа Ламбер.

– Начало вы уже знаете.

– Ничего мы не знаем, мы хотим, чтобы вы рассказали нам всю историю с начала до конца.

– Хорошо. Да будет вам известно, сударыня, что в 18... году я находился в Ларнаке. Как-то раз я отправился за город рисовать. Со мною был молодой англичанин по имени Джон

Тиррел – очень милый, добродушный, любящий пожить в свое удовольствие, – такие люди незаменимы в путешествии: они заботятся об обеде, помнят о припасах и всегда бывают в хорошем расположении духа. К тому же он путешествовал без определенной цели и не занимался ни геологией, ни ботаникой – науками, довольно несносными для спутника.

Я сел в тени лачуги, шагах в двухстах от моря, над которым в этом месте высятся отвесные скалы. Я старательно зарисовал все, что осталось от античного саркофага, а сэр Джон, разлегшись на траве, издевался над моей несчастной страстью к искусству, покуривая восхитительный латакийский табак. Неподалеку от нас турецкий переводчик, которого мы взяли к себе на службу, готовил нам кофе. Из всех известных мне турок он лучше всех умел варить кофе и был самым отъявленным трусом.

Вдруг сэр Джон радостно воскликнул: «Вон какие-то люди везут с горы снег! Сейчас мы его у них купим и устроим себе шербет из апельсинов».

Я поднял глаза и увидел, что к нам приближается осел с перекинутым через его спину огромным тюком; двое невольников поддерживали этот тюк с обеих сторон. Впереди осла шел погонщик, а замыкал шествие почтенный седобородый турок, ехавший верхом на довольно хорошей лошади. Вся эта процессия подвигалась медленно, с большой важностью.

Наш турок, не переставая раздувать огонь, бросил искоса взгляд на поклажу и сказал нам со странной улыбкой: «Это

не снег». Затем он с присущей ему флегматичностью продолжал заниматься нашим кофе.

«Что же это такое? – спросил Тиррел. – Что-нибудь съедобное?»

«Для рыб», – ответил турок.

В эту минуту всадник пустил лошадь в галоп; направляясь к морю, он проехал мимо нас, не преминув бросить на нас презрительный взгляд, каким обычно мусульмане глядят на христиан. Доскакав до отвесных скал, о которых я упомянул, он внезапно остановился у самого обрывистого места. Он принялся смотреть на море, словно выбирая место, откуда бы броситься.

Тогда сэр Джон и я стали внимательно присматриваться к мешку, навьюченному на осла, и были поражены его необычайной формой. Нам тотчас же припомнились всевозможные истории о женах, утопленных ревнивыми мужьями. Мы обменялись своими соображениями.

«Спроси у этих негодяев, – сказал сэр Джон нашему турку, – не женщину ли они везут».

Турок от ужаса раскрыл глаза, но не рот. Было очевидно, что вопрос наш он считал совершенно неприличным.

В эту минуту мешок поравнялся с нами; мы явственно увидели, что в нем что-то шевелится, и даже слышали что-то вроде стонов или ворчанья, доносившихся из него.

Хотя Тиррел и любил поесть, он был не чужд рыцарских чувств. Он вскочил, как бешеный, подбежал к погонщику и

спросил у него по-английски (так он забылся от гнева), что он везет и что намерен делать со своей поклажей. Погонщик и не подумал отвечать, но в мешке что-то забарахталось и раздались женские крики. Тогда два невольника принялись бить по мешку ремнями, которыми они погоняли осла. Тиррел окончательно вышел из себя. Сильным ударом кулака он по всем правилам искусства сбил погонщика с ног и схватил одного из невольников за горло; в этой потасовке мешок сильно толкнули, и он грузно упал на траву.

Я бросился к месту происшествия. Другой невольник принялся собирать камни; погонщик подымался. Я терпеть не могу вмешиваться в чужие дела, но нельзя было не прийти на помощь моему спутнику. Схватив кол, на котором во время рисования был укреплен мой зонтик, я стал им размахивать, угрожая невольникам и погонщику с самым воинственным видом, какой только мог принять. Все шло хорошо, как вдруг этот проклятый конный турок, перестав созерцать море, обернулся на шум, который мы производили, помчался, как стрела, и напал на нас, прежде чем мы к этому приготовились; в руках у него было нечто вроде гнутого тесака.

– Ятаган? – перебил рассказчика Шатофор, любивший местный колорит.

– Ятаган, – продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись. – Он проскакал мимо меня и хватил меня этим ятаганом по голове так, что у меня из глаз посыпались искры. Тем не менее я не остался в долгу и огрел его колом по пояснице,

а затем стал орудовать тем же колом, что было силы колотя по погонщику, невольникам, лошади и турку, взбешенный не хуже друга моего, сэра Джона Тиррела. Дело, несомненно, кончилось бы для нас плохо. Переводчик наш сохранял нейтралитет, а мы не могли долгое время защищаться одной палкой против трех пеших, одного конного и одного ятагана. К счастью, сэр Джон вспомнил о двух имевшихся у нас пи-столетах. Он вытащил их, бросил один мне, другой взял себе и сейчас же направил его на всадника, так нам досаждавшего. Вид этого оружия и легкое щелканье курка произвели магическое действие на наших противников. Они позорно бежали, оставя нам и поле битвы, и мешок, и даже осла. Несмотря на то что мы были очень раздражены, мы не стреляли, и хорошо сделали, так как нельзя безнаказанно убить доброго мусульманина, даже поколотить его, и то стоит недешево.

Как только я отер кровь, мы первым делом, как вы можете себе представить, подошли к мешку и развязали его. Мы нашли в нем довольно хорошенькую женщину, полненькую, с прекрасными черными волосами, в одной рубашке из синей шерстянки, немного менее прозрачной, чем шарф госпожи де Шаверни.

Она проворно выскочила из мешка и без особого смущения обратилась к нам с речью, несомненно, очень патетической, из которой, однако, мы не поняли ни слова; в заключение она поцеловала мне руку. Это единственный раз, суда-

рыни, я удостоился такой чести от дамы.

Меж тем хладнокровие к нам вернулось. Мы увидели, что переводчик наш в отчаянии терзает свою бороду. Я, как мог, перевязал себе голову носовым платком, Тиррел говорил: «Что же нам делать с этой женщиной? Если мы здесь останемся, муж явится с подкреплением и уकोшит нас, а если мы возвратимся в таком виде с нею в Ларнак, чернь забросает нас камнями».

Все эти соображения ставили Тиррела в тупик, и он воскликнул, вновь обретя свою британскую флегматичность: «И какого черта отправились вы сегодня рисовать!»

Восклицание это заставило меня рассмеяться; женщина, ничего не понимая, тоже стала смеяться.

Однако нужно было на что-нибудь решиться. Я подумал, что лучшее, что мы могли сделать, – это отдать себя под покровительство французского вице-консула, но труднее всего было вернуться в Ларнак. Начинало темнеть, и обстоятельство это было для нас благоприятно. Наш турок повел нас далеко в обход, и благодаря сумеркам и вышеуказанной предосторожности мы беспрепятственно достигли консульского дома, находившегося за чертой города. Я забыл сказать вам, что при помощи мешка и чалмы нашего переводчика мы соорудили для женщины почти благопристойный костюм.

Консул принял нас очень плохо, сказал, что мы сошли с ума, что следует уважать нравы и обычаи страны, по которой

путешествуешь, и не соваться не в свое дело. Одним словом, он нас разобрал на все корки и имел на то основание, так как из-за нашего проступка могло вспыхнуть большое восстание и все франки, находившиеся на острове Кипр, могли быть перерезаны.

Жена его оказалась более человечной; она начиталась романов и находила наше поведение необыкновенно великодушным. И правда, мы вели себя, как герои романа. Эта превосходнейшая дама была очень благочестива: она решила, что ей не будет стоить большого труда обратить басурманку, которую мы к ней доставили, что об обращении этом будет упомянуто в *«Монитере»* и муж ее получит место генерального консула. Весь этот план возник у нее мгновенно. Она поцеловала турчанку, дала ей свое платье, пристыдила вице-консула за его жестокосердие и послала его к паше улаживать дело.

Паша был в сильном гневе. Ревнивый муж, который был человеком видным, метал громы и молнии. Он находил возмутительным, что христианские собаки помешали такому человеку, как он, бросить свою невольницу в море. Вице-консул находился в большом затруднении; он много говорил о короле, своем повелителе, и еще больше о некоем фрегате с шестьюдесятью пушками, только что прибывшем в ларнакские воды. Но доводом, произведшим наибольшее впечатление, было предложение, сделанное им от нашего имени, – заплатить за невольницу сполна.

Увы, если б вы только знали, что у турок значит *сполна*! Нужно было заплатить мужу, паше, погонщику, которому Тиррел выбил два зуба, заплатить за скандал, заплатить за все. Сколько раз Тиррел горестно восклицал: «И какого черта отправились вы рисовать на берег моря!»

– Вот так приключение! Бедняжка Дарси! – воскликнула г-жа Ламбер. – Там-то вы и получили этот ужасный шрам? Пожалуйста, приподымите волосы. Удивительно, как еще турок не раскроил вам голову!

Во время этого рассказа Жюли не отводила глаз от лба рассказчика. Наконец она робко спросила:

– А что случилось с женщиной?

– Эту часть истории я как раз меньше всего люблю рассказывать. Продолжение было для меня столь печальным, что до сих пор все еще смеются над нашим рыцарским подвигом.

– Эта женщина была хороша собой? – спросила, немного покраснев, г-жа де Шаверни.

– Как ее звали? – спросила г-жа Ламбер.

– Ее звали Эминэ. Хороша собой?.. Да, пожалуй, но слишком толста и, по обычаю страны, вся вымазана румянами и белилами. Чтобы оценить прелесть турецких красавиц, нужно к ним привыкнуть. Итак, Эминэ водворилась в доме вице-консула. Она была родом из Мингрелии и сообщила госпоже С., жене консула, что она дочь князя. В ее стране всякий негодяй, у которого под началом находится десяток других негодяев, называется князем. Обращались с ней как с

княжной; обедала она со всеми, ела за четверых, а когда с ней начинали беседовать о религии, она неукоснительно засыпала. Так продолжалось некоторое время. Наконец был назначен день крещения. Госпожа С. вызвалась быть крестной матерью и пожелала, чтобы я был крестным отцом. Конфеты, подарки, словом, все, что полагается... Несчастной этой Эминэ на роду было написано разорить меня. Госпожа С. уверяла, что Эминэ любит меня больше, чем Тиррела, потому что, подавая кофе, она всегда проливала его мне на платье. Я приготовился к церемонии с чисто евангельским смиренномудрием, как вдруг накануне назначенного дня прекрасная Эминэ исчезла. Расскажу вам все начистоту. У консула был повар мингрелец, конечно, отъявленный негодяй, но он удивительно умел готовить пилав. Мингрелец этот понравился Эминэ, которая, несомненно, была в своем роде патриоткой. Похитив ее, он прихватил довольно большую сумму денег у С. Найти его не удалось. Итак, вице-консул поплатился своими деньгами, госпожа С. – нарядами, которые она подарила Эминэ, а я – расходами на перчатки и конфеты, не считая полученных ударов. Хуже всего то, что на меня взвалили ответственность за это приключение. Уверяли, что именно я освободил эту дрянную женщину, которую я теперь охотно бросил бы на дно моря и которая навлекла на моих друзей столько неприятностей. Тиррел сумел выпутаться из истории: его сочли за жертву, между тем как он-то и был единственным виновником всей кутерьмы, а

я остался с репутацией Дон Кихота и с этим шрамом, который очень вредит моим успехам.

Рассказ был окончен, и все перешли в гостиную. Дарси поговорил некоторое время с г-жой де Шаверни, но потом вынужден был ее покинуть, так как ему хотели представить некоего весьма сведущего в политической экономии молодого человека, который собирался по окончании учения стать депутатом и желал получить статистические сведения об Оттоманской империи.

Глава 10

С той минуты, как Дарси отошел от Жюли, она все время посматривала на часы. Она рассеянно слушала, что говорил Шатофор, и невольно искала глазами Дарси, разговаривавшего на другом конце гостиной. Иногда, не прерывая своей беседы с любителем статистики, он взглядывал на нее, и ей трудно было выдерживать его спокойный, но пронизательный взгляд. Она чувствовала, что он уже приобрел какую-то необыкновенную власть над нею, и не в силах была противиться этому.

Наконец она велела подать экипаж, и, отдавая приказание, то ли будучи слишком занята своими мыслями, то ли преднамеренно, посмотрела на Дарси так, словно хотела сказать ему: «Вы потеряли полчаса, которые мы могли бы провести вместе». Карета была подана. Дарси продолжал разговаривать, но, казалось, был утомлен бесконечными вопросами не отпускавшего его собеседника. Жюли медленно поднялась, пожала руку г-же Ламбер, затем направилась к выходу, удивленная, почти раздосадованная тем, что Дарси не двинулся с места. Шатофор находился около нее; он предложил ей руку, она машинально оперлась на нее, не слушая его, почти не замечая его присутствия.

Госпожа Ламбер и несколько человек гостей проводили ее через вестибюль до кареты. Дарси остался в гостиной. Ко-

гда она уже села в экипаж, Шатофор с улыбкой спросил ее, не страшно ли ей будет ехать ночью совсем одной, и прибавил, что, как только майор Перен кончит свою партию на бильярде, он, Шатофор, догонит ее в своем тильбюри и поедет вслед за нею. Звук его голоса вывел Жюли из задумчивости, но она ничего не поняла. Она сделала то же, что сделала бы всякая другая женщина на ее месте: она улыбнулась. Потом она кивнула на прощание собравшимся на крыльце, и лошади помчались.

Но как раз в ту минуту, когда карета тронулась, она увидела, что Дарси вышел из гостиной. Он был бледен, лицо его было печально, а глаза, устремленные на нее, словно ждали только к нему обращенного знака приветствия. Она уехала, унося с собою сожаление, что не кивнула еще раз ему одному, и даже подумала, что это его заденет. Она уже позабыла, что он предоставил другому заботу проводить ее до кареты; теперь она во всем винила себя, она рассматривала свои промахи как тяжкое преступление. Чувства, которые она несколько лет тому назад (после вечера, когда она так фальшиво пела) испытывала к Дарси, были менее живы, чем те, которые она теперь увозила с собою. Годы обострили ее впечатлительность, в сердце у нее накипела злоба на мужа. Может быть, даже увлечение Шатофором (впрочем, в данную минуту совершенно позабытое) приготовило ее к тому, чтобы без особых угрызений совести отдаться более сильному чувству, которое вызвал у нее Дарси.

А у Дарси мысли были менее тревожные. Он с удовольствием встретил женщину, с которой у него были связаны счастливые воспоминания; знакомство с нею будет, по всей вероятности, очень приятно, и он будет его поддерживать в течение зимы, которую он собирался провести в Париже. Но как только она уехала, у него осталось лишь воспоминание о нескольких весело проведенных часах, воспоминание, сладость которого к тому же ослаблялась перспективой поздно лечь спать и необходимостью проехать четыре мили, чтобы добраться до постели. Предоставим его, охваченного такими прозаическими мыслями, собственной участи. Пусть он старательно кутается в свой плащ, устраивается поудобнее в углу наемной кареты, пусть мысли его переходят от салона г-жи Ламбер к Константинополю, от Константинополя к Корфу, от Корфа к полудремоте.

Любезный читатель! Если вы ничего не имеете против, последуем за г-жой де Шаверни.

Глава 11

Когда г-жа де Шаверни покинула замок г-жи Ламбер, ночь была ужасно темная, воздух тяжелый и удушливый, время от времени молнии озаряли окрестность, и черные силуэты деревьев вырисовывались на желто-буром фоне. После каждой вспышки молнии темнота усиливалась, и кучер не видел лошадиных голов. Вскоре разразилась бешеная гроза.

Дождь, который падал сначала редкими крупными каплями, внезапно превратился в страшнейший ливень. Небо запылало со всех сторон, гром небесной артиллерии становился оглушительным. Лошади в испуге громко фыркали и поднимались на дыбы, вместо того чтобы идти вперед. Но кучер превосходно пообедал; его толстый каррик, а еще больше хорошая выпивка изгнали из него всякий страх перед непогодой и плохой дорогой. Он хлестал бедных животных, в неустрашимости не уступая Цезарю, когда тот в бурю говорил своему кормчему: «Ты везешь Цезаря и его счастье».

Госпожа де Шаверни грома не боялась, и гроза почти не занимала ее. Она вспоминала все, что говорил ей Дарси, и раскаивалась, что не высказала ему того, что могла бы сказать, как вдруг размышления ее были прерваны сильным толчком, от которого качнулась карета. В то же мгновение стекла разлетелись вдребезги, раздался зловещий треск, и карета опрокинулась в канаву. Жюли отделалась испугом. Но

дождь не переставал, колесо было сломано, фонари потухли, а вокруг не было видно никакого жилья, где бы можно было найти убежище. Кучер чертыхался, лакей ругал кучера, проклиная его за неловкость. Жюли, оставаясь в карете, спрашивала, нельзя ли вернуться в П. и вообще что теперь им делать. Но на все вопросы она получала один безнадежный ответ:

– Никак невозможно.

Между тем издали донесся глухой шум приближающегося экипажа. Вскоре кучер г-жи де Шаверни, к большому своему удовольствию, узнал одного из своих приятелей, с которым он только что заложил фундамент нежной дружбы в людской г-жи Ламбер. Он крикнул, чтобы тот придержал лошадей.

Экипаж остановился. Едва было произнесено имя г-жи де Шаверни, как какой-то молодой человек сам открыл дверцы кареты и, воскликнув: «Она не разбилась?» – одним прыжком очутился у кареты Жюли. Она узнала Дарси, она его ожидала.

Руки их в темноте встретились, и Дарси почудилось, что г-жа де Шаверни пожала ему руку, но, вероятно, это было от страха. После первых вопросов Дарси, разумеется, предложил свой экипаж. Жюли не ответила: она не знала, какое решение принять. С одной стороны, если ехать в Париж, то ей предстоит сделать три или четыре мили вдвоем с молодым человеком, и это ее смущало; с другой стороны, если возвращаться в замок и просить гостеприимства у г-жи Ламбер,

придется рассказать романтическое приключение с опрокинутой каретой и Дарси, явившимся ей на помощь; при мысли об этом ее бросало в дрожь. Снова появиться в гостиной в разгар виста в качестве спасенной Дарси, как та турчанка, и подвергнуться после этого оскорбительным расспросам или выслушивать выражения соболезнования – нет, об этом нечего было и думать. Но три длинные мили до Парижа!.. Покуда она колебалась, не зная, на что решиться, и бормотала неловко банальные фразы о беспокойстве, которое она причинит, Дарси будто прочел ее мысли и сказал холодно:

– Возьмите мой экипаж, сударыня. Я останусь при вашей карете и подожду, пока меня подвезут до Парижа.

Жюли из боязни показаться чрезмерно щепетильной поспешила принять не второе, а первое предложение. И так как решение ее было слишком внезапным, то не осталось времени обсудить важный вопрос, куда же они поедут: в П. или в Париж. Она уже сидела в карете Дарси, закутанная в его плащ, который он сейчас же ей предложил, и лошади легкой рысцой неслись к Парижу, прежде чем ей пришлось в голову сказать, куда она хочет ехать. Решил за нее ее слуга, давший кучеру городской адрес своей госпожи.

В начале разговора оба стеснялись. Дарси говорил отрывисто, словно он был немного раздражен. Жюли вообразила, что его обидело ее колебание и что он принимает ее за смешную недотрогу. Она уже до такой степени была под властью этого человека, что внутренне себя упрекала и думала толь-

ко о том, как бы рассеять его, видимо, дурное настроение, в котором она винила себя. Платье Дарси вымокло; она заметила это, сейчас же сняла плащ и потребовала, чтобы он им накрылся. Возникла борьба великодушия, в результате чего вопрос был решен так, чтобы на каждого пришлось по половине плаща. Это было ужасно неблагоприятно, и она никогда бы на это не пошла, не будь минуты колебания, о которой ей теперь хотелось забыть.

Они были так близко один от другого, что щека Жюли могла чувствовать жаркое дыхание Дарси. Толчки экипажа порою сближали их еще больше.

– Этот плащ, которым мы оба накрываемся, – сказал Дарси, – напоминает мне наши давнишние шарады. Помните, как вы изображали мою Виргинию и мы оба закутались в пелерину вашей бабушки?

– Да. А еще я помню нагоняй, который я от нее за это получила.

– Счастливое было время! – воскликнул Дарси. – Сколько раз я с грустью и блаженством думал о божественных вечерах на улице Бельшас! Помните, какие великолепные крылья коршуна привязали вам к плечам розовыми ленточками и клюв из золотой бумаги, который я для вас так искусно смастерил?

– Да, – ответила Жюли, – вы были Прометеем, а я – коршуном. Но какая хорошая у вас память! Как вы не забыли всего этого вздора? Ведь мы так давно не видались!

– Вы хотите, чтобы я сказал вам комплимент? – спросил Дарси, улыбаясь, и нагнулся, чтобы посмотреть ей в лицо. Потом продолжал более серьезным тоном: – По правде сказать, нет ничего необыкновенного в том, что я сохранил в памяти счастливейшие часы моей жизни.

– У вас был талант к шарадам! – прервала его Жюли, боясь, что разговор примет слишком чувствительный характер.

– Хотите, я дам вам еще одно доказательство, что память у меня неплохая? Помните о союзе, который мы с вами заключили у госпожи Ламбер? Мы обещали друг другу злословить обо всех на свете и поддерживать один другого против всех и вся... Но договор наш разделил общую судьбу всех договоров: он остался невыполненным.

– Как знать!

– Увы, не думаю, чтобы вам часто представлялся случай защищать меня. Раз я уехал из Парижа, какой праздный человек мог мною заниматься?..

– Защищать вас – нет... Но говорить о вас с вашими друзьями...

– О, мои друзья! – воскликнул Дарси с печальной усмешкой. – У меня их почти что не было, по крайней мере в ту пору, когда мы были с вами знакомы. Молодые люди, посещавшие вашу матушку, меня почему-то ненавидели, что же касается женщин, то они не много думали о каком-то атташе министерства иностранных дел.

– Потому что вы не обращали на них внимания.

– Это верно. Я никогда не умел любезничать с особами, которых не любил.

Если бы в темноте можно было различить черты Жюли, Дарси увидел бы, как краска разлилась по ее лицу при последней его фразе, которой она придала смысл, о каком Дарси, быть может, и не помышлял.

Как бы там ни было, оставляя в стороне воспоминания, слишком живые у обоих, Жюли хотела навести его на разговор о путешествиях, надеясь, что таким образом ей не нужно будет говорить. Прием этот почти всегда удается с путешественниками, особенно с теми, что побывали в дальних странах.

– Какое прекрасное путешествие вы совершили! – проговорила она. – Как я жалею, что мне никогда не удастся совершить такое путешествие!

Но сейчас Дарси не очень хотелось рассказывать.

– Кто этот молодой человек с усами, который разговаривал с вами перед самым вашим отъездом? – неожиданно спросил он.

На этот раз Жюли покраснела еще сильнее.

– Друг моего мужа, его сослуживец по полку, – ответила она. – Говорят, – продолжала она, не желая отказываться от восточной темы, – говорят, что люди, раз видевшие лазурный небосвод Востока, не могут жить в других местах.

– Он мне ужасно не понравился, не знаю почему... Я говорю о друге вашего мужа, а не о лазурном небосводе. Что

касается этого лазурного неба, сударыня, – да сохранит вас бог от него! Оно всегда одинаково и в конце концов так вам надоедает, что вы готовы восхищаться грязным парижским туманом как прекраснейшим зрелищем на свете. Поверьте, ничто так не раздражает нервы, как это лазурное, безоблачное небо, которое было синим вчера и завтра тоже будет синим. Если бы вы знали, с каким нетерпением, с каким каждый раз повторяющимся разочарованием ждут облачка, надеются на него!

– А между тем вы довольно долго оставались под этим лазурным небом.

– Но мне было трудно поступить иначе. Если бы я мог следовать только своим склонностям, я бы очень скоро очутился по соседству с улицей Бельшас, удовлетворив легкое любопытство, которое, весьма естественно, возбуждают странные особенности Востока.

– Наверно, многие путешественники рассуждали бы так же, если бы они были так же откровенны, как вы... А как проводят время в Константинополе и других восточных городах?

– Там, как и везде, существуют различные способы убивать время. Англичане пьют, французы играют, немцы курят, а некоторые остроумные люди, чтобы разнообразить свои удовольствия, делают себя мишенью для ружейных выстрелов, забираясь на крыши, чтобы смотреть в бинокль на местных женщин.

– Вероятно, последнее развлечение предпочитали и вы?

– Нисколько. Я изучал турецкий и греческий языки, что вызывало всеобщие насмешки. Покончив с посольскими депешами, я рисовал, скакал в Долину пресной воды, а затем отправлялся на берег моря и смотрел, не придет ли какая-нибудь живая душа из Франции или откуда-нибудь еще.

– Должно быть, вам доставляло большое удовольствие встречаться с французами на таком большом расстоянии от Франции?

– Да. Но наряду с немногими интеллигентными людьми сколько к нам приезжало торговцев скобяным товаром и кашемиром или, еще хуже, молодых поэтов! Завидев издали кого-нибудь из посольства, они уже кричали: «Сведите меня к развалинам, к Святой Софии, в горы, к лазурному морю! Покажите мне места, где вздыхала Геро!» Затем, получив хороший солнечный удар, они запирались в своей комнате и не хотели уже ничего видеть, кроме последних номеров *«Конститусьонеля»*.

– Вы по старой вашей привычке все видите в дурном свете. Знаете, вы неисправимы, все такой же насмешник!

– Но разве не позволительно осужденному грешнику, которого поджаривают на сковородке, развлечь себя немного за счет своих товарищей по несчастью? Честное слово, вы не представляете себе, какую жалкую жизнь мы там влачим. Секретари посольства похожи на ласточек, которые никогда не садятся... Для нас не существует близких отношений, со-

ставляющих счастье жизни... как мне кажется (последние слова он произнес как-то странно и пододвинулся к Жюли). В течение шести лет я не встретил ни одного человека, с кем мог бы поделиться своими мыслями.

– Значит, друзей у вас там не было?

– Я только что сказал вам, что их невозможно иметь в чужой стране. Во Франции я оставил двоих. Один из них умер, другой теперь в Америке и вернется оттуда только через несколько лет, если его не задержит желтая лихорадка.

– Так что вы одиноки?

– Одинок.

– А каково на Востоке... женское общество? Оно не могло хоть немного облегчить ваше положение?

– О, женщины там хуже всего остального! О турчанках нечего и думать; что же касается гречанок или армянок, то самое большее, что можно сказать в их похвалу, – это то, что они очень красивы. Избавьте меня от описания консульских и посольских жен. Это вопрос дипломатический, и, скажи я то, что думаю, это могло бы мне повредить в министерстве иностранных дел.

– Вы, по-видимому, не очень любите вашу службу. А когда-то вы так страстно хотели стать дипломатом!

– Я тогда еще не знал этого дела. Теперь я хотел бы быть в Париже инспектором парижской грязи.

– Господи, как можно так говорить? Париж – самое несносное место в мире!

– Не кощунствуйте. Хотел бы я послушать, как вы стали бы проклинать Неаполь, пробыв два года в Италии!

– Видеть Неаполь – заветная мечта моей жизни, – ответила она со вздохом, – только чтобы мои друзья были вместе со мною.

– Ах, при этом условии и я бы пустился в кругосветное плавание! Путешествовать с друзьями! Это все равно что оставаться у себя в гостиной, между тем как все страны проплывают мимо ваших окон, словно движущаяся панорама.

– Ну, хорошо, если это требование чрезмерно, я хотела бы путешествовать всего с одним... с двумя друзьями.

– Я не так требователен. Мне довольно было бы одного или одной, – прибавил он со вздохом. – Но такого счастья мне не выпало на долю... По правде сказать, мне всегда не везло. Всю свою жизнь я горячо желал только двух вещей и ни одной из них не мог достигнуть.

– Каких же?

– Да самых обыкновенных! Например, я страстно желал кое с кем танцевать вальс. Я тщательно изучал этот танец. Месяцами упражнялся один со стулом, чтобы преодолеть головокружение, которое неминуемо наступало. Когда же наконец я добился того, что голова у меня перестала кружиться...

– А с кем вы хотели танцевать?

– Ну, а если я вам скажу, что с вами?.. Когда же я ценной усилий сделался образцовым танцором, ваша бабушка

переменила духовника, взяла старого янсениста и запретила вальс... У меня до сих пор еще это лежит на сердце.

– А второе ваше желание? – спросила Жюли в сильном волнении.

– Признаюсь вам и во втором моем желании. Я хотел (это было очень тщеславно с моей стороны), хотел, чтобы меня любили... Но как любили!.. Желание это было еще более сильным, и оно предшествовало желанию вальсировать с вами – я рассказываю не в хронологическом порядке... Я бы хотел, повторяю, чтобы меня любила такая женщина, которая предпочла бы меня балу – самому опасному из соперников; такая женщина, к которой я мог бы прийти в сапогах, забрызганных грязью, в ту минуту, когда она собирается сесть в карету и ехать на бал. Она в бальном платье и говорит мне: «Останемся дома». Но это, конечно, бред! Не следует требовать невозможного.

– Какой вы злой! Всегда иронические изречения! Вы ко всем беспощадны и всегда говорите дурно о женщинах.

– Я? Боже упаси! Я скорее издеваюсь над самим собою. Разве это значит дурно говорить о женщинах, когда утверждаешь, что приятный вечер в обществе они предпочтут свиданию со мной наедине?

– Бал!.. Платье!.. Боже! Кто теперь увлекается балами?..

Она не думала защищать весь свой пол; ей казалось, что она отвечает на мысли Дарси, но бедняжка отвечала только собственному своему сердцу.

– Кстати, о балах и туалетах. Жалко, что теперь не карнавал: я привез с собой греческий женский костюм, очаровательный! Он бы чудно к вам подошел.

– Вы сделаете мне с него набросок в альбом.

– Охотно. Вы увидите, какие успехи я сделал с той поры, как рисовал человечков за чайным столом вашей матушки. Кстати, вас нужно поздравить. Сегодня утром в министерстве мне сказали, что господина де Шаверни скоро сделают камер-юнкером. Мне было приятно это слышать.

Жюли невольно вздрогнула.

Дарси, ничего не замечая, продолжал:

– Позвольте мне сразу же попросить вашего покровительства. Но в глубине души я не очень рад новому званию вашего мужа. Боюсь, что на лето вам придется переезжать в Сен-Клу, и тогда я реже буду иметь честь вас видеть.

– Ни за что я не поеду в Сен-Клу! – сказала Жюли взволнованно.

– Тем лучше. Ведь Париж – это рай. Покидать его можно лишь для того, чтобы изредка выезжать за город на обеды к госпоже Ламбер, и то с условием в тот же вечер вернуться домой. Как вы счастливы, что живете в Париже! Вы не можете себе представить, как счастлив я, приехавший сюда, быть может, очень ненадолго, в скромном помещении, которое предоставила мне тетушка. А вы, как мне сообщили, живете в предместье Сент-Оноре. Мне показали ваш особняк. У вас, должно быть, очаровательный сад, если строительная

лихорадка еще не превратила ваши аллеи в торговые помещения.

– Нет, слава богу, моего сада еще не трогали.

– По каким дням вы принимаете?

– Я почти всегда по вечерам дома. Я буду очень рада, если вы меня будете иногда навещать.

– Видите, я веду себя так, как будто старый наш союз еще в силе. Я сам к вам навязываюсь без церемоний и официальных визитов. Вы простите меня, не так ли? В Париже я только и знаю, что вас да госпожу Ламбер. Все меня забыли, но в моем изгнании я с сожалением вспоминал только о ваших двух домах. Особенно ваш салон должен быть очаровательным. Вы так хорошо выбираете друзей!.. Помните, вы строили планы на будущее, когда сделаетесь хозяйкой дома? Скучным людям доступ в ваш салон был бы закрыт, иногда музыка, всегда приятная беседа, продолжающаяся до позднего часа, маленький кружок лиц, которые отлично знают друг друга и потому не хотят ни лгать, ни рисоваться... Кроме того, две-три остроумные женщины (а ваши подруги, конечно, остроумны) – таков ваш дом, один из самых приятных в Париже. Да, вы счастливейшая женщина в Париже и делаете счастливыми всех, кто к вам приближается.

Пока Дарси это говорил, Жюли думала, что у нее могло бы быть это счастье, которое он так живо описывал, будь она замужем за другим человеком... скажем, за Дарси. Вместо воображаемого салона, такого элегантного и приятного, ей

представились скучные люди, которых навел к ней в дом Шаверни, вместо веселых разговоров – супружеские сцены вроде той, что заставила ее поехать в П. Словом, она считала себя навеки несчастной, связанной на всю жизнь с человеком, которого она ненавидела и презирала. А тот, кто казался ей лучше всех, кому она охотно доверила бы свое счастье и свою жизнь, навсегда останется для нее чужим. Ее долг – избегать его, отдаляться от него... А он был так близко от нее, что рукав ее платья касался отворота его фрака!

Дарси некоторое время продолжал описывать удовольствия парижской жизни с красноречием человека, который был долгое время лишен их. Меж тем Жюли чувствовала, как по ее щекам текут слезы. Она боялась, как бы Дарси этого не заметил, и от усилий, которые она делала, чтобы сдержать себя, волнение ее еще усиливалось. Она задыхалась, не смела пошевелиться. Наконец она всхлипнула, и все было потеряно. Она уронила голову на руки, задыхаясь от слез и стыда.

Дарси, никак этого не ожидавший, был крайне удивлен. На минуту он онемел от неожиданности, но рыдания усиливались, и он счел своим долгом заговорить и спросить о причине столь внезапных слез.

– Что с вами? Ради бога, ответьте!.. Что случилось?

И так как бедная Жюли в ответ на все эти вопросы только крепче прижимала платок к глазам, он взял ее за руку и мягким движением отвел ее.

– Умоляю вас, – произнес он дрогнувшим голосом, проникшим в самое сердце Жюли, – умоляю вас, скажите, что с вами? Может быть, я невольно оскорбил вас?.. Вы приводите меня в отчаяние своим молчанием.

– Ах, – воскликнула Жюли, не будучи более в состоянии сдерживаться, – как я несчастна! – И она зарыдала еще сильнее.

– Несчастны?.. Как?.. Почему?.. Кто может сделать вас несчастной? Ответьте мне!

При этих словах он сжимал ей руки, лицо его почти касалось лица Жюли, а та вместо ответа продолжала плакать. Дарси не знал, что и подумать, но был растроган ее слезами. Он как будто помолодел на шесть лет, и ему начало представляться, что в будущем, о котором он пока еще не задумывался, он может перейти от роли наперсника к другой, более завидной.

Она упорно не отвечала. И Дарси начал бояться, уж не сделалось ли ей дурно. Он открыл окно кареты, развязал ленты шляпки Жюли, отбросил плащ и шаль. Мужчины бывают неловки, когда оказывают подобные услуги. Он захотел остановить экипаж у какой-то деревни и крикнул уже кучеру, но Жюли, схватив его за руку, попросила не делать этого, уверяя, что ей гораздо лучше. Кучер ничего не слышал и продолжал гнать лошадей по направлению к Парижу.

– Умоляю вас, дорогая госпожа де Шаверни, – произнес Дарси, снова беря ее за руку, которую он на минуту выпу-

стиль, – умоляю вас, скажите, что с вами! Я боюсь... хотя не могу понять, как это могло случиться... что я имел несчастье причинить вам боль.

– Ах, это не вы! – воскликнула Жюли и слегка пожала ему руку.

– Ну так скажите, кто мог заставить вас так плакать? Скажите мне откровенно! Разве мы с вами не старые друзья? – прибавил он, улыбаясь, и, в свою очередь, пожимая руки Жюли.

– Вы говорили о счастье, которым, по вашему мнению, я окружена... а счастье это так от меня далеко!..

– Как? Разве вы не обладаете всем необходимым для счастья? Вы молоды, богаты, красивы... Ваш муж занимает видное положение в обществе...

– Я ненавижу его! – вскричала Жюли вне себя. – Я презираю его!

И она положила голову на плечо Дарси, зарыдав еще сильнее.

«Ого, – подумал Дарси, – дело становится серьезным!»

Искусно пользуясь каждым толчком кареты, он еще ближе придвинулся к несчастной Жюли.

– Зачем, – произнес он самым нежным и сладким голосом, – зачем так огорчаться? Неужели существо, презираемое вами, может оказывать такое влияние на вашу жизнь? Почему вы допускаете, чтобы он один отравлял все ваше счастье? И у него ли должны вы искать это счастье?..

Дарси поцеловал ей кончики пальцев, но так как она сейчас же в ужасе отдернула свою руку, он испугался, не слишком ли далеко зашел. Однако, решив довести приключение до конца, он сказал, довольно лицемерно вздыхая:

– Как я ошибся! Когда я узнал о вашей свадьбе, я подумал, что господин де Шаверни вам в самом деле нравится.

– Ах, господин Дарси, вы никогда меня не понимали!

Интонация ее голоса ясно говорила: «Я вас всегда любила, а вы не хотели обратить на меня внимание». Бедная женщина в эту минуту искреннейшим образом думала, что она неизменно любила Дарси в течение всех этих шести лет такой же любовью, какую она испытывала к нему в настоящий момент.

– А вы, – вскричал Дарси, оживляясь, – вы понимали меня? Угадывали ли вы когда-нибудь, каковы мои чувства? Ах, если бы вы знали меня лучше, мы, конечно, оба были бы теперь счастливы!

– Как я несчастна! – повторила Жюли, и слезы полились у нее с удвоенной силой.

– Но если бы даже вы меня поняли, – продолжал Дарси с привычным для него выражением грустной иронии, – что бы из этого вышло? У меня не было состояния, вы были богаты. Ваша мать с презрением отвергла бы меня. Я был заранее обречен на неудачу. Да вы сами, Жюли, вы сами, пока роковой опыт не указал вам, где находится истинное счастье, вы, конечно, только посмеялись бы над моей самонадеянностью,

ибо в то время лучшим средством понравиться вам была бы блестящая карета с графской короной на дверцах.

– Боже мой, и вы тоже! Никто, значит, не пожалеет меня!

– Простите меня, дорогая Жюли! Умоляю вас, простите меня! Забудьте эти упреки, я не имел права их делать. Я более виновен, чем вы... Я не сумел вас оценить. Я счел вас слабою, как слабы все женщины того общества, в котором вы жили, я усомнился в вашем мужестве, дорогая Жюли, и я так жестоко за это наказан!..

Он с жаром целовал ее руки, которых она уже не отнимала. Обхватив ее за талию, он хотел было прижать ее к своей груди, но Жюли оттолкнула его с выражением ужаса и отстранилась от него, насколько позволяла ширина кареты.

Тогда Дарси голосом, мягкость которого лишь подчеркивала горечь слов, произнес:

– Простите меня, сударыня, я забыл, что мы в Париже. Теперь я вспоминаю, что здесь умеют вступать в брак, но любить здесь не умеют.

– О, я люблю вас! – прошептала она, рыдая, и опустила голову на плечо Дарси.

Дарси восторженно заключил ее в свои объятия, стараясь поцелуями осушить ее слезы. Она еще раз попыталась освободиться, но попытка эта была ее последним усилием.

Глава 12

Дарси переоценил овладевшее им волнение. Нужно признаться: он не был влюблен. Он воспользовался счастливой случайностью, которая сама шла ему навстречу и заслуживала того, чтобы он ее не упустил. К тому же, как и все мужчины, он был более красноречив в просьбах, чем в выражениях благодарности. Тем не менее он был вежлив, а вежливость часто заменяет более почтенные чувства. Когда прошла минута опьянения, он принялся расточать Жюли нежные фразы, которые он составлял без особого труда, сопровождая их многочисленными поцелуями рук, что отчасти заменяло его слова. Он без сожаления видел, что карета добралась уже до заставы и что через несколько минут ему придется расстаться со своею добычей. Молчание г-жи де Шаверни во время уговоров, удрученное состояние, в котором она, по-видимому, находилась, делали затруднительным, даже, осмелюсь сказать, скучным положение человека, случайно ставшего ее любовником.

Она сидела неподвижно в углу кареты, машинально стягивая шаль на своей груди. Она не плакала, смотрела прямо перед собой, и когда Дарси, поцеловав ей руку, отпускал ее, рука падала, как мертвая, ей на колени. Она молчала, еле слыша, что ей говорят, но тысяча мучительных мыслей толпилась у нее в голове, и едва она хотела высказать одну, как

другая тотчас же смыкала ей губы.

Как передать хаос этих мыслей, или, лучше сказать, этих образов, сменявшихся с каждым биением ее сердца? Ей казалось, что в ушах ее звучат слова без связи и последовательности, но смысл всех этих слов был ужасен. Утром она винила мужа, он был низок в ее глазах; теперь она была во сто раз более презренной. Ей казалось, что позор ее известен всем. Теперь уже любовница герцога Г. оттолкнула бы ее. Г-жа Ламбер, никто из друзей не пожелают ее видеть. А Дарси? Любит ли он ее? Он ее почти совсем не знает. За время разлуки он позабыл ее. Не сразу ее узнал. Может быть, он нашел, что она очень изменилась. А теперь он был холоден с нею. Это окончательно ее убивало. Она увлеклась человеком, который почти совсем не знал ее, ничем не выразил своей любви!.. Был с ней только вежлив... Не может быть, чтобы он любил ее! А она сама – любила ли она его? Нет, ведь она вышла замуж, как только он уехал.

Когда карета въехала в Париж, на башне пробило час. В первый раз она увидела Дарси в четыре часа. Да, в первый раз... Она не могла сказать, что это была встреча после разлуки... Она забыла черты его лица, его голос; для нее он был чужим человеком... А через девять часов она сделалась его любовницей!.. Девяти часов было достаточно для этого странного наваждения... для того, чтобы она опозорила себя в собственных глазах, в глазах самого Дарси. Ибо что мог он подумать о такой слабой женщине? Как не презирать ее?

Временами мягкий голос Дарси, нежные слова, обращенные к ней, немного ее оживляли. Тогда она старалась поверить, что он действительно испытывает ту любовь, о которой говорит. Она сдалась не так легко. Любовь их длится долгие годы, с тех пор, как Дарси ее покинул. Дарси должен был знать, что она вышла замуж только из чувства досады, причиненной его отъездом. Вина ложилась на Дарси. Меж тем он во время долгого отсутствия не переставал ее любить. И, возвратившись, он был счастлив, что нашел ее такою же верной, как он сам. Откровенность ее признания, сама ее слабость должны были понравиться Дарси – ведь он не выносит притворства. Но абсурдность подобных рассуждений сейчас же становилась ей ясной. Утешительные мысли улетучивались, и она оставалась во власти стыда и отчаяния.

Была минута, когда она хотела разобраться в своих чувствах. Она представила себе, что свет ее изгнал, что родные от нее отреклись. После такого жестокого оскорбления, нанесенного мужу, гордость не позволит ей вернуться к нему. «Дарси меня любит, – думала она. – Я не могу никого любить, кроме него. Без него для меня нет счастья. С ним я буду счастлива всюду. Мы уедем вместе куда-нибудь, где я не буду встречаться с людьми, которые заставили бы меня краснеть. Пусть он увезет меня с собой в Константинополь...»

Дарси не догадывался, что делается в сердце Жюли. Он заметил, что они въезжают в улицу, где жила г-жа де Шаверни, и стал весьма хладнокровно натягивать лайковые перчатки.

– Кстати, – сказал он, – мне следует официально быть представленным господину де Шаверни... Я думаю, что мы скоро подружимся. Если меня представит госпожа Ламбер, я буду на хорошем счету в вашем доме... А пока что, раз он находится за городом, я могу вас посещать.

Слова замерли на устах Жюли. Каждое слово Дарси было для нее как острый нож. Как заговорить о бегстве, о похищении с этим человеком, таким спокойным, таким холодным, который думает только о том, как бы удобнее устроить эту любовную связь на летнее время? Она с яростью разорвала золотую цепочку, висевшую у нее на груди, и комкала в руках обрывки. Экипаж остановился у подъезда дома, где она жила. Дарси предупредительно укутал ее плечи шалью, поправил на ней шляпу... Когда дверца открылась, он почти-точно подал ей руку. Но Жюли выскочила на тротуар, не приняв от него помощи.

– Я прошу у вас позволения, сударыня, – сказал он с глубоким поклоном, – навестить вас и справиться о вашем здоровье.

– Прощайте! – сказала Жюли сдавленным голосом.

Дарси сел в карету и велел везти себя домой, насвистывая с видом человека, очень довольного проведенным днем.

Глава 13

Как только он очутился в своей холостой квартире, он надел турецкий халат, туфли и, набив латакийским табаком длинную трубку с янтарным мундштуком и чубуком из боснийского боярышника, принялся курить с наслаждением, развалясь в большом мягком кресле, обитом сафьяном. Людям, которые удивились бы, застав его за таким вульгарным занятием, тогда как ему следовало бы предаваться более поэтическим мечтам, можно ответить, что для мечтательности добрая трубка если не необходима, то во всяком случае полезна и что вернейшее средство с блаженством вкушать наслаждение состоит в совмещении его с другим наслаждением. Один из моих друзей, человек очень чувственный, никогда не распечатывал письма от своей любовницы раньше, чем не снимет галстука, не затопит камина (если дело происходило зимою) и не ляжет на удобный диван.

«Действительно, – подумал Дарси, – я был бы очень глуп, если бы последовал совету Тиррела и купил греческую невольницу, с тем чтобы везти ее в Париж. Черта с два! Это было бы то же, что возить винные ягоды в Дамаск, как говаривал друг мой Халеб-эфенди. Слава богу, цивилизация за мое отсутствие далеко шагнула вперед, и, по-видимому, строгость нравов не доведена до крайности... Бедняга Шаверни!.. Ха-ха! А ведь если бы несколько лет тому назад я

был достаточно богат, я бы женился на Жюли и, может быть, сегодня вечером отвозил бы ее домой именно Шаверни. Если я когда-нибудь женюсь, я буду часто осматривать экипаж своей жены, чтобы она не нуждалась в странствующих рыцарях, которые ее вытаскивали бы из канавы... Ну что ж, подведем итог. В конце концов она очень красивая женщина, неглупа, и, будь я помоложе, я, пожалуй, мог бы приписать все случившееся моим исключительным достоинствам! Да, мои исключительные достоинства! Увы, увы, через месяц, может быть, мои достоинства будут на уровне достоинств этого господина с усиками... Черт! Хотелось бы мне, чтобы малютка Настасья, которую я так любил, умела читать, писать и вести разговор с порядочными людьми... Кажется, это единственная женщина, которая меня любила... Бедное дитя!...»

Трубка его погасла, и он скоро заснул.

Глава 14

Войдя в свои комнаты, г-жа де Шаверни сделала над собою невероятное усилие, чтобы обычным тоном сказать горничной, что ей не нужно ничьих услуг и что она хочет остаться одна. Как только девушка вышла, она бросилась на постель (ибо для выражения горя удобная позиция столь же необходима, как и для выражения радости) и теперь в одиночестве разразилась слезами, еще более горькими, чем в присутствии Дарси, когда ей нужно было сдерживаться.

Без сомнения, ночь оказывает очень сильное влияние на наши душевные горести, как и на физические страдания. Она всему придает зловещую окраску, и образы, которые днем были бы безразличными или даже радостными, ночью нас беспокоят и мучат, как призраки, появляющиеся только во мраке. Кажется, что ночью мысль усиленно работает, но рассудок теряет свою власть. Какая-то внутренняя фантазмагория смущает нас и ужасает, и у нас нет сил ни отвратить причину наших страхов, ни хладнокровно исследовать их основательность.

Представьте себе бедную Жюли простертой на постели, полуодетой: она мечется, то пожираемая жгучим жаром, то холодея от пронизывающей дрожи, вздрагивает при каждом треске мебели и отчетливо слышит биение своего сердца. От всего происшедшего у нее сохранилась только смутная тос-

ка, причины которой она тщетно доискивалась. Потом вдруг воспоминание об этом роковом вечере проносилось у нее в голове с быстротою молнии, и вместе с ним пробуждалась острая, нестерпимая боль, словно ее затянувшейся раны коснулись каленым железом.

То она смотрела на лампу, с тупым вниманием наблюдая за каждым колебанием огонька, пока слезы, навертывавшиеся неизвестно почему на глаза, не застилали зрения.

«Почему я плачу? – думала она. – Ах да, я опозорена!»

То она считала кисти на пологие и все не могла запомнить, сколько их. «Что за бред! – думала она. – Бред! Да, потому что час тому назад я отдалась, как жалкая куртизанка, человеку, которого не знаю».

Потом бессмысленным взором она следила за стрелкою стенных часов, как осужденный, наблюдающий приближение часа своей казни. Вдруг часы пробили.

– Три часа тому назад, – сказала она, внезапно вздрогнув, – я была в его объятиях, и я опозорена!

Всю ночь она провела в таком лихорадочном беспокойстве. Когда рассвело, она открыла окно, и утренний воздух, свежий и колючий, принес ей некоторое облегчение. Опершись на подоконник окна, выходящего в сад, она жадно, с каким-то вожделением вдыхала полной грудью холодный воздух. Беспорядок в мыслях мало-помалу рассеялся. На смену неопределенным мучениям, обуревавшему ее бреду пришло сосредоточенное отчаяние – это был уже некоторый

отдых.

Нужно было принять какое-нибудь решение. Она стала придумывать, что ей делать. Она ни минуты не останавливалась на мысли снова увидеться с Дарси. Ей казалось это невозможным: она бы умерла от стыда, увидя его. Она должна покинуть Париж: здесь через два дня все будут на нее показывать пальцами. Мать ее находилась в Ницце. Она поедет к ней, во всем ей признается: потом, выплакав свое горе на ее груди, она поищет в Италии уединенное место, неизвестное путешественникам, будет там одиноко жить и скоро умрет.

Придя к такому решению, она почувствовала себя спокойнее. Она села за столик у окна, закрыла лицо руками и заплакала, но на этот раз уже не слезами отчаяния. Усталость и изнеможение дали себя знать, и она заснула, или, вернее, забылась почти на час. Она проснулась от лихорадочного озноба. Погода переменилась, небо посерело, и мелкий, пронизывающий дождик предвещал сырую и холодную погоду на весь остаток дня. Жюли позвонила горничной.

– Матушка заболела, – сказала она, – я должна сейчас же ехать в Ниццу. Уложите чемоданы: я хочу выехать через час.

– Сударыня, что с вами? Вы не больны? Вы не ложились? – воскликнула горничная, удивленная и встревоженная изменившимся лицом своей госпожи.

– Я хочу ехать, – нетерпеливо сказала Жюли, – мне необходимо ехать. Уложите чемоданы.

При современной нашей цивилизации недостаточно про-

сто акта воли для передвижения с одного места на другое. Нужно достать дорожный паспорт, упаковать вещи, уложить шляпы в картонки, проделать сотню скучных приготовлений, из-за которых потеряешь всякое желание путешествовать. Но нетерпение Жюли значительно сократило эти необходимые промедления. Она ходила взад и вперед, из комнаты в комнату, сама помогала укладывать чемоданы, засовывая как попало чепчики и платья, привыкшие к более осторожному обращению. Но ее хлопоты скорее замедляли, чем ускоряли работу слуг.

– Сударыня! Вы, конечно, предупредили господина де Шаверни? – робко спросила горничная.

Жюли, не отвечая, взяла лист бумаги и написала: «Ма-тушка заболела. Я еду к ней в Ниццу». Она сложила листок вчетверо, но не могла решиться написать адрес.

Во время этих приготовлений к отъезду слуга доложил:

– Господин де Шатофор спрашивает, можно ли вас видеть. Пришел еще другой господин. Я его не знаю. Вот его карточка.

Она прочла: «Э. Дарси, секретарь посольства».

Она едва не вскрикнула.

– Я никого не принимаю. Скажите, что я нездорова. Не говорите, что я уезжаю.

Она никак не могла себе объяснить, каким образом Дарси и Шатофор пришли к ней в одно время, и в замешательстве подумала, что Дарси уже выбрал Шатофора себе в на-

персники. А между тем их одновременный визит объяснялся очень просто. Побудительная причина визита была одна и та же; они встретились, обменявшись ледяным поклоном и мысленно от всего сердца послав друг друга ко всем чертям.

Выслушав ответ лакея, они вместе сошли с лестницы, раскланялись еще холоднее и разошлись в разные стороны.

Шатофор заметил особое внимание, выказанное г-жой де Шаверни по отношению к Дарси, и с той минуты возненавидел его. В свою очередь, Дарси, мнивший себя физиономистом, видя смущение и досаду Шатофора, заключил, что тот влюблен в Жюли. А так как в качестве дипломата он склонен был заранее предполагать худшее, то весьма легко пришел к выводу, что Жюли не проявляет жестокости к Шатофору.

«Эта удивительная кокетка, – подумал он, выходя из ее дома, – не пожелала принять нас вместе во избежание объяснений, как в *Мизантропе*... Но глупо, что я не нашел какого-нибудь предлога остаться и подождать, пока уйдет этот усатый фат. Очевидно, меня бы приняли, как только за ним закрылась бы дверь – ведь у меня перед ним есть неоспоримое преимущество новизны».

Размышляя таким образом, он остановился, а потом пошел обратно к особняку г-жи де Шаверни. Шатофор, который тоже несколько раз оборачивался, следя за тем, что делает его соперник, тоже вернулся и занял на некотором расстоянии наблюдательный пункт.

Дарси сказал лакею, удивленному его вторичным появлени-

нием, что забыл оставить записку для его госпожи, что вопрос идет о спешном деле и о поручении от одной дамы к г-же де Шаверни. Вспомнив, что Жюли знает по-английски, он написал карандашом на своей карточке: *Begs leave to ask when he can show to madame de Chaverny his turkish album*⁵. Затем он передал карточку слуге и сказал, что подождет ответа.

Ответ этот долго заставил себя ждать. Наконец слуга вернулся в большом смущении.

– Госпоже де Шаверни внезапно сделалось дурно, – сказал он, – она чувствует себя так плохо, что ответа сейчас дать не может.

Все это продолжалось с четверть часа. Обмороку Дарси не поверил: было ясно, что принимать его не хотят. Он отнесся к этому философски. Вспомнив, что поблизости у него есть знакомые, которым следует нанести визит, он решил этим заняться и вышел, мало огорченный постигнутою им неудачей.

Шатофор дожидался его с бешеным нетерпением. Когда Дарси прошел мимо, он решил, что это его счастливый соперник, и дал себе слово ухватиться за первый же случай и отомстить изменнице и ее сообщнику. Очень кстати он встретил майора Перена; тот выслушал его излияния и утешил как мог, доказав, что его предположения маловероятны.

⁵ Почтительнейше спрашивает мадам де Шаверни, когда можно будет показать его турецкий альбом (англ.).

Глава 15

Жюли действительно лишилась чувств, получив вторично карточку Дарси. Обморок у нее сопровождался кровохарканьем, отчего она очень ослабела. Горничная послала за доктором, но Жюли наотрез отказалась принять его. К четырем часам почтовые лошади были поданы, чемоданы привязаны: все было готово к отъезду. Жюли села в карету; она ужасно кашляла, жалко было смотреть на нее. Весь вечер и всю ночь она говорила только с лакеем, сидевшим на козлах, и то только чтобы он поторопил кучеров. Она все время кашляла и, по-видимому, чувствовала сильную боль в груди, но не издала ни одного стога. Она была так слаба, что лишилась чувств, когда утром открыли дверцу кареты. Ее перенесли в плохонькую гостиницу и уложили в постель. Позвали сельского врача; тот нашел у нее сильнейшую горячку и запретил продолжать путешествие. Меж тем она хотела ехать дальше. К вечеру начался бред и появились все признаки ухудшения болезни. Она беспрерывно говорила, причем так быстро, что было очень трудно ее понять. В ее бессвязных фразах поминутно встречались имена Дарси, Шатофора и г-жи Ламбер. Горничная написала г-ну де Шаверни, чтобы оповестить его о болезни жены. Но Жюли находилась в сорока милях от Парижа, Шаверни охотился у герцога Г., а болезнь развивалась быстро, и было сомнительно, чтобы он поспел вовремя.

Между тем лакей верхом поскакал в ближайший город и привез доктора. Тот отменил предписания своего собрата и заявил, что его позвали слишком поздно и что недуг тяжелый.

Под утро бред прекратился, и Жюли заснула глубоким сном. Когда дня через два-три она пришла в себя, то, казалось, с трудом вспомнила, вследствие какого ряда событий она очутилась в грязном номере гостиницы. Однако память скоро к ней вернулась: она сказала, что чувствует себя лучше, и даже начала поговаривать о том, чтобы завтра тронуться в путь. Потом, положив руку на лоб, после продолжительного раздумья потребовала чернил и бумагу и захотела писать. Горничная видела, как она начинала несколько раз письмо, но все рвала начатые листки после первых же слов. При этом она приказывала жечь оставшиеся клочки бумаги. Горничная на нескольких обрывках успела прочесть слова: «Милостивый государь». Ей это, как она потом призналась, показалось странным, так как она думала, что ее госпожа пишет матери или мужу. На одном клочке она прочла: «Вы должны презирать меня...»

Почти в течение получаса Жюли тщетно пыталась написать это письмо, которое, по-видимому, ее очень беспокоило. Наконец силы ее истощились, и она не могла продолжать; она оттолкнула пюпитр, который поставили ей на постель, и, глядя на горничную блуждающим взглядом, сказала:

– Напишите сами господину Дарси.

– Что прикажете написать? – спросила горничная, уверенная, что снова начнется бред.

– Напишите, что он меня не знает... что я его не знаю...

И она в изнеможении упала на подушки. Это были ее последние связные слова. Снова начался бред и потом уже не прекращался. Она скончалась на следующий день без видимых страданий.

Глава 16

Шаверни приехал на четвертый день после ее похорон. Печаль его казалась неподдельной, и все жители села прослезились, видя, как он стоял на кладбище и созерцал свежевзрыхленную землю, покрывавшую гроб его жены. Он хотел было выкопать его и перевезти в Париж, но так как мэр этому воспротивился, а нотариус заговорил о разных формальностях, связанных с этим, то он ограничился тем, что заказал надгробную плиту из песчаника и отдал распоряжение соорудить простой, но благопристойный памятник.

Шатофор был очень взволнован этой внезапной смертью. Он отказался от многих приглашений на балы и в течение некоторого времени всюду показывался не иначе как в черном.

Глава 17

В обществе ходило много рассказов о смерти г-жи де Шаверни. По словам одних, она видела во сне, или у нее было предчувствие, что ее мать больна. Она была так поражена этим, что сейчас же поспешила в Ниццу, между тем она сильно простудилась на обратном пути от г-жи Ламбер, а затем простуда перешла в воспаление легких.

Другие, более проникательные, утверждали с таинственным видом, что г-жа де Шаверни, не будучи в состоянии бороться со своей любовью к г-ну де Шатофору, решила искать у матери сил противостоять этому чувству. Вследствие быстрого отъезда она простудилась, и у нее сделалось воспаление легких. На этом сходились все.

Дарси никогда о ней не говорил. Через три или четыре месяца после ее смерти он выгодно женился. Когда он сообщил о своей женитьбе г-же Ламбер, та сказала, поздравляя его:

– Действительно, супруга ваша очаровательна. Только моя бедная Жюли могла бы до такой степени подходить вам. Как жаль, что вы были слишком бедны, когда она выходила замуж!

Дарси улыбнулся своей иронической улыбкой, но ничего не сказал в ответ.

Эти две души, не понявшие одна другую, были, может быть, созданы друг для друга.

Коломба

*Pe far la to vendetta,
Sta sigur, vasta anche ella.*
Vocero⁶ из Ньюло

Глава 1

В первых числах октября 181* года полковник сэр Томас Невиль, ирландец, один из заслуженных офицеров английской армии, остановился в гостинице Бово в Марселе, на обратном пути из путешествия по Италии. Вечное восхищение энтузиастов-путешественников произвело реакцию, и, чтобы отличиться чем-нибудь, многие из нынешних туристов берут себе девизом горациевское *nil admirari*⁷. Единственная дочь полковника, мисс Лидия, принадлежала именно к этому разряду ничем не довольных путешественников. *Преображение* Рафаэля показалось ей посредственным произведением, Везувий во время извержения – немногим лучше, чем трубы бирмингемских фабрик. Вообще она обвиняла Италию в отсутствии местного колорита, в отсутствии характера. Пусть, кто может, объяснит мне смысл этих слов;

⁶ Все же можешь быть спокоен: Отомстить она сумеет. Причитание (корсик.).

⁷ Ничему не удивляться (*лат.*).

несколько лет тому назад я прекрасно понимал его, а теперь совсем не понимаю. Сначала мисс Лидия льстила себя надеждою увидеть по ту сторону Альп что-нибудь такое, чего до нее никто не видел и о чем она могла бы говорить с порядочными людьми. Но скоро, видя, что соотечественники везде предупредили ее, и отчаявшись встретить что-нибудь неизвестное, она бросилась на сторону оппозиции. В самом деле, неприятно говорить о чудесах Италии для того, чтобы вдруг услышать от кого-нибудь: «Вы, конечно, знаете такого-то Рафаэля в таком-то палаццо, там-то? Это прекраснейшая вещь во всей Италии». И, наверно, ее-то вы и забыли посмотреть. Так как видеть все было бы слишком долго, то проще бранить все с предвзятым намерением.

В гостинице Бово мисс Лидии пришлось испытать горькое разочарование. Она привезла с собой хорошенький эскиз пелазгических или циклопических ворот в Сеньи; она думала, что рисовальщики забыли эти ворота. И вдруг леди Френсис Фенвик, с которою она встретилась в Марселе, показывает ей свой альбом, и в этом альбоме, между сонетом и засушенным цветком, ворота в Сеньи, густо покрытые тердесьеном! Мисс Лидия отдала свои ворота горничной и потеряла всякое уважение к пелазгическим сооружениям.

Такое печальное настроение сообщилось и полковнику Невиллю, который со смерти своей жены смотрел на все не иначе как глазами мисс Лидии. Италия надоела его дочери: ясно, что это самая скучная страна в мире. Правда, он не мог

сказать ничего против картин и статуй, но зато мог заверить, что охота в этой стране самая жалкая и что из-за того, чтобы убить несколько штук несчастных красных куропаток, нужно сделать десять миль в самую жару по римской Кампанье.

На другой день после приезда в Марсель он пригласил обедать капитана Эллиса, своего бывшего адъютанта, который только что провел шесть недель на Корсике. Капитан прекрасно рассказал мисс Лидии историю о бандитах; достоинство ее состояло в том, что она нисколько не походила на истории о ворах, которых она наслушалась по дороге от Рима до Неаполя. За десертом, когда мужчины остались одни с бутылками бордо, они разговорились об охоте, и полковник узнал, что нигде нет такой прекрасной, такой разнообразной и такой богатой охоты, как на Корсике.

– Там множество диких кабанов, – говорил капитан Эллис, – нужно только научиться отличать их от домашних свиней, на которых они удивительно похожи, иначе будут неприятности с их пастухами. Они появляются из лесков, так называемых *маки*, вооруженные с ног до головы, заставляют платить за своих животных и насмеваются над вами. Есть там еще муфлоны, престранные животные, которых нет нигде в других местах, но охота за ними трудна; есть олени, лани, фазаны, куропатки; да и не перечтешь всех родов дичи, кишашей на Корсике. Если вы любите пострелять, поезжайте на Корсику, полковник: там, как говорил один из моих хозяев, вы найдете всевозможную дичь, начиная от дрозда и

кончая человеком.

За чаем капитан снова очаровал мисс Лидию рассказом о *косвенной вендетте*⁸, еще более оригинальным, чем предыдущий, и привел ее в окончательный восторг от Корсики, описав ей дикий вид страны, оригинальный характер ее жителей, их гостеприимство и первобытные нравы. Наконец он преподнес ей хорошенький маленький стилет, знаменитый не столько своею формой и медной оправой, сколько происхождением. Один прославленный бандит уступил его капитану Эллису, ручаясь за то, что он побывал в четырех человеческих телах. Мисс Лидия заткнула его за пояс, потом положила на свой ночной столик и, прежде чем заснуть, два раза вынула из ножен. А полковник видел во сне, как он убивал муфлона и как владелец заставлял его заплатить, на что полковник охотно согласился, ибо муфлон был прелюбопытное животное и походил на дикого кабана с оленьими рогами и фазаньим хвостом.

– Эллис рассказывает, что на Корсике прекрасная охота, – сказал полковник, завтракая вдвоем с дочерью, – если б это не было так далеко, недурно бы съездить туда недельки на две.

– В самом деле, – ответила мисс Лидия, – отчего бы нам не поехать на Корсику? Вы будете охотиться, а я рисовать; я буду в восторге, если в моем альбоме будет та пещера, о

⁸ Мечь, направленная на более или менее отдаленного родственника обидчика. (Прим. авт.)

которой рассказывал капитан Эллис и куда ребенком приходил учиться Бонапарте.

Может быть, в первый раз желание, выраженное полковником, получило одобрение его дочери. Радуюсь такому неожиданному обстоятельству, он, однако, догадался сделать несколько замечаний, чтобы еще пуще раззадорить мисс Лидию. Напрасно он говорил о дикости страны, о том, как трудно женщине путешествовать по ней: она ничего не боялась, она любила путешествовать верхом больше всего на свете, она считала для себя праздником спать под открытым небом, она грозила отправиться в Малую Азию. Словом, у нее был готов ответ на все. Ни одна англичанка не была на Корсике; значит, ей нужно съездить туда. И какое счастье будет, возвратившись на Сент-Джемс-Плейс, показывать свой альбом! «Отчего же, милая, вы пропускаете этот прекрасный рисунок?» – «О, это пустяки! Это эскиз, который я сделала с одного известного корсиканского бандита, служившего нам проводником». – «Как! Вы были на Корсике?»

Так как тогда между Францией и Корсикой еще не ходили пароходы, то пришлось узнавать, не отправляется ли какое-нибудь судно на остров, который имела намерение открыть мисс Лидия. В тот же день полковник написал в Париж, отменяя распоряжение о заказанном им там помещении, и сторговался с хозяином корсиканского галиота, отправлявшегося в Аяччо. На галиоте были две приличные каюты. Погрузили провизию; хозяин клялся, что один из его

матросов – замечательный повар и не имеет себе равного в умении варить *бульябес*; он обещал, что барышне будет удобно, что она будет наслаждаться прекрасной погодой и прекрасным морем. Кроме того, по желанию дочери полковник поставил условием, что капитан не возьмет ни одного пассажира и направит галиот вдоль берегов острова так, чтобы можно было любоваться видом гор.

Глава 2

В назначенный для отъезда день все было уложено и отвезено на судно с утра; галиот отправлялся с вечерним попутным ветром. В ожидании отъезда полковник гулял с дочерью по Канебьер⁹. К нему подошел хозяин галиота и стал просить позволения взять с собой одного из своих родственников, то есть троюродного брата крестного отца его старшего сына, который возвращался на родину, на Корсику, по не терпящим отлагательства делам и не мог найти судна, чтобы доехать туда.

– Прекрасный малый, – прибавил капитан Маттеи, – военный, офицер гвардейских егерей; был бы уже полковником, если б *тот* еще был императором.

– Так как он военный... – сказал полковник. Он хотел прибавить: «Я охотно соглашаюсь, чтобы он ехал с нами». Но мисс Лидия перебила его по-английски:

– Пехотный офицер! (Ее отец служил в кавалерии, и она питала презрение ко всем другим родам оружия.) Может быть, невоспитанный человек; у него будет морская болезнь; он испортит нам все удовольствие поездки!

Хозяин судна не знал ни слова по-английски, но, кажется, понял то, что говорила мисс Лидия, по гримаске ее хорошеньких губок. Он произнес похвалу в трех частях свое-

⁹ Улица в Марселе.

му родственнику, закончив ее уверением, что родственник – человек вполне порядочный, из семьи *капралов*, который нисколько не стеснит г-на полковника, потому что он, хозяин, берется поместить его в такой угол, где никто не заметит его присутствия.

Полковник и мисс Лидия нашли странным, что на Корсике есть семьи, в которых звание капрала переходит от отца к сыну, но так как они слепо верили, что дело идет о пехотном капрале, то и заключили, что это какой-нибудь бедняк, которого хозяин хочет взять с собою из милости. Если бы это был офицер, то пришлось бы разговаривать с ним, проводить с ним время; но с каким-нибудь капралом можно и не стесняться; без своего взвода с примкнутыми штыками, готового вести вас туда, куда вы вовсе не хотите идти, капрал не важная особа.

– Не страдает ли ваш родственник морской болезнью? – сухо спросила мисс Невиль.

– Что вы, мадемуазель! Сердце у него твердое, как скала, и на море и на суше.

– Хорошо, можете его взять, – сказала она.

– Можете его взять, – повторил полковник.

Они продолжали прогулку.

В пять часов вечера капитан Маттеи пришел звать их на галиот. На пристани, возле шлюпки капитана, стоял высокий молодой человек в наглухо застегнутом синем сюртуке, смуглый, с черными, живыми, красивыми глазами, с откры-

тым и умным выражением лица. По осанке, по небольшим закрученным усам легко можно было узнать военного: в то время усачи не бегали по улицам и национальная гвардия еще не ввела во все семьи военной выправки вместе с привычками гвардейского корпуса.

Молодой человек, увидя полковника, снял фуражку и без замешательства и в учтивых выражениях поблагодарил его за сделанное ему одолжение.

– Очень рад быть вам полезным, мой друг, – сказал полковник, дружески кивая ему головой и входя в шлюпку.

– Ваш англичанин не церемонится, – сказал хозяину молодой человек очень тихо по-итальянски.

Хозяин приставил указательный палец пониже левого глаза и опустил углы рта. Понимающему язык знаков нетрудно было догадаться, что англичанин понимает по-итальянски и что он чужак. Молодой человек, слегка улыбнувшись в ответ на знак Маттеи, дотронулся до своего лба, как будто хотел сказать, что все англичане – люди немножко с придурью; потом он сел около хозяина и начал внимательно, но не назойливо рассматривать свою хорошенькую спутницу.

– У этих французских солдат славная осанка, – сказал полковник дочери по-английски, – оттого-то из них и легко делаются офицеры.

Потом он обратился по-французски к молодому человеку: – Скажите, любезный, в каком вы полку служили? Молодой человек легонько толкнул локтем отца крестно-

го сына своего троюродного брата и, сдерживая легкую улыбку, ответил, что прежде он служил в пеших гвардейских егерях, а теперь вышел из 7-го легкого полка.

– Были под Ватерлоо? Вы еще так молоды!

– Это моя единственная кампания, полковник.

– Она стоит двух, – сказал полковник.

Молодой человек прикусил губу.

– Папа, – сказала по-английски мисс Лидия, – спросите его, очень ли любят корсиканцы своего Бонапарте?

Прежде чем полковник мог успеть перевести вопрос на французский язык, молодой человек ответил по-английски довольно хорошо, но с заметным акцентом:

– Вы знаете, мадемуазель, что нет пророка в своем отечестве. Мы, земляки Наполеона, любим его, может быть, меньше, чем французы. Что касается до меня, то, несмотря на то что наш род когда-то враждовал с его родом, я люблю его и удивляюсь ему.

– Вы говорите по-английски? – воскликнул полковник.

– Как видите, очень дурно.

Несмотря на то что его развязный тон немного задел мисс Лидию, она не могла не усмехнуться при мысли о личной вражде между капралом и императором. Это было как бы предвкушением корсиканских странностей, и она обещала себе занести эту черту в свой дневник.

– Вы, может быть, были в плену в Англии?

– Нет, полковник. Я выучился по-английски во Франции

от одного пленного вашей нации.

Потом он сказал, обращаясь к мисс Лидии:

– Маттеи говорил мне, что вы приехали из Италии. Вы, без сомнения, говорите на чистом тосканском диалекте, но, я думаю, вы затруднитесь понимать наш говор.

– Моя дочь понимает все итальянские наречия, – ответил полковник, – у нее дар к языкам. Не то что я.

– Мадемуазель, поймете ли вы, например, эти стихи из одной нашей корсиканской песни? Пастух говорит пастушке:

S'entpassi 'ndru paradisu santu, santu,
E non trovassi a tia, mi n'esciria¹⁰.

Мисс Лидия поняла и, найдя цитату дерзкою, а еще более – сопровождающий ее взгляд, покраснела и ответила:

– *Capisco*¹¹.

– А вы едете домой в шестимесячный отпуск? – спросил полковник.

– Нет, полковник. Меня отставили с половинным жалованием за то, должно быть, что я был под Ватерлоо и что я земляк Наполеона. Я возвращаюсь домой без надежд, без денег, как говорит песня.

¹⁰ Если я войду в святой, святой рай и не найду там тебя, я уйду оттуда (Serenata di Zicavo). (Серенада <пастуха> из Дзикаво.) (Прим. авт.)

¹¹ Понимаю (ит.).

И он вздохнул, взглянув на небо.

Полковник опустил руку в карман и, вертя пальцами золотую монету, придумывал фразу, с которой можно было бы повежливее всунуть эту монету в руку своего врага в несчастьи.

– И я тоже, – добродушно сказал он, – сижу на половинном жалованье; но... с вашим половинным жалованьем не на что купить табаку. Возьми, капрал.

И он попробовал вложить монету в сжатую руку, которой молодой человек опирался о борт шлюпки.

Корсиканец покраснел, выпрямился, прикусил губу и, казалось, готов был ответить дерзостью, но вдруг, переменив выражение лица, разразился смехом. Полковник с монетою в руке остался в совершенном изумлении.

– Полковник, – сказал молодой человек, снова приняв серьезный тон, – позвольте дать вам два совета. Первый – никогда не предлагать денег корсиканцу, потому что между моими земляками есть такие невежливые люди, что могут бросить их вам в голову; второй – не давать людям званий, на которые они совершенно не претендуют. Вы зовете меня капралом, а я поручик. Без сомнения, разница невелика, но...

– Поручик! – воскликнул полковник. – Поручик! Но хозяин сказал мне, что вы капрал, так же как и ваш отец, и все мужчины вашего семейства. – При этих словах молодой человек откинулся и залился хохотом. Хозяин со своими двумя матросами тоже дружно расхохотались.

– Простите меня, полковник, – сказал наконец молодой человек, – но *quiproquo*¹² прелестно, и я понял его только сейчас. Правда, наш род гордится, считая капралов в числе своих предков, но наши корсиканские капралы никогда не носили галунов на мундирах. Около 1100 года некоторые общины возмутились против тирании горных синьоров и выбрали себе предводителей, которые были названы капралами. На нашем острове гордятся происхождением от этих в некотором роде трибунов.

– Извините меня, тысячу раз извините! – воскликнул полковник. – Вы понимаете причину моего промаха и, надеюсь, простите мне его.

И он протянул ему руку.

– Это вполне справедливое наказание за мое честолюбие, полковник, – сказал молодой человек, все еще смеясь и сердечно пожимая руку англичанина. – Я нисколько не сержусь на вас. Так как мой друг Маттеи не сумел представить меня вам, то позвольте мне представиться самому: Орсо делла Реббиа, поручик на половинном жалованье. Я догадываюсь по этим прекрасным собакам, что вы едете на Корсику охотиться; для меня будет весьма лестно познакомить вас с нашими *маки* и с нашими горами... если только я не забыл их, – прибавил он, вздыхая.

В это время шлюпка пристала к галиоту. Поручик предложил руку мисс Лидии, а потом помог подняться на палу-

¹² Недоразумение (*лат.*).

бу полковнику. Там сэр Томас, все еще очень сконфуженный своей ошибкой и не зная, как загладить грубое обращение с человеком, считавшим свой род с 1100 года, не ожидая согласия дочери, пригласил его ужинать, причем возобновил свои извинения и рукопожатия. Мисс Лидия слегка нахмурила брови; впрочем, она все-таки была рада узнать, что представляет собою капрал, да и сам гость был ей не противен. Она даже начала находить в нем что-то аристократическое; только для героя романа он был слишком развязан и весел.

– Поручик делла Реббиа! – сказал полковник, приветствуя его по-английски, с рюмкой мадеры в руке. – Я видел в Испании немало ваших земляков; это были знаменитые пешие стрелки.

– Да, много их осталось в Испании, – печально сказал молодой поручик.

– Я никогда не забуду, как вел себя один корсиканский батальон под Витторией, – продолжал полковник. – Вот это будет мне напоминать, – прибавил он, потирая себе грудь. – Целый день они стреляли из-за деревьев, из-за изгородей, и я уж не знаю, сколько людей и лошадей у нас перебили! Когда пришлось отступить, они построились и стали быстро уходить. На открытом месте мы надеялись заплатить им свой долг, но каналы, то есть извините, поручик, эти храбрецы, построились в каре, и прорвать его не было никакой возможности. Как теперь вижу посреди каре офицера на маленькой

вороной лошадке; он стоял около знамени и курил свою сигару, как будто сидел в кофейне. Иногда, точно чтоб подразнить нас, их музыка начинала играть. Я пускаю на них два первых своих эскадрона... Черт возьми! Вместо того чтобы врезаться во фронт каре, мои драгуны скачут в сторону, потом делают направо кругом и возвращаются в сильном расстройстве; немало лошадей вернулось без всадников... И все время эта чертовская музыка! Когда дым, окутывавший батальон, рассеялся, я опять увидел офицера около знамени; он все еще курил сигару. Взбешенный, я сам повел последнюю атаку. Их ружья закоптились от стрельбы и не могли больше стрелять, но солдаты построились в шесть рядов, штыками лошадям в морды; это была настоящая стена. Я кричал, убеждал своих драгун, шпорил коня, чтобы заставить его идти вперед; в это время офицер, о котором я вам говорил, бросив наконец сигару, показал на меня рукою одному из своих людей. Я услышал что-то вроде: *Al capello bianco!*¹³. У меня был белый плюмаж. Больше я не слышал ничего, потому что пуля пробила мне грудь... Это был славный батальон, господин делла Реббиа; первый батальон восемнадцатого легкого полка, весь из корсиканцев, как мне потом говорили.

– Да, – сказал Орсо, глаза которого блестели во время рассказа, – они выдержали натиск и вынесли свое знамя, но две трети этих храбрецов спят теперь на равнине Виттории.

¹³ Целься в белую шляпу! (*ит.*).

– А не знаете ли вы случайно имени офицера, который командовал ими?

– Это был мой отец. Тогда он служил майором в восемнадцатом полку и был произведен в полковники за этот печальный день.

– Ваш отец! Честное слово, он был храбрый человек! Я с удовольствием увиделся бы с ним снова и уверен, что узнал бы его. Он еще жив?

– Нет, полковник, – сказал молодой человек, слегка побледнев.

– Он был под Ватерлоо?

– Да, полковник, но он не имел счастья пасть на поле битвы. Он умер на Корсике... два года тому назад... Боже мой, как красиво! Десять лет я не видел Средиземного моря!.. Не правда ли, мадемуазель, оно красивее океана?

– Мне оно кажется чересчур синим... и волны слишком малы.

– Вы любите дикую красоту? Если так, то, я думаю, Корсика понравится вам.

– Моя дочь, – сказал полковник, – любит все необыкновенное; вот почему ей совсем не понравилась Италия.

– Я не знаю Италии, кроме Пизы, где я пробыл несколько лет в училище, но я не могу подумать без восхищения о *Campo Santo*, соборе, о наклонной башне; особенно о *Campo Santo*. Помните *Смерть Орканьи*? Мне кажется, я мог бы нарисовать ее, так она мне врезалась в память.

Мисс Лидия испугалась, как бы поручик не начал восторженной тирады.

– Это очень мило, – сказала она, зевая. – Извините, папа, у меня немного болит голова; я сойду в свою каюту.

Она поцеловала отца в лоб, величественно кивнула головой Орсо и исчезла. Мужчины стали говорить о войне и охоте.

Оказалось, что под Ватерлоо они были друг против друга и, должно быть, обменялись немалым числом пуль. Это удвоило их взаимную симпатию. Они раскритиковали одного за другим Наполеона, Веллингтона и Блюхера, потом начали говорить об охоте на ланей, кабанов и муфлонов. Наконец, уже поздно ночью, когда кончилась последняя бутылка бордо, полковник еще раз пожал поручику руку, выражая ему надежду на продолжение так странно начатого знакомства. Они разошлись, и каждый улегся спать.

Глава 3

Ночь была прекрасна, луна играла в волнах; судно тихо плыло, гонимое легким ветерком. Мисс Лидии совсем не хотелось спать, и только присутствие профана помешало ей наслаждаться ощущениями, которые испытывает в море всякое человеческое существо, если у него в сердце есть хоть крупинка поэзии. Решив, что молодой поручик крепко спит, как и следует такому прозаическому существу, она встала, надела шубку, разбудила свою горничную и вышла на палубу. Там был только один матрос у руля; он пел по-корсикански какую-то жалобную песню на дикий и монотонный мотив. В ночной тишине эта странная музыка не лишена была прелести. К несчастью, мисс Лидия не вполне понимала, что пел матрос. Среди многих общих мест энергический стих живо возбуждал ее любопытство, но как раз на самом интересном месте встречалось несколько местных слов, смысл которых был ей недоступен. Однако она поняла, что дело шло об убийстве. Проклятия, направленные против убийц, угрозы отомстить, похвала убитому – все это сливалось в одно. Она уловила несколько стихов, которые я попробую перевести:

...Ни пушки, ни штыки не могли заставить побледнеть его чело, ясное на поле битвы, как летнее небо. Он был сокол,

друг орла, мед для своих друзей, для врагов разгневанное море. Выше солнца, милее луны. Его, грозу для врагов Франции, двое убийц, его земляков, поразили ударом в спину – так Витоло убил Сампьеро Корсо¹⁴. – Они никогда не осмелились бы взглянуть ему в лицо. – Повесьте на стене перед моей постелью мой честно заслуженный почетный крест. – Красна его лента. – Еще краснее моя рубашка. – Моему сыну, моему сыну в далекой стране сберегите мой крест и окровавленную рубашку. – Он увидит в ней две дыры, – за каждую из них по дыре в другой рубашке. – Но буду ли я тогда отомщен? – Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало...

Матрос вдруг остановился.

– Почему вы не продолжаете? – спросила мисс Невиль.

Матрос кивком головы показал на человека, выходявшего из рубки галиота. Это был Орсо, пришедший полюбоваться лунным светом.

– Кончайте же вашу песню, – сказала мисс Лидия, – она мне очень понравилась.

Матрос наклонился к ней и тихо сказал:

– Я не делаю *rimbecco* никому.

– Как? *Rim...*

Матрос не ответил и принялся свистеть.

¹⁴ *Филиппини*, книга XI. – Имя Витоло еще до сих пор произносится с омерзением. Теперь это синоним изменника. (Прим. авт.)

– Вы восхищаетесь нашим Средиземным морем, мисс Невиль? – спросил Орсо, подходя к ней. – Согласитесь, что нигде нет такой луны.

– Я не смотрела на нее. Я была занята изучением корсиканского языка. Этот матрос пел какую-то трагическую жалобу и остановился на самом интересном месте.

– Что ты пел, Паоло Франче? – спросил Орсо. – *Ballata*? Или *vocero*¹⁵? Барышня понимает тебя и хотела бы послушать конец.

– Я забыл его, Орс Антон, – сказал матрос. И он сейчас же начал голосить во всю мочь песнь Пресвятой Деве.

Мисс Лидия рассеянно слушала ее и больше не беспокоила певца, пообещав себе, однако, узнать потом разрешение загадки. Но ее горничной, флорентийке, понимавшей корсиканское наречие не лучше своей госпожи, также очень хотелось узнать ее, и, прежде чем мисс Лидия успела толкнуть ее локтем, она обратилась к Орсо:

– Господин капитан, что это значит – сделать *rimbecco*?

¹⁵ Когда кто-нибудь умирает, особенно если его убили, то его тело выставляют на столе, и женщины его семьи, а за их отсутствием приятельницы или даже совершенно посторонние женщины, известные своим поэтическим талантом, импровизируют на туземном наречии перед многочисленными слушателями жалобы в стихах. Этих женщин зовут *voceratrici*, или, по корсиканскому произношению, *buceratrici*, а жалоба на восточном берегу называется *vocero*, *bucero*, *buceratu*, а на западном – *ballata*. Слово *vocero*, так же, как и его производные: *vocerar*, *voceratrice*, происходит от латинского *vociferare*. Иногда несколько женщин импровизируют одна за другой, и часто жена или дочь покойного сама поет надгробную жалобу. (Прим. авт.)

– *Rimbecco!* – повторил Орсо. – Это значит нанести смертельное оскорбление корсиканцу; это значит упрекнуть его в том, что он не отомстил за себя. Кто вам говорил о *rimbecco*?¹⁶

– Вчера в Марселе, – торопливо ответила мисс Лидия, – хозяин галиота употребил в разговоре это слово.

– А о ком говорил он? – оживленно спросил Орсо.

– О! Он рассказывал нам старую историю... из времен... да, кажется, он говорил о Ванине д'Орнано.

– Смерть Ванины, я думаю, не внушила вам любви к нашему герою, храброму Сампьеро?

– Но разве вы находите, что тут было геройство?

– Его преступление оправдывается дикими нравами того времени. А кроме того, Сампьеро вел смертельную борьбу с генуэзцами; какое бы доверие могли иметь к нему земляки, не накажи он женщину, хотевшую вступить в сношения с Генуей?

– Ванина, – сказал матрос, – ушла без позволения мужа; Сампьеро хорошо сделал, что свернул ей шею.

– Но ведь она пошла к генуэзцам вымолить помилование мужу для его же спасения, из любви к нему.

¹⁶ *Rimbeccare* – по-итальянски значит отослать, отразить, отбросить. По-корсикански это значит бросить кому-нибудь оскорбительный публичный упрек. Говоря сыну убитого, что отец его не отомщен, ему делают этим *rimbecco*. *Rimbecco* есть род требования, предъявляемого человеку, не смывшему кровью обиды. Генуэзское законодательство очень строго преследовало виновных в *rimbecco*. (Прим. авт.)

– Просить о его помиловании значило унижить его! – воскликнул Орсо.

– А он ее убил! – продолжала мисс Невиль. – Какое он чудовище!

– Вы же знаете, что она просила у него, как милости, смерти от его руки. Неужели, по-вашему, Отелло тоже чудовище?

– Большая разница! Он ревновал, а Сампьеро действовал из одного тщеславия.

– А ревность, разве это не то же тщеславие? Это – тщеславие из-за любви; быть может, вы извиняете ее ради этой причины?

Мисс Лидия бросила на него исполненный достоинства взгляд и, обратясь к матросу, спросила его, когда галиот придет в порт.

– Послезавтра, если ветер не перестанет, – сказал он.

– Мне хотелось бы уже видеть Аяччо; это судно мне надоело.

Она встала, взяла под руку горничную и прошла несколько шагов по палубе. Орсо остался стоять у руля, не зная, провожать ли ее или прекратить этот разговор, который, казалось, сделался ей несносным.

– Хорошенькая девушка, клянусь кровью мадонны! – сказал матрос. – Если бы на моей койке все блохи были такие, как она, то я не жаловался бы, что они кусаются!

Мисс Лидия, может быть, услышала эту наивную похвалу своей красоте и рассердилась на нее, потому что она почти

тотчас же сошла в свою каюту. Скоро ушел и Орсо. Как только он скрылся с палубы, вышла горничная и подвергла моряка допросу, после которого сообщила своей барышне следующее: *ballata*, прерванная появлением Орсо, была сочинена на смерть его отца, полковника делла Реббиа, убитого два года тому назад. Матрос не сомневался, что Орсо возвращался на Корсику, как он выразился, *чтобы сделать вендетту*, и утверждал, что скоро в местечке Пьетранера увидят сырое мясо. В переводе это народное выражение значило, что синьор Орсо предполагал убить двоих или троих, подозреваемых в умерщвлении его отца, которые, правда, находились по этому делу под следствием, но потом были обелены, потому что судьи, адвокаты, префект и жандармы держали их руку.

– На Корсике нет суда, – прибавил матрос, – и, по-моему, доброе ружье стоит дороже советника королевского суда. Когда есть враг, то нужно выбирать между тремя S¹⁷.

Эти любопытные разъяснения значительно изменили отношение мисс Лидии к поручику делла Реббиа. В глазах романтической англичанки он стал с этого времени человеком, достойным внимания. Теперь этот беззаботный вид, этот развязный тон и хорошее расположение духа, сначала поселившие в ней предубеждение, сделались в ее глазах достоинствами, потому что показывали глубокую скрытность

¹⁷ Народное выражение; три S – это значит: *schiopetto*, *stiletto*, *strada*, то есть ружье, стилет, бегство. (Прим. авт.)

энергичной души, не дающей проникнуть наружу ни одному из своих чувств. Орсо показался ей чем-то вроде Фьеско, скрывающего под внешним легкомыслием обширные планы; и хотя убить нескольких негодяев далеко не столь доблестный поступок, как освободить родную страну, но все-таки прекрасная месть прекрасна; кроме того, женщины любят, когда герой не политик. Только теперь мисс Лидия заметила, что у молодого поручика большие глаза, белые зубы, изящный стан, что он хорошо воспитан и вращался в хорошем обществе. На другой день она много говорила с ним, и этот разговор ее занимал. Она много расспрашивала его о родной стране; он интересно рассказывал о ней. Корсика, которую он оставил мальчиком, чтобы поступить сперва в училище, а потом в военную школу, осталась в его памяти окруженною поэтическим ореолом. Он воодушевлялся, говоря о ее горах, лесах, об оригинальных обычаях ее жителей. Как и следовало ожидать, мщение не раз являлось в его рассказах, потому что невозможно говорить о корсиканцах, не нападая на их страсть, вошедшую в пословицу, или не оправдывая ее. Орсо несколько удивил мисс Невиль, в общем осуждая бесконечные распри своих земляков. Он оправдывал, однако, крестьян, говоря, что вендетта есть дуэль бедных.

– Это в самом деле дуэль, – говорил он, – люди убивают друг друга только после вызова, сделанного по правилам. «Берегись, я берегу» – такими словами обмениваются враги, прежде чем начать устраивать друг другу засады. У нас не

больше убийств, чем везде; но вы никогда не найдете неблагородного повода к такому преступлению. У нас, это правда, много убийц, но нет ни одного вора.

Когда он говорил о мщении и убийстве, мисс Лидия внимательно смотрела на него, но не могла заметить на его лице ни малейшего следа волнения. Так как она решила, что он достаточно обладал силой духа, чтобы не дать никому проникнуть в свои мысли – конечно, никому, кроме нее, – то она продолжала твердо верить, что тень полковника делла Реббиа недолго будет ждать желанного удовлетворения.

Галиот был уже в виду Корсики. Хозяин судна называл достопримечательные места на побережье, и хотя все они были совершенно незнакомы мисс Лидии, ей доставляло некоторое удовольствие узнавать их названия. Нет ничего скучнее безымянного пейзажа. Иногда в зрительную трубу полковника был виден какой-нибудь островитянин, одетый в коричневый плащ, с длинным ружьем, скачущий по крутым склонам верхом на маленькой лошадке. Мисс Лидия в каждом видела бандита или, вернее, сына, спешащего мстить за смерть отца; но Орсо уверял, что это какой-нибудь житель соседнего местечка, едущий по своим делам, что ружье он возит с собою не столько по необходимости, сколько из щегольства и подчинения моде, точно так, как денди не выходит без изящной трости. Хотя ружье есть оружие менее благородное и поэтическое, чем стилет, но все-таки мисс Лидия находила, что мужчине оно идет больше, чем трость, и вспоминала, что все

герои лорда Байрона умирают от пули, а не от классического кинжала.

После трехдневного плавания перед глазами наших путешественников развернулась великолепная панорама залива Аяччо. Справедливо сравнивают ее с видом Неаполитанского залива. А в то время, когда галиот входил в порт, горевший *маки*, окутывая дымом *Punta di Girato*, напоминал Везувий и усиливал сходство с заливом. Недоставало только, чтобы полчища Аттилы опустошили окрестности Неаполя, потому что вокруг Аяччо все мертво и пустынно. Вместо изящных зданий, открывающихся со всех сторон от Каstellамаре до мыса Мизены, вокруг залива Аяччо видны только мрачные *маки* да позади них лысые горы. Ни одной виллы, ни одного жилья. Лишь кое-где, на окружающих город высотах, белая постройка выделяется на зеленом фоне: это надгробные часовни, фамильные склепы. Все в этом пейзаже полно торжественной и печальной красоты.

Вид города, особенно в те времена, еще усиливал впечатление, произведенное пустынностью его окрестностей. На улицах нет никакого движения; встречаются немногие, и все одни и те же, праздные фигуры. Ни одной женщины, кроме нескольких крестьянок, привезших на продажу съестные припасы. Не слышно громкого говора, пения, смеха, как в итальянских городах. Иногда на бульваре под тенью дерева кучка вооруженных крестьян играет в карты; некоторые смотрят на игру. Они никогда не кричат, не спорят; если

страсти разгорятся, то раздаются пистолетные выстрелы, которые всегда предшествуют угрозам. Корсиканец от природы важен и молчалив. Вечером появляется несколько желающих подышать свежим воздухом, но прогуливаются почти только одни иностранцы. Островитяне остаются у своих дверей; каждый настороже, как сокол на своем гнезде.

Глава 4

Побывав в комнате, где родился Наполеон, достав себе более или менее безгрешными средствами клочок от обоев из этой комнаты, мисс Лидия на другой день после приезда на Корсику почувствовала себя в самом печальном настроении духа, как и должно быть со всяким чужеземцем, приехавшим в страну, необщительность жителей которой как будто осуждает его на полное одиночество. Она пожалела о своей затее, но уехать сейчас же значило уронить свою репутацию неустрашимой путешественницы, и мисс Лидия решилась терпеть и как можно лучше убивать время. Утвердившись в этом благородном решении, она вынула карандаши и краски, набросала виды залива и сделала портрет загорелого мужика, продававшего дыни, как огородник на континенте, но имевшего белую бороду и вид самого свирепого негодяя в мире. Так как все это не могло развлечь ее, то она решилась вскружить голову потомку капралов, а сделать это было нетрудно, потому что Орсо совсем не торопился ехать в свою деревню и, казалось, с большим удовольствием оставался в Аяччо, несмотря на то что ни с кем здесь не встречался. Кроме того, мисс Лидия задалась благородной целью, а именно: цивилизовать этого дикаря и заставить его отказаться от мрачных намерений, которые привели его на родной остров. С тех пор, как она узнала его ближе, она реши-

ла, что было бы жаль пустить этого молодого человека навстречу гибели и что для нее было бы делом чести обратиться к корсиканцу на путь истинный.

Дни проходили у наших путешественников следующим образом: утром полковник и Орсо шли на охоту; мисс Лидия рисовала или писала подругам, для того чтобы иметь возможность помечать письма «Аяччо». К шести часам мужчины возвращались, обремененные дичью; обедали, мисс Лидия пела, полковник засыпал, а молодые люди разговаривали до поздней ночи.

Какая-то формальность относительно паспорта принудила полковника Невилля сделать визит префекту. Страшно скучавший, как и большинство его сослуживцев, префект был в восторге, узнав о приезде англичанина, богача, светского человека и отца хорошенькой дочери. Он прекрасно принял его, осыпал предложениями услуг и очень скоро отдал ему визит. Полковник, только что выйдя из-за стола, удобно растянулся на софе и уже почти засыпал; дочь его пела у раскрытого фортепьяно; Орсо переворачивал ей ноты и смотрел на плечи и белокурые волосы певицы. Доложили о г-не префекте; фортепьяно смолкло, полковник встал, протер себе глаза и представил префекта дочери.

– Я не представляю вам господина делла Реббиа, – сказал он префекту, – потому что вы, без сомнения, знаете его.

– Вы сын полковника делла Реббиа? – спросил префект с несколько смущенным видом.

– Да, господин префект, – ответил Орсо.

– Я имел честь быть знакомым с вашим батюшкой.

Общие места разговора скоро истощились. Полковник не мог удержать зевоту; Орсо в качестве либерала не хотел говорить с представителем власти. Мисс Лидия старалась поддержать разговор. Префект ей в этом помогал и, очевидно, находил большое удовольствие в разговоре о Париже и о свете с женщиной, знакомой со всей европейской знатью. Говоря, он время от времени со странным любопытством взглядывал на Орсо.

– Вы познакомились с господином Реббиа на континенте? – спросил он мисс Лидию.

Мисс Лидия несколько смущенно ответила, что они познакомились на галиоте, на котором приехали на Корсику.

– Вполне порядочный молодой человек, – заметил префект вполголоса. – А сказал он вам, – продолжал он еще тише, – с каким намерением он возвращается на Корсику?

Мисс Лидия приняла величественный вид.

– Я не спрашивала его об этом, можете спросить его сами.

Префект помолчал, но минуту спустя, слыша, что Орсо сказал полковнику несколько слов по-английски, он обратился к нему:

– Вы, оказывается, много путешествовали. Вы должны были забыть Корсику... и ее обычаи.

– Правда, я оставил ее еще очень молодым.

– Вы все еще служите в армии?

– Я на половинном жалованье, господин префект.

– Вы так долго были во французской армии, что – я не сомневаюсь в этом – сделались совершенным французом.

Напомнить корсиканцу, что он принадлежит к великой нации, вовсе не значит особенно польстить ему. Корсиканцы хотят быть особым народом и так хорошо оправдывают это притязание, что с ними нельзя не согласиться. Немного уязвленный, Орсо ответил:

– Вы думаете, господин префект, что корсиканцу, чтобы сделаться порядочным человеком, необходимо служить во французской армии?

– Конечно, нет, – сказал префект, – я этого несколько не думаю; я говорю только о некоторых *обычаях* этой страны, из которых иные совершенно нежелательно было бы наблюдать администратору.

Он сделал ударение на слове «обычаях» и принял самое важное выражение, на какое только была способна его физиономия. Вскоре он поднялся и ушел, взяв с мисс Лидии обещание навестить его жену в префектуре.

– Надо мне было ехать на Корсику, чтобы узнать, что такое префект! – сказала мисс Лидия, когда он вышел. – Впрочем, он показался мне довольно любезным.

– Что касается до меня, то я не могу сказать того же, – заметил Орсо. – Мне он кажется очень странным, вид у него надутый и таинственный.

Полковник заснул; мисс Лидия мельком взглянула на него

и сказала, понизив голос:

– А я нахожу, что он вовсе не так таинствен, как вы думаете; мне кажется, я поняла его.

– Вы очень прозорливы, мисс Невиль; и если вы видите какой-нибудь смысл в словах, которые он только что сказал, то вы, наверно, сами вложили его в них.

– Эта фраза достойна маркиза Маскариля, господин делла Реббиа; но... хотите, я дам вам доказательство моей проницательности? Я немножко колдунья и знаю, что думают люди, хотя видела их всего раза два.

– Боже мой, вы пугаете меня! Если вы умеете читать чужие мысли, я не знаю, радоваться мне этому или печалиться...

– Господин делла Реббиа! – продолжала мисс Лидия, краснея. – Мы знаем друг друга всего несколько дней; но на море и в дикой стране – я надеюсь, вы извините меня... – в дикой стране люди сходятся скорее, чем в свете. Поэтому не удивляйтесь, если я стану говорить с вами, как друг, о довольно интимных вещах, которых, может быть, не должен касаться посторонний.

– О, не говорите этого слова, мисс Невиль! Другое нравится мне гораздо больше.

– Итак, я должна сказать вам, что, не стараясь узнать вашу тайну, я узнала о ней кое-что, что меня огорчает. Я знаю горе, постигшее ваше семейство; мне много говорили о мстительном характере ваших земляков и их манере мстить... Не

на это ли намекал префект?

– Мисс Лидия, как могли вы подумать!.. – И Орсо побледнел, как мертвец.

– Нет, – перебила она его, – я знаю, что вы человек чести. Вы сами сказали мне, что в вашей стране только простой народ применяет вендетту... которую вам было угодно назвать формой дуэли.

– Вы думаете, я способен стать убийцей?

– Из того, что я говорю с вами об этом, вы должны заключить, что я не сомневаюсь в вас. Если я об этом говорю, – продолжала она, опустив глаза, – то это потому, что я понимаю, что, вернувшись на родину, окруженный, может быть, варварскими предрассудками, вы... вам отрадно будет сознавать, что есть существо, уважающее вас за твердость в сопротивлении им. Не будем говорить об этих скверных вещах, – сказала она, вставая. – От них у меня болит голова, да и поздно. Вы не сердитесь на меня? Покойной ночи, по-английски.

И она протянула ему руку.

Орсо пожал ее с серьезным и растроганным видом.

– Мисс Лидия, – сказал он, – знаете ли, что есть минуты, когда во мне пробуждаются инстинкты родной страны? Иногда, когда я думаю о своем бедном отце, меня преследуют ужасные мысли. Благодаря вам я навсегда освободился от них. Благодарю вас, благодарю.

Он хотел продолжать, но мисс Лидия уронила чайную

ложку, и звон ее разбудил полковника.

– Делла Реббиа, завтра в пять часов на охоту. Будьте точны.

– Хорошо, полковник.

Глава 5

На другой день, незадолго до возвращения охотников, подходя к гостинице, после прогулки со своей горничной по морскому берегу, мисс Невиль заметила въезжавшую в город молодую женщину в черном, верхом на маленькой, но ретивой лошадке, в сопровождении кого-то, вроде крестьянина, тоже верхом, одетого в куртку из коричневого сукна с разодранными локтями, с тыквенной кубышкой на перевязи, с пистолетом, висевшим у пояса, с ружьем в руках, конец ложа которого помещался в кожаном кармане, приделанном к луке седла, словом, в полном костюме разбойника из мелодрамы или корсиканского обывателя в дороге. Внимание мисс Невиль прежде всего привлекла к себе замечательная красота женщины. Ей было на вид лет двадцать. Она была высокого роста, бела лицом; у нее были темно-голубые глаза, розовые губы, зубы будто из эмали. В выражении ее лица можно было разом прочесть гордость, беспокойство и печаль. На голове у нее был надет *mezzaro*, вуаль, введенная на Корсике генуэзцами и очень идущая женщинам. Длинные каштановые косы обвивали ей голову, как тюрбан. Одежда на ней была опрятная, но совсем простая.

Мисс Лидия уже успела рассмотреть женщину в *mezzaro*, когда та остановилась спросить у прохожего о чем-то, судя по выражению ее глаз, очень ее интересовавшем; получив

ответ, она ударила лошадь хлыстом и поехала крупной рысью. Она остановилась у дверей гостиницы, где жили сэр Томас Невиль и Орсо. Здесь, обменявшись несколькими словами с хозяином, молодая женщина ловко соскочила с лошади и уселась на каменной скамье около входной двери, а ее конюх повел лошадей на конюшню. Мисс Лидия в своем парижском костюме прошла мимо незнакомки, но та даже не подняла глаз. Открыв через четверть часа свое окно, мисс Лидия увидела ее сидящей на том же месте и в том же положении. Скоро показались возвращавшиеся с охоты полковник и Орсо. Тогда хозяин сказал незнакомке в трауре несколько слов и показал ей пальцем на молодого делла Реббиа. Она покраснела, быстро поднялась, сделала несколько шагов и остановилась как бы в смущении. Он с любопытством на нее глядел.

– Вы Орсо Антонио делла Реббиа? – спросила она взволнованно. – Я Коломба.

– Коломба! – воскликнул Орсо.

И он обнял ее и нежно поцеловал, что немного удивило полковника с дочерью, потому что в Англии не целуются на улице.

– Брат, простите меня за то, что я приехала без вашего приказанья, но я узнала от наших друзей, что вы уже здесь, а для меня такая радость видеть вас...

Орсо поцеловал ее еще раз; потом, обратясь к полковнику, сказал:

– Это моя сестра. Я ни за что не узнал бы ее, если бы она не назвала себя... Коломба, полковник сэра Томаса Невиль... Полковник, прошу вас извинить меня, но сегодня я не могу обедать с вами. Сестра...

– А, черт возьми! Где же вы будете обедать? – воскликнул полковник. – Вы очень хорошо знаете, что в этом проклятом трактире всего один обед и тот наш. Мадемуазель доставит моей дочери большое удовольствие, если согласится присоединиться к нам.

Коломба посмотрела на брата, тот не заставил долго просить себя, и все вместе вошли в самую большую комнату гостиницы, служившую полковнику приемной и столовой. Мадемуазель делла Реббиа, представленная мисс Невиль, сделала ей низкий реверанс, но не сказала ни слова. Видно было, что она очень смущена и что ей, может быть, первый раз в жизни приходится быть в обществе иностранцев, да к тому же еще из высшего общества. Впрочем, в ее манерах не было ничего, напоминавшего провинцию; оригинальность испугала в ней неловкость. Она даже понравилась этим мисс Лидии, и так как в гостинице, которой завладел полковник со своей свитой, не было больше свободных комнат, то мисс Лидия простерла свою снисходительность или свое любопытство до того, что предложила постлать постель для мадемуазель делла Реббиа в своей собственной комнате.

Коломба пробормотала какую-то благодарность и поспешила за горничной мисс Невиль, чтобы немного привести в

порядок свой туалет, что было необходимо после пыльной дороги в самую жару.

Войдя в зал, она остановилась перед ружьями полковника, которые охотники только что поставили в угол.

– Славные ружья, – сказала она. – Брат, это ваши?

– Нет, это английские ружья полковника. Они так же хороши, как и красивые.

– Мне очень хотелось бы, чтобы и у вас было такое.

– Из этих трех одно, разумеется, принадлежит дела Реб-биа. Он превосходно владеет им! Сегодня, например, четырнадцать выстрелов – четырнадцать штук дичи.

Сейчас же началась борьба великодушия, в которой Орсо был побежден, к великому удовольствию его сестры, что можно было заметить по выражению детской радости, внешне застенчивой на ее за секунду до этого серьезном лице.

– Выбирайте, друг мой, – говорил полковник.

Орсо отказывался.

– Ну, так ваша сестра выберет за вас.

Коломба не заставила его повторять и взяла проще всех отделанное ружье: это было превосходное ружье Ментона, большого калибра.

– Наверно, хорошо бьет, – сказала она.

Брат не знал, как благодарить полковника; очень кстати подоспевший обед вывел его из затруднения. Мисс Лидия была в восторге, видя, что Коломба, которая оказала некото-

рое сопротивление, когда ее хотели посадить за стол, и уступила только после взгляда своего брата, как добрая католичка, перекрестилась перед обедом. «Хорошо, – сказала Лидия про себя, – вот первобытная натура». И она решила сделать побольше интересных наблюдений над этой молодой представительницей старых корсиканских нравов. Что касается Орсо, то он, очевидно, был не в своей тарелке; без сомнения, он боялся, как бы его сестра не сказала или не сделала чего-нибудь отдающего деревней. Но Коломба постоянно взглядывала на него и все свои движения сообразовывала с движениями брата. Иногда она пристально смотрела на него с каким-то странным печальным выражением, и, если глаза Орсо встречались с ее глазами, он первый отводил их в сторону, как будто бы хотел избегнуть вопроса, который мысленно обращала к нему сестра и который он слишком хорошо понимал. Говорили по-французски, потому что полковник очень плохо изъяснялся по-итальянски. Коломба понимала французский язык и даже недурно произносила те немногие слова, которыми она была вынуждена обмениваться со своими хозяевами.

После обеда полковник, заметивший какую-то принужденность между братом и сестрой, спросил со своей обычной откровенностью, не желает ли Орсо поговорить наедине с Коломбой, и вызвался с дочерью перейти в соседнюю комнату. Но Орсо поспешил поблагодарить его и сказал, что у них будет много времени для разговоров в Пьетранере. Так

называлась деревня, где он должен был жить.

Полковник занял свое привычное место на софе, а мисс Невиль, перепробовав несколько тем для разговора и отчаявшись заставить разговориться прекрасную Колумбу, попросила Орсо прочесть ей какую-нибудь песнь из Данте: это был ее любимый поэт. Орсо выбрал ту песнь из *Ада*, где говорится о Франческе да Римини, и начал старательно декламировать эти изящные терцины, так ясно выражающие опасность читать вдвоем книгу о любви. По мере того как он читал, Колумба придвигалась к столу, поднимала свою склоненную голову; ее расширенные зрачки блестели необыкновенным огнем; она то бледнела, то краснела; ей не сиделось на месте. Прекрасная итальянская натура понимает поэзию, не нуждаясь в каком-нибудь педанте, который указывал бы на ее красоты.

– Как хорошо! – воскликнула она, когда чтение кончилось. – Брат, кто это написал?

Орсо несколько смутился, а мисс Лидия ответила, улыбаясь, что написал это один флорентийский поэт, умерший много веков назад.

– Я дам тебе читать Данте, когда мы будем в Пьетранере, – сказал Орсо.

– Боже мой, как это хорошо! – повторяла Колумба.

И она повторила три или четыре удержанные ею в памяти терцины сначала потихоньку, а потом, воодушеваясь, продекламировала их громко и с бóльшим выражением, чем то,

какое вложил в них, читая, ее брат.

– Вы, кажется, очень любите поэзию, – сказала удивленная мисс Лидия. – Как я завидую вам! Вы будете читать Данте, как новую книгу.

– Видите, мисс Невиль, какую силою обладают стихи Данте! – сказал Орсо. – Они волнуют даже дикарку, знающую только свое «Отче наш»... Но я ошибаюсь. Мне помнится, что Коломба знаток в этом деле. Еще совсем ребенком она занималась стихотворством, и отец писал мне, что она величайшая *voceratrice* в Пьетранере и на две мили кругом.

Коломба умоляющими глазами посмотрела на брата. Мисс Невиль слышала о корсиканских импровизаторшах и умирала от желания послушать одну из них. Поэтому она начала усердно просить Коломбу показать ей образец своего таланта. Орсо вступился, досадуя на себя, зачем вспомнил о поэтическом таланте сестры. Он клялся, что нет ничего проще, чем корсиканская *ballata*, уверял, что слушать корсиканские стихи после Данте – значит изменять своей стране, и только раздражил каприз мисс Невиль, так что наконец принужден был обратиться к сестре.

– Ну, хорошо, скажи что-нибудь, но только покороче.

Коломба вздохнула, с минуту внимательно смотрела на скатерть, покрывавшую стол, потом на балки потолка; наконец, закрыв рукой глаза, как те птицы, которые успокаиваются и думают, что их никто не видит, когда они сами ничего не видят, она запела неуверенным голосом следующую

serenata:

Девушка и горлинка

В долине, далеко за горами, солнце светит только час в день. В той долине есть мрачный дом, и трава растет на его пороге. Двери, окна всегда заперты. Дым не идет из трубы. Но в полдень, когда туда заглядывает солнце, отворяется окно, и девушка-сиротка прядет на прялке. Она прядет и поет за работой печальную песню. Однажды в весенний день горлинка села на соседнее дерево и слушала пение молодой девушки. «Молодая девушка, – сказала она, – ты не одна плачешь. Жестокий ястреб унес у меня друга». – «Горлинка, покажи мне, где ястреб-похититель; если б он даже был под облаками, я сейчас же свалю его на землю. Но мне, бедной, кто мне отдаст моего брата? Мой брат теперь в далекой стране». – «Молодая девушка, скажи мне, где твой брат, и мои крылья снесут меня к нему».

– Вот благовоспитанная горлинка! – воскликнул Орсо, целуя сестру в волнении, противоречившем его делано шутовскому тону.

– Ваша песня прелестна, – сказала мисс Лидия, – мне хочется, чтобы вы записали ее мне в альбом. Я переведу ее на английский язык и положу на музыку.

Храбрый полковник, не понявший ни слова, к комплиментам дочери присоединил и свои. Потом он прибавил:

– Горлинка, о которой вы говорите, мадемуазель Коломба, это та самая птица, которую мы сегодня ели?

Мисс Невиль принесла свой альбом и была немало удивлена, видя, как странно экономит бумагу импровизаторша, записывая свою песню. Стихи, вместо того чтобы стоять отдельными строчками, шли один за другим во всю ширину листа, не соответствуя известному определению поэтического произведения: «Коротенькие строчки неравной длины с пустыми местами с каждой стороны». Сверх того, можно было сделать несколько замечаний по поводу немного капризного правописания Коломбы, которое не раз заставило улыбнуться мисс Невиль и было пыткой для братского тщеславия Орсо.

Когда наступило время сна, молодые девушки пошли в свою комнату. Там, снимая колье, серьги и браслеты, мисс Лидия заметила, что ее подруга вынула из платья что-то длинное вроде корсетной пластинки, но совсем иной формы. Коломба заботливо и почти украдкой положила это что-то под свой *mezzaro*; потом она стала на колени и начала набожно молиться. Через две минуты она была в постели. Очень любопытная от природы и медленно раздевавшаяся, как все англичанки, мисс Лидия подошла к столу и, притворяясь, будто ищет булавку, подняла *mezzaro* и увидела довольно длинный стилет в затейливой оправе из серебра с перламутром; он был замечательной работы, и любитель дорого бы дал за такое старинное оружие.

– Разве здесь есть обычай у девушек носить в корсете это маленькое оружие? – спросила мисс Невиль с улыбкой.

– Это необходимо, – ответила, вздыхая, Коломба. – На свете столько злых людей!

– А хватило бы у вас в самом деле духу нанести вот этакий удар?

И мисс Невиль сделала вид, что наносит удар стилетом сверху вниз, как на сцене.

– Да, если бы это понадобилось, чтобы защитит себя или друзей... – сказала Коломба своим нежным и музыкальным голосом. – Но вы не так его держите; вы можете ранить себя, если тот, кого вы хотите ударить, отступит. Посмотрите, вот как, – сказала она и, приподнявшись, показала, как надо бить. – Говорят, такой удар смертелен. Счастливые люди, кому не нужно такое оружие!

Она вздохнула, опустила голову на подушку и закрыла глаза. Невозможно представить себе более благородную, более невинную головку. Фидий для своей Афины-Паллады не пожелал бы лучшей модели.

Глава 6

По правилу Горация, я сразу приступил *in medias res*¹⁸. Пока все спит, пока спит и прекрасная Колумба, и полковник, и его дочь, я воспользуюсь этим временем и расскажу читателю о некоторых частностях, которые он должен знать, если хочет как следует вникнуть в эту правдивую историю. Читатель уже знает, что полковник делла Реббиа, отец Орсо, был убит. На Корсике убивает не какой-нибудь каторжник, который не нашел лучшего средства утащить ваше серебро, как это водится во Франции, а убивают враги; но сказать, почему у человека есть враги, часто бывает очень трудно. Многие семейства ненавидят друг друга по старой привычке, а предание о первоначальной причине их ненависти совершенно исчезло.

Род, к которому принадлежал полковник делла Реббиа, враждовал со многими другими родами, но – особенно с семьей Барричини; некоторые говорили, что в XVI веке один делла Реббиа соблазнил одну Барричини и потом был заколот родственником оскорбленной девицы. Правда, другие рассказывали, что дело было иначе, что соблазнили одну делла Реббиа, а закололи одного Барричини. Словом, между двумя домами, как говорится, была кровь. Однако вопреки обычаю это убийство не повлекло за собой других убийств,

¹⁸ К делу (*лат.*).

потому что генуэзское правительство одинаково преследовало и делла Реббиа, и Барричини. Молодые люди из обоих семейств находились в изгнании, поэтому и оба рода в течение многих поколений были лишены своих энергических представителей.

В конце прошлого века один делла Реббиа, офицер неаполитанской службы, поссорился в игорном доме с военными, которые между прочими оскорблениями называли его корсиканским козопасом; он выхватил шпагу, но так как он был один, а их трое, то ему пришлось бы плохо, если бы какой-то иностранец, тоже игравший в этом доме, не стал на его сторону, закричав: «Я тоже корсиканец!» Этот иностранец был один из Барричини, не знавший своего земляка. При объяснении с обеих сторон было сказано множество любезностей и дано клятв в вечной дружбе; на континенте корсиканцы сходятся легко, совершенно не так, как на своем острове. Это оправдалось и в данном случае: делла Реббиа и Барричини были душевными друзьями, пока жили в Италии, но, вернувшись на Корсику, они стали видаться редко, хотя и жили в одной деревне, а когда они умерли, то ходили толки, что они не здоровались по крайней мере пять или шесть лет до своей смерти. Их сыновья жили точно так же, *по этикету*, как говорят на острове. Один, Гильфуччо, отец Орсо, был военным; другой, Джудиче Барричини, – адвокатом. Когда они оба сделались отцами семейств, то, разлученные своими профессиями, почти не имели случая видаться или слышать

что-нибудь друг о друге.

Однако в 1809 году Джудиче, прочтя в бастиийской газете, что капитан Гильфуччо получил орден, сказал при свидетелях, что он вовсе не удивляется этому, потому что генерал *** покровительствует семейству делла Реббиа. Эти слова были переданы в Вену Гильфуччо, и тот сказал одному земляку, что, вернувшись на Корсику, он, наверно, застанет Джудиче богатым, потому что он выручает больше денег за проигранные, чем выигранные дела. Неизвестно, хотел ли он намекнуть на то, что адвокат изменял своим клиентам, или просто повторил ходячую истину, что дурное дело приносит законнику больше выгоды, чем хорошее. Как бы то ни было, адвокат узнал об остроте и не забыл ее. В 1812 году он начал хлопотать о месте мэра в своей общине и совсем уже надеялся получить его, как вдруг генерал *** написал префекту, рекомендуя ему родственника жены Гильфуччо; префект поспешил исполнить желание генерала, и Барричини нисколько не сомневался, что обязан своей неудачей интригам Гильфуччо.

После падения императора в 1814 году любимец генерала был обвинен по доносу в бонапартизме, и его заменил Барричини. Последний, в свою очередь, был отрешен во время Ста дней, но после этой бури снова торжественно вступил во владение печатью мэра и метрическими книгами.

С этих пор звезда его счастья заблестела ярче, чем когда-нибудь. Полковник делла Реббиа, уволенный с половин-

ным окладом и приехавший в Пьетранеру, должен был выдерживать глухую борьбу, состоявшую из бесконечных кляуз; то его требовали в суд по делу о потраве, сделанной его лошадью у господина мэра; то мэр под предлогом починки церковного пола приказывал снять разбитую плиту с гербом делла Реббиа на могиле у одного из членов этого рода. Если козы поедали у полковника всходы, хозяева их находили у мэра защиту; лавочник, содержащий в Пьетранере почтовую контору, и полевой сторож, старый изувеченный солдат, — оба клиенты делла Реббиа, — один за другим были прогнаны и заменены креатурами Барричини.

Жена полковника умерла, выразив желание быть похороненной в том лесу, где она любила прогуливаться; мэр тотчас же объявил, что она должна быть погребена на общественном кладбище, так как он не уполномочен разрешить похоронить ее где-нибудь в другом месте. Взбешенный полковник объявил, что в ожидании этого полномочия он похоронит жену в том месте, которое она выбрала, и приказал вырыть там могилу. Со своей стороны, и мэр приказал вырыть могилу на кладбище и потребовал жандармов затем, как говорил он, чтобы сила осталась на стороне закона. В день похорон явились обе партии, и одно время можно было опасаться, как бы не начался бой из-за останков г-жи делла Реббиа. Полсотни хорошо вооруженных крестьян, приведенных родными покойной, заставили священника, выйдя из церкви, пойти по дороге к лесу; с другой стороны, мэр со свои-

ми двумя сыновьями, со своими клиентами и жандармами явился, чтобы оказать противодействие. Когда он приказал похоронному шествию отступить, в ответ раздались свистки и угрозы; численный перевес был на стороне его противников, и они, казалось, решились защищаться.

При виде мэра многие взвели курки своих ружей, и говорят даже, что один пастух уже прицелился в него, но полковник отвел ружье и сказал: «Не смей стрелять без моего приказа!» Мэр «от природы боялся побоев», как Панург, и, не дав сражения, отступил со своим конвоем; тогда печальное шествие тронулось и выбрало самую длинную дорогу, чтобы пройти перед мэрией. Какой-то идиот, примкнув к шествию, вздумал кричать: «Да здравствует император!» Ему ответили два или три голоса, и реббианисты, воодушевляясь все более и более, предложили убить принадлежавшего мэру быка, который случайно загородил им дорогу. К счастью, полковник помешал совершить такую жестокость.

Всякий легко догадается, что был составлен протокол и что мэр послал префекту донесение, написанное самым высоким слогом; в нем он изображал божественный и человеческий закон попраным, достоинство его, мэра, и священника – непризнанным и поруганным, полковника делла Реббиа – ставшим во главе бонапартистского заговора, имевшего целью изменить порядок престолонаследия и возбудить между гражданами вооруженное столкновение: преступления, предусмотренные 86-й и 91-й статьями уголовного ко-

декса.

Преувеличенность этой жалобы повредила ее действию. Полковник написал префекту, королевскому прокурору; один из родственников его жены приходился родней одному из депутатов острова, другой был кузеном председателя судебной палаты. Благодаря этим связям обвинение в заговоре отпало; г-жа делла Реббиа осталась в лесу, а идиот был приговорен к двухнедельному тюремному заключению.

Адвокат Барричини, не удовлетворенный исходом этого дела, повернул свои батареи в другую сторону. Он откопал какой-то старый документ и на основании его начал оспаривать у полковника право на владение ручьем, приводившим в движение мельницу. Начался длинный процесс. В конце года палата уже была готова произнести свой приговор и, по всем признакам, в пользу полковника, как вдруг Барричини вручил королевскому прокурору письмо за подписью некоего Агостини, знаменитого бандита, который грозил ему, мэру, пожаром и смертью, если он не откажется от своих претензий. Известно, что на Корсике очень многие добиваются покровительства кого-нибудь из бандитов и что бандиты, чтобы угодить своим друзьям, нередко вмешиваются в частные распри. Мэр старался извлечь из этого письма пользу; в это время новое обстоятельство усложнило дело. Бандит Агостини написал королевскому прокурору письмо, в котором жаловался на то, что подделали его почерк и тем набросили тень на его нравственные правила, ославив его челове-

ком, торгующим своим влиянием. «Если я найду поддельвателя, то примерно накажу его», – так кончал он свое письмо.

Было ясно, что Агостини не писал угрожающего письма мэру. Тогда делла Реббиа обвинил в подлоге Барричини и *vice versa*¹⁹. Обе стороны разражались угрозами, и правосудие не знало, где найти виновных.

Тем временем полковник Гильфуччо был убит. Вот факты в том виде, как они были установлены следствием. 2 августа 18 ** года, под вечер, женщина по имени Маддалена Пьетри, несшая в Пьетранеру пшеницу, услышала два выстрела, быстро следовавшие один за другим и раздавшиеся, как ей показалось, у дороги, ведущей в деревню, шагах в полтораста от того места, где она находилась. Почти тотчас же после этого она увидела человека, бежавшего, согнувшись, по тропинке между виноградниками к деревне. Этот человек на мгновение остановился и обернулся, но расстояние не позволило Пьетри различить его черты, а кроме того, он держал во рту виноградный лист, закрывавший ему почти все лицо. Он сделал знак рукой товарищу, которого свидетельница не видела, и потом исчез в винограднике.

Пьетри, оставив свою ношу, взбежала по тропинке и нашла полковника делла Реббиа плававшим в крови, простреленным двумя пулями, но еще дышавшим. Возле него лежало ружье, заряженное и со взведенным курком: казалось, что он хотел защищаться от кого-то, напавшего на него спереди,

¹⁹ Наоборот (*лат.*).

а в это мгновение другой поразил его в спину. Он хрипел и боролся со смертью, но не мог выговорить ни слова; врачи объяснили это тем, что у него были ранены легкие. Кровь душила его; она текла медленно и была похожа на алую пену. Напрасно Пьетри приподняла его и начала расспрашивать. Видно было, что он хотел говорить, но не мог произнести ни слова. Заметив, что он старается поднести руку к карману, женщина поспешила вынуть оттуда маленькую записную книжку и, открыв ее, подала ему. Раненый вытащил из книжки карандаш и попытался что-то написать. Свидетельница ясно видела, что он с трудом написал что-то, но так как она не умела читать, то и не могла понять, что там написано. Устав от напряжения, полковник вложил книжку в руку Пьетри и сильно сжал эту руку, смотря на женщину со странным выражением, как будто бы он хотел сказать ей (таковы подлинные слова свидетельницы): «Это очень важно, это имя моего убийцы!»

У деревни Пьетри встретила г-на мэра Барричини с сыном Винцентелло. Пьетри рассказала им о том, что видела. Мэр взял книжку и побежал в мэрию надеть шарф и позвать секретаря и жандармов. Оставшись одна с Винцентелло, Мадалена Пьетри предложила ему пойти помочь полковнику на случай, если он еще жив, но Винцентелло ответил, что если он приблизится к человеку, который был лютым врагом его семейства, то его непременно обвинят в убийстве. Скоро пришел мэр, нашел полковника мертвым, приказал убрать

труп и составил протокол.

Несмотря на свое, естественное в подобном случае смущение, г-н Барричини поспешил опечатать книжку полковника и принять все зависевшие от него меры для расследования дела, но ни одна из них не привела к какому-нибудь важному открытию. Когда приехал следователь, распечатали записную книжку и на окровавленной странице увидели несколько букв, написанных слабеющей рукой, однако довольно разборчиво. Написано было *agosti..*, и следователь не сомневался, что полковник хотел указать на Агостини как на своего убийцу. Между тем вызванная судьей Коломба делла Реббиа попросила посмотреть записную книжку. Она долго перелистывала ее и наконец, протянув руку к мэру, закричала: «Вот убийца!» И с удивительными при ее отчаянии точностью и ясностью она рассказала, что ее отец несколько дней тому назад получил письмо от сына и сжег его, но перед этим он записал карандашом в своей записной книжке адрес Орсо, который только что перешел в другой гарнизон. Этого адреса теперь в книжке не было, и Коломба заключила из этого, что мэр вырвал листок, на котором он был написан и на котором ее отец написал имя своего убийцы; это имя, по словам Коломбы, мэр подменил именем Агостини. Следователь в самом деле увидел, что в той тетрадке, в которой было написано имя, не хватает одного листка, но скоро он заметил, что листков не хватает и в других тетрадках той же книжки, а свидетели показывали, что у полковника

была привычка вырывать листки из своей книжки для закуривания сигары; весьма вероятно, что он сжег нечаянно и записанный им адрес. Кроме того, оказалось, что мэр, получив книжку от Пьетри, не мог ничего прочесть, так как было темно; было доказано, что он не останавливался ни на минуту, прежде чем вошел в мэрию, что жандармский бригадир вошел туда вместе с ним и видел, как он зажег лампу, положил книжку в конверт и запечатал у него на глазах.

Когда бригадир дал свое показание, Коломба вне себя бросилась перед ним на колени и заклинала его всем, что у него есть святого, сказать, не оставлял ли он на мгновение мэра одного. После некоторого колебания бригадир, видимо, тронутый возбуждением молодой девушки, признался, что он искал в соседней комнате большой лист бумаги, но что он не пробыл там и минуты и что мэр говорил с ним все время, пока он ощупью искал бумагу в выдвижном ящике. Впрочем, он засвидетельствовал, что когда он вернулся, то книжка была на том месте, на столе, куда, входя, бросил ее мэр.

Г-н Барричини давал показания совершенно спокойно. Он говорил, что извиняет увлечение синьоры делла Реббиа и соглашается снизить до того, чтобы оправдываться. Он доказал, что целый вечер был в деревне, что его сын Винчензелло в момент преступления был вместе с ним подле мэрии, наконец, что его сын Орландуччо, заболевший в этот самый день лихорадкой, не вставал с постели. Он предъявил все ру-

жья, бывшие в его доме: ни одно из них не носило следов недавнего выстрела. Он прибавил, что тотчас же понял важное значение записной книжки, что он запечатал ее и отдал своему помощнику, предвидя, что за его вражду с полковником подозрение может пасть на него. Наконец, он напомнил, что Агостини угрожал смертью тому, кто написал письмо от его имени, и намекнул, что этот негодяй убил полковника, вероятно, заподозрив его. Такого рода месть вполне в нравах корсиканских бандитов.

Пять дней спустя после смерти полковника делла Реббиа Агостини, захваченный врасплох отрядом стрелков, после отчаянной схватки был убит. На нем нашли письмо Коломбы, которая заклинала его сказать, виновен он или нет в убийстве ее отца. Бандит не отвечал, и из этого заключили, что у него не хватило духу сказать дочери, что убил он. Однако люди, по их словам, хорошо знавшие характер Агостини, говорили потихоньку, что если бы он убил полковника, то стал бы хвастать этим. Другой бандит, известный под именем Брандолаччо, прислал Коломбе письмо, в котором он *своею честью* ручался за невиновность товарища, но единственным приводимым им доказательством было то, что Агостини никогда не говорил ему, что подозревает полковника.

В конце концов Барричини перестали беспокоить, следовательно осыпал мэра похвалами, и мэр завершил свое прекрасное поведение отказом от всех притязаний на ручей, из-

за которого он вел процесс с полковником делла Реббиа.

По местному обычаю Коломба сымпровизировала *ballata* перед трупом отца и при собравшихся друзьях. Она вдохнула в нее всю свою ненависть к Барричини и прямо обвинила их в убийстве, грозя им мезтью своего брата. Это была та самая *ballata*, сделавшаяся очень популярной, которую пел матрос при мисс Лидии. Узнав о смерти отца, Орсо, бывший тогда на севере Франции, подал просьбу об отпуске, но не мог получить его. Сначала, по письму сестры, он поверил в виновность Барричини, но скоро получил копию со всех документов следствия, и частное письмо следователя почти убедило его, что единственным виновником был бандит Агости-ни. Целых три месяца Коломба писала ему, повторяя свои подозрения, называя их доказательствами. Против его воли эти обвинения волновали его корсиканскую кровь, и случилось, что он был почти готов согласиться с сестрой. Однако во всех своих письмах он повторял ей, что ее обвинения не имеют никаких веских доказательств и не заслуживают никакого доверия. Он даже запрещал ей говорить об этом деле, но тщетно. Так прошло два года; его перевели на половинное жалованье, и тогда он подумал о возвращении на родину; он хотел вернуться не для того, чтобы мстить людям, которых он считал невиновными, а чтобы выдать замуж сестру и продать свое маленькое имение, если за него можно будет выручить сумму, достаточную для жизни на континенте.

Глава 7

Оттого ли, что приезд сестры живее напомнил Орсо родной очаг, или оттого, что ему было стыдно в присутствии своих цивилизованных друзей за костюм и дикие повадки Коломбы, он объявил на другой день свое решение покинуть Аяччо и отправиться в Пьетранеру. Однако он взял с полковника обещание, когда тот поедет в Бастию, захватить погостить под его скромным кровом и в награду за это обещал ему охоту на ланей, фазанов, кабанов и прочее.

Накануне отъезда Орсо предложил, вместо того чтобы идти на охоту, прогуляться по берегу залива. Взяв под руку мисс Лидию, он мог разговаривать с нею совершенно свободно, потому что Коломба осталась в городе для покупок, а полковник постоянно оставлял их, чтобы стрелять чаек и глупышей, к великому удивлению прохожих, не понимавших, как можно тратить порох на такую дичь.

Они шли по дороге, ведущей к греческой церкви; оттуда самый лучший вид на залив, но они не обращали на него никакого внимания.

– Мисс Лидия, – сказал Орсо после утомительно долгого молчания, – скажите откровенно, что вы думаете о моей сестре?

– Она мне очень нравится, – отвечала мисс Лидия. – Больше, чем вы, – прибавила она, улыбаясь, – потому что она на-

стоящая корсиканка, а вы чересчур цивилизованный дикарь.

– Цивилизованный!.. С тех пор как я вступил на этот остров, я чувствую, что против своей воли снова становлюсь дикарем. Самые ужасные мысли волнуют и мучают меня... мне нужно поговорить с вами, прежде чем я заберусь в свою пустыню.

– Надо быть мужественнее; посмотрите, как покорна судьбе ваша сестра, и берите с нее пример.

– Ах, не обманывайте себя! Не верьте в ее покорность судьбе. Она не сказала мне еще ни слова, но в каждом ее взгляде я читаю, что меня ожидает.

– Чего же она хочет наконец от вас?

– О, ничего... только чтобы я попробовал, так же ли хорошо ходить с ружьем вашего батюшки на человека, как на куропаток!

– Что за мысль! И вы можете предположить это, когда вы только что признались, что она еще ничего не сказала вам? Но это ужасно с вашей стороны!

– Если бы она не думала о мести, она с самого начала стала бы говорить со мной об отце, чего она не сделала. Она произнесла бы имена тех, кого она считает – ошибочно, конечно – его убийцами. Но ведь нет! Ни одного слова! Это, видите ли, оттого, что мы, корсиканцы, хитрый народ. Она понимает, что не вполне держит меня в своей власти, и не хочет спугнуть меня, пока я могу еще убежать. Но когда она подведет меня к пропасти и у меня закружится голова, она

толкнет меня в бездну.

И Орсо рассказал мисс Невиль подробности смерти своего отца и познакомил ее с главными доказательствами, совокупность которых заставляла его считать убийцей Агостини.

– Ничто, – прибавил он, – не могло убедить Коломбу. Я видел это из ее последнего письма. Она поклялась отомстить Барричини и... – Мисс Невиль! Видите, как я откровенен с вами? – может быть, их уже не было бы на свете, если бы вследствие одного из своих предрассудков, извинительных при ее диком воспитании, она не была убеждена, что исполнение мести принадлежит мне, как главе семьи, и что тут задета моя честь.

– Право, вы клеветеете на свою сестру, господин делла Реббиа, – сказала мисс Невиль.

– Нет, вы сами сказали, что она корсиканка... Она думает, как они все... Знаете ли, отчего я был вчера так печален?

– Нет, но с некоторого времени на вас находят эти припадки меланхолии... Вы были лучше в первые дни нашего знакомства.

– Вчера, напротив, я был веселее и счастливее, чем обыкновенно. Я видел, что вы так добры, так снисходительны к сестре!.. Мы с полковником возвращались в лодке. Знаете ли, что сказал мне один из лодочников на своем адском наречии? «Вы набили много дичи, Орсо Антон, но вы увидите, что Орландуччо Барричини – охотник получше вас».

– Что же ужасного в этих словах? Разве вы так уж стреми-

тесь прослыть хорошим охотником?

– Но разве вы не понимаете, что этот негодяй говорил, что у меня не хватит храбрости убить Орландуччо?

– Знаете ли, господин делла Реббиа, вы пугаете меня. Кажется, воздух вашего острова не только приносит лихорадку, но и сводит с ума. Хорошо, что мы скоро уезжаем.

– Не раньше, чем вы побываете в Пьетранере. Вы обещали это сестре.

– И если мы не исполним этого обещания, то должны будем ждать какой-нибудь свирепой мести?

– Помните, что рассказывал как-то ваш батюшка об индусах, которые грозят директорам Компании уморить себя голодом, если те не поступят с ними по справедливости?

– То есть вы уморите себя голодом? Сомневаюсь. Вы не будете есть день, а потом мадемуазель Коломба даст вам такой аппетитный *bruccio*²⁰, что вы откажетесь от своего намерения.

– Вы жестоки в своих насмешках, мисс Невиль; вы должны были бы пощадить меня. Вы знаете, я здесь одинок. Только вы могли помешать мне сойти с ума, как вы говорите. Вы были моим ангелом-хранителем, а теперь...

– Теперь, – сказала мисс Лидия серьезным тоном, – чтобы поддержать этот ум, который так легко расстраивается, у вас есть человеческое достоинство, и ваша военная честь, и... –

²⁰ Род вареного сыра из сливок. Национальное корсиканское кушанье. (Прим. авт.)

продолжала она, оборачиваясь, чтобы сорвать цветок, – если это может что-нибудь значить для вас, воспоминание о вашем ангеле-хранителе.

– Ах, мисс Невиль, смею ли я думать, что вы действительно относитесь с участием...

– Послушайте, господин делла Реббиа, – сказала растроганная мисс Невиль, – так как вы ребенок, то я и буду говорить с вами, как с ребенком. Когда я была маленькой девочкой, мать подарила мне хорошенькое ожерелье, которое мне страшно хотелось иметь, но сказала мне: «Всякий раз, как ты наденешь это ожерелье, вспомни, что ты еще не говоришь по-французски...» Ожерелье потеряло в моих глазах часть своей прелести. Оно стало для меня как бы упреком, но я носила его и выучилась по-французски. Видите это кольцо? Это египетский скарабей, найденный, если хотите знать, в пирамиде. Странная фигура, которую вы, может быть, принимаете за бутылку, – это *человеческая жизнь*. У нас на родине есть люди, которые нашли бы, что иероглиф подобран очень хорошо. Вот этот, следующий, – это щит с рукою, держащей копье. Это значит битва, борьба. А соединение двух знаков составляет прекрасный, по-моему, девиз: *жизнь есть борьба*. Не подумайте, что я сама бегло перевожу иероглифы; один ученый с фамилией на *ус* объяснил мне эти знаки. Возьмите, я дарю вам моего скарабея. Когда придет вам в голову какая-нибудь дурная корсиканская мысль, посмотрите на мой талисман и скажите себе, что нужно выйти по-

бедителем из боя с дурными страстями... Право, я недурно проповедую.

– Я подумаю о вас, мисс Невиль, и скажу себе...

– Скажите себе, что у вас есть друг, который будет в отчаянии, если... если узнает, что вы повешены. Кроме того, это очень огорчит господ капралов, ваших предков.

С этими словами она оставила руку Орсо и, подбежав к отцу, сказала:

– Папа, бросьте этих бедных птиц! Пойдемте лучше с нами помечтать в грот Наполеона.

Глава 8

В отъезде всегда есть что-то торжественное, даже если люди покидают друг друга на короткое время. Орсо должен был отправиться со своей сестрой очень рано и попрощался с мисс Лидией накануне, так как не надеялся, что она ради него изменит своим ленивым привычкам. Их прощание было холодно и чинно. Со времени их разговора на берегу моря мисс Лидия боялась показывать Орсо свое, может быть, чересчур живое участие, и Орсо, со своей стороны, принял близко к сердцу ее насмешки и особенно ее несерьезное отношение к нему. Одно время он думал, что заметил в обращении молодой англичанки чувство зарождающейся привязанности; теперь же, смущенный ее шутками, он уверял себя, что в ее глазах он не более как простой знакомый, который будет скоро забыт. Велико было его удивление, когда утром, сев за кофе с полковником, он увидел мисс Лидию, вошедшую с его сестрой. Она встала в пять часов, и это усилие было слишком велико для англичанки, особенно для мисс Лидии, чтобы не польстить его самолюбию.

– Я в отчаянии, что вы потревожили себя так рано, – сказал он. – Это, наверно, сестра разбудила вас, несмотря на мои предупреждения, и вы, должно быть, проклинали нас. Может быть, вы теперь уже хотите, чтобы я был повешен?

– Нет, – сказала мисс Лидия очень тихо и по-итальянски,

очевидно, для того, чтобы отец не понял ее. – Но вы рассердились на меня вчера за мои невинные шутки, и я не хотела, чтобы вы унесли с собою дурную память обо мне. Какие вы, корсиканцы, ужасные люди! Ну, до свидания, надеюсь, ненадолго.

И она протянула ему руку.

Орсо вместо ответа мог только вздохнуть. Коломба подошла к нему, увела его в амбразуру окна и, показывая ему что-то под *мещаро*, несколько времени тихо говорила с ним.

– Сестра хочет сделать вам странный подарок, мисс, – сказал Орсо мисс Невиль, – но нам, корсиканцам, нечем дарить... кроме привязанности, которую не уничтожает время. Сестра сказала мне, что вы с любопытством рассматривали этот стилет. Это фамильная древность. Вероятно, он когда-нибудь висел на поясе одного из тех капралов, которым я обязан честью быть знакомым с вами. Коломба считает его такой драгоценностью, что попросила у меня позволения подарить его вам; а я, право, не знаю, согласиться ли на это – боюсь, как бы вы не посмеялись над нами.

– Прелестный стилет, – сказала мисс Лидия, – но это – фамильное оружие, и я не могу принять его.

– Этот стилет не моего отца! – воскликнула Коломба. – Он был подарен одному из предков моей матери королем Теодором²¹. Если мадемуазель Лидия примет его, она доставит

²¹ Барон Теодор Стефан Нейгор, родом из Меца, известный авантюрист прошлого века, так называемый «единственный корсиканский король». Ему удалось

нам большое удовольствие.

– Видите, мисс Лидия, – сказал Орсо, – не презирайте королевского стилета.

Для любителя вещь короля Теодора бесконечно драгоценнее, чем вещь более могущественного монарха. Искушение было сильно; мисс Лидия уже видела, какой эффект произведет это оружие на лаковом столике в ее комнате на Сент-Джемс-Плейс.

– Но, милая мадемуазель Коломба, – сказала она, беря стилет с колебанием человека, который хочет принять подарок, и самым любезным образом улыбаясь Коломбе, – я не могу... я не смею оставить вас безоружною в дороге.

– Со мною мой брат, – гордо возразила Коломба, – и у нас славное ружье, что подарил нам ваш отец... Орсо, вы зарядили его?

Мисс Лидия оставила у себя стилет, и Коломба потребовала в уплату за него один су, чтобы отвратить опасность, которой подвергаются дарящие друзьям режущее или колющее оружие.

Наконец нужно было ехать. Орсо пожал еще раз руку мисс Невиль. Коломба поцеловала ее, после чего подставила свои розовые губки полковнику, приведенному в совершенное изумление корсиканскою вежливостью. Из окна залы мисс Лидия видела, как брат и сестра сели на лошадей. Глаза Ко-

ненадолго провозгласить себя королем Корсики в 1736 году. Он умер в тюрьме в Лондоне в 1755 году, посаженный туда за долги. (Прим. пер.)

ломбы блестяли радостью, которой мисс Лидия до сих пор не замечала. Эта высокая, сильная девушка, фанатично преданная своим варварским понятиям, с надменным челом, увозящая этого молодого человека, вооруженного как будто бы для какого-нибудь страшного дела, напомнила ей опасения Орсо, и ей казалось, что она видит его злого гения, увлекающего его к гибели. Орсо заметил ее, уже сидя на лошади. Потому ли, что он угадал ее мысль, или для того, чтобы послать ей последний прощальный привет, он взял египетский перстень, висевший у него на шнурке, и поднес его к губам. Мисс Лидия, краснея, отошла от окна, но тут же вернулась и увидела, что корсиканцы галопом мчатся на своих маленьких лошадаках по направлению к горам. Полчаса спустя полковник показал ей в свою зрительную трубу, как они огибают залив, и ей видно было, что Орсо часто оборачивается. Наконец он исчез за болотами, на месте которых теперь прекрасный древесный питомник.

Мисс Лидия, посмотрев в зеркало, нашла, что она бледна.

– Что должен думать обо мне этот молодой человек? – сказала она. – И что я думаю о нем? И отчего я о нем думаю? Дорожное знакомство?.. Зачем я приехала на Корсику? О, я его вовсе не люблю... Нет, нет, да это и невозможно. А Коломба... Я невестка *voceratrice*, которая ходит с большим стилетом!

И тут Лидия заметила, что держит в руке стилет короля Теодора. Она бросила его на свой туалетный столик.

– Коломба в Лондоне, танцующая у Эльмака²²! Великий боже! Это будет настоящая львица²³! Она может произвести фурор... Он любит меня, я уверена в этом... Он герой романа, и я прервала его полную приключений карьеру... Но есть ли у него действительно желание отомстить за отца по-корсикански? Он представлял собой нечто среднее между Конрадом и денди... Я сделала из него чистого денди – денди, у которого корсиканский портной!..

Она легла и хотела уснуть, но так и не заснула. Я не берусь продолжать ее длинный монолог, в котором она сотни раз повторяла себе, что делла Реббиа был, есть и будет для нее ничто.

²² Известные в те времена публичные балы в Лондоне. (Прим. пер.)

²³ В те времена в Англии так называли людей, отличавшихся чем-нибудь необыкновенным. (Прим. авт.)

Глава 9

Тем временем Орсо ехал со своей сестрой. Быстрый бег лошадей сначала мешал им говорить, но, когда слишком трудные подъемы заставляли их ехать шагом, они обменивались несколькими словами о только что покинутых друзьях. Коломба с восторгом говорила о красоте мисс Невиль, о ее белокурых волосах, о ее изящных манерах. Потом она спросила, действительно ли полковник так богат, как кажется, и одна ли у него дочь мисс Лидия.

– Эта была бы хорошая партия, – говорила она. – Ее отец, кажется, очень расположен к вам...

И так как Орсо ничего не отвечал, то она продолжала:

– Наш род когда-то был богат; и теперь еще он один из самых почтенных на острове; все эти *signori*²⁴ незаконнорожденные. Если на Корсике есть еще знать, то только в капральских родах, и ведь вы знаете, Орсо, что вы происходите от первых капралов острова. Вы знаете, что наши предки родом из-за гор²⁵ и что войны заставили нас перейти на эту сторону. Если бы я была на вашем месте, Орсо, я не колебалась

²⁴ *Signori* называются потомки феодальных владельцев Корсики. Они и потомки *caporali* соперничают между собой в знатности. (Прим. авт.)

²⁵ То есть с восточного берега острова. Это весьма распространенное выражение, *di la monti*, изменяет свой смысл смотря по тому, где его употребляют. Корсика разделена горной цепью, идущей с севера на юг. (Прим. авт.)

бы, я просила бы руки мисс Невиль у ее отца... (Орсо пожал плечами.) На ее приданое я купила бы Фальсеттские леса и виноградники под ними; я построила бы прекрасный дом из тесаного камня и надстроила бы на один этаж старую башню, в которой Самбукуччо побил столько мавров во времена графа Арриго Бель Миссере²⁶.

– Коломба, ты с ума сошла! – воскликнул Орсо, продолжая скакать.

– Вы мужчина, Орс Антон, и вы, без сомнения, лучше женщины знаете, что вам делать. Но мне очень хотелось бы знать, что может сказать этот англичанин против вашего союза? Есть ли в Англии капралы?

Разговаривая таким образом, после довольно длинного переезда, брат с сестрою приехали в маленькую деревню недалеко от Боконьяно, где и остановились пообедать и переночевать у одного из друзей своего дома. Их приняли с корсиканским гостеприимством, которое может оценить только испытавший его. На другой день хозяин, кум г-жи делла Реббиа, проводил их на одну милю от своего дома.

– Видите эти леса и маки? – сказал он Орсо на прощание. – Человек, с которым случилось несчастье, мирно прожил бы здесь десять лет, и жандармы и стрелки не пришли бы его искать. Эти леса доходят до Виццавонского леса, и ес-

²⁶ *Филлиппики*, книга II. Граф *Arrigo Bei Missere* умер около 1000 года; говорят, что, когда он умирал, в воздухе раздался голос, пропевший следующие пророческие слова: *E morte il conte Arrigo Bel Missere. E Corsica sara di male in peggio.* (Умер граф Арриго Бель Миссере, и теперь Корсике придется плохо.) (Прим. авт.)

ли в Боконьяно или в окрестностях есть друзья, то у него ни в чем не будет недостатка. У вас славное ружье; оно должно далеко бить. Клянусь кровью мадонны, какой калибр! Этим можно убить что-нибудь получше кабана.

Орсо холодно ответил, что его ружье – английское и очень хорошо бьет дробью. Они расцеловались и пустились в путь, каждый в свою сторону.

Наши путешественники были уже недалеко от Пьетранеры, когда у въезда в ущелье, через которое им надо было проехать, они увидели шесть или восемь человек с ружьями; одни из них сидели на камнях, другие лежали на траве; некоторые были на ногах и, казалось, караулили. Неподалеку паслись их лошади. Коломба посмотрела на них в зрительную трубу, вынутую ею из большой кожаной сумки, – такие сумки все корсиканцы берут с собой в дорогу.

– Это наши люди! – весело воскликнула она. – Пьеруччо хорошо исполнил поручение.

– Какие люди? – спросил Орсо.

– Наши пастухи, – ответила она. – Третьего дня я послала Пьеруччо собрать этих молодцов, чтобы они проводили вас до дома. Вам было бы неприлично въехать в Пьетранеру без конвоя, а, кроме того, вы должны знать, что Барричини способны на все.

– Коломба, – сказал Орсо строгим тоном, – я много раз просил тебя не говорить мне больше о Барричини и о твоих неосновательных подозрениях. Я, конечно, не буду так сме-

шон, чтобы вернуться домой с этой толпой лентяев, и я очень недоволен тем, что ты собрала их, не предупредив меня.

– Брат, вы забыли свою страну. Если вы неблагоразумно подвергаете себя опасности, то я должна вас беречь. Я должна была сделать то, что сделала.

В это время пастухи заметили их, побежали к своим лошадям и прискакали к Коломбе и Орсо.

– *Evviva*²⁷, Орс Антон! – закричал здоровый старик с седой бородой, одетый, несмотря на жару, в дорожный плащ с капюшоном из корсиканского сукна мохнатее козьей шерсти. – Вылитый отец, только он выше и сильнее. Славное ружье! Об этом ружье еще будут разговоры, Орс Антон.

– *Evviva*, Орс Антон! – повторили хором все пастухи. – Мы отлично знали, что он вернется!

– Ах, Орс Антон! – говорил высокий малый с лицом кирпичного цвета. – Как был бы рад ваш отец, если б был здесь, на вашей встрече! Славный человек! Вы бы увидели его, если бы он верил мне, если бы он позволил мне разделаться с Джудиче... Храбрый человек! Он не поверил мне, а ведь теперь он хорошо знает, что я был прав.

– Ладно! – вмешался старик. – Джудиче недолго будет ждать.

– *Evviva*, Орс Антон!

И вместе с этим криком раздались ружейные выстрелы.

Рассерженный Орсо несколько времени не мог заставить

²⁷ Привет (*um.*).

слушать себя эту толпу всадников, говоривших разом и теснившихся, чтобы пожать ему руку. Наконец, приняв на себя вид, с каким, бывало, он являлся перед своим взводом, когда делал выговоры и сажал под арест, он сказал:

– Друзья, благодарю вас за любовь ко мне, за любовь к моему отцу; но я требую, я хочу, чтобы никто не давал мне советов. Я знаю, что мне делать.

– Он прав, он прав! – закричали пастухи. – Можете на нас рассчитывать.

– Да, я рассчитываю на вас; но теперь мне не нужно никого, и ничто не грозит моему дому. Начните с того, что сделайте направо кругом и отправляйтесь к своим козам. Я знаю дорогу в Пьетранеру, и мне не нужно провожатых.

– Не бойтесь ничего, Орс Антон, – сказал старик, – *они* не осмелятся показаться сегодня. Мышь прячется в нору, когда приходит кот.

– Сам ты кот, старая седая борода, – сказал Орсо. – Как тебя зовут?

– Как! Вы не знаете меня, Орс Антон? Меня, того самого, что так часто сажал вас за собой на том муле, что кусался? Вы не знаете Поло Гриффо? Как видите, он молодчина и предан делла Реббиа телом и душой. Скажите слово, и, когда ваше большое ружье заговорит, этот старый мушкет, ровесник своему хозяину, не станет молчать. Рассчитывайте на это, Орс Антон.

– Хорошо, хорошо! Но, черт возьми, уходите, дайте доро-

гу.

Пастухи наконец удалились, крупной рысью направляясь к деревне; но время от времени они останавливались на всех возвышенных местах, как будто для того, чтобы посмотреть, нет ли какой-нибудь скрытой засады, и все время держались недалеко от Орсо и его сестры, чтобы быть в состоянии помочь им в случае нужды. А старый Поло Гриффо говорил своим товарищам:

– Я понимаю его, я его понимаю. Он не говорит, что хочет делать, но он сделает. Копия своего отца. Ладно! Говори, что ты ни на кого не сердишься! Ты дал обет святой Нере²⁸. Bravo! Я не дал бы и медного гроша за шкуру мэра. Месяца не пройдет, а из нее уже нельзя будет сделать меха.

Таким образом, с разведчиками впереди, потомок рода делла Реббиа въехал в свою деревню и достиг древнего жилища своих предков-капралов.

Долгое время остававшиеся без вождя реббианисты толпою вышли к нему навстречу, а все нейтральные жители деревни стояли на пороге своих домов, чтобы видеть, как он проедет. Барричинисты сидели по домам и глядели в щели ставен.

Местечко Пьетранера построено очень неправильно, как и все корсиканские деревни; чтобы увидеть настоящую улицу, надо ехать в Карджезе, селение, построенное г-ном Мар-

²⁸ Такой святой нет в католических святцах. Дать обет св. Нере – значит ни в чем не сознаваться. (Прим. авт.)

бефом. Дома, рассеянные как бы случайно и без малейшей планировки, занимают вершину небольшого холма или, скорее, горное плато. Недалеко от середины местечка возвышается большой зеленый дуб; возле дуба стоит гранитное корыто; деревянная труба проводит в него воду из соседнего ключа. Это полезное сооружение было построено на общий счет делла Реббиа и Барричини, но жестоко ошибется тот, кто увидит в этом указание на некогда существовавшее согласие между двумя родами. Напротив, тут действовала взаимная зависть. Как-то раз полковник делла Реббиа послал в муниципальный совет небольшую сумму на устройство фонтана; Барричини поспешил предложить такое же пожертвование, и этой борьбе великодушия Пьетранера обязана своей водой. Вокруг зеленого дуба и фонтана – небольшое пустое пространство, называемое площадью; праздные люди собираются здесь по вечерам. Иногда тут играют в карты, а раз в год, во время карнавала, танцуют. На двух противоположных концах площади возвышаются постройки, высокие, но узкие, сделанные из гранита и шифера. Это *баши* двух враждующих семейств – делла Реббиа и Барричини. Они одинаковой архитектуры и равной высоты; видно, что судьба еще не решила соперничества в пользу какого-нибудь одного из враждующих родов.

Может быть, теперь уместно объяснить, что нужно подразумевать под словом *башия*. Это квадратная постройка футов сорока вышины; в другой стране ее назвали бы попросту

голубятней. Узкая дверь открывается на восемь футов ниже поверхности земли; к ней ведет очень крутая лестница. Над дверью окно; перед ним что-то вроде балкона с пробитым внизу отверстием, похожим на бойницу, через которое можно безнаказанно убить нескромного гостя. Между окном и дверью видны два грубо высеченных щита. На одном когда-то был гемуэзский крест, но он весь избит молотом, и только антикварий мог бы разобрать его. На другом щите высечен герб владельцев башни. Прибавьте, чтобы дополнить картину, на щитах и наличниках окна несколько следов пуль, и вы будете иметь понятие о средневековом корсиканском жилище. Я забыл сказать, что жилые постройки примыкают к башням и часто сообщаются с ними изнутри.

Башня и дом делла Реббиа занимают северную сторону площади Пьетранеры; башня и дом Барричини – южную. От северной башни до фонтана – вот место прогулки для делла Реббиа; Барричини гуляют на другой стороне. Со времени похорон жены полковника ни разу не видели, чтобы кто-нибудь из членов двух семейств показался не на той стороне площади, которая была назначена ему каким-то молчаливым согласием. Чтобы не делать крюка, Орсо хотел проехать перед домом мэра; Коломба предостерегла его и попросила проехать к дому переулком, не пересекая площади.

– Зачем? – сказал Орсо. – Разве площадь существует не для всех?

И он пришпорил лошадь.

– Храброе сердце! – сказала тихонько Коломба. – Отец, ты будешь отмщен...

Выехав на площадь, Коломба держалась между домом Барричини и своим братом и все время зорко смотрела на вражеские окна. Она заметила, что они с недавнего времени забаррикадированы и что в них устроены *archere*. Так называются узкие отверстия вроде бойниц, открывающиеся между толстыми бревнами, загораживающими нижнюю часть окна. Боясь нападения, люди таким образом укрепляются; тогда можно стрелять в нападающих из-за прикрытия.

– Труссы! – сказала Коломба. – Посмотрите, брат, они уже начинают остерегаться. Они загородились, но ведь когда-нибудь придется выйти!

Появление Орсо на южной стороне площади произвело на Пьетранеру большое впечатление и было принято за доказательство смелости, граничащей с дерзостью. Для нейтральных жителей, собравшихся вечером около зеленого дуба, оно послужило темой для бесконечных комментариев.

– Счастлив он, – говорили там, – что еще не вернулись сыновья Барричини; они не так терпеливы, как адвокат, и не пропустили бы врага через свою землю, не заставив его заплатить за дерзость.

– Попомните, что я вам скажу, сосед, – прибавил старик, местный оракул. – Я приглядывался сегодня к Коломбе. У нее что-то есть на уме. В воздухе пахнет порохом. Скоро свежее мясо будет дешево в Пьетранере.

Глава 10

Орсо расстался с отцом в детстве и не успел как следует узнать его. В пятнадцать лет он уехал из Пьетранеры в Пизу учиться, а затем поступил в военную школу. Гильфуччо в это время сражался в Европе под императорскими знаменами. На континенте Орсо виделся с ним редко и только в 1815 году попал в полк, которым командовал отец. Но строго соблюдавший дисциплину полковник обращался с сыном, как и со всеми остальными молодыми поручиками, то есть очень сурово. Орсо вспоминал, как в Пьетранере отец отдавал ему саблю, позволял разрядить ружье, когда возвращался с охоты, или как он в первый раз посадил его, мальчишку, за семейный стол. Потом он представлял себе полковника делла Реббиа, как он посылал его, Орсо, под арест за какой-нибудь необдуманный поступок и не называл иначе, как поручик делла Реббиа: «Поручик делла Реббиа, вы не на своем месте в строю; на трое суток под арест», «Ваши стрелки выдвинулись на пять метров за линию резерва; на пять суток под арест», «Пять минут первого, а вы еще в фуражке; на восемь суток под арест»... Один только раз, под Катр-Бра, он сказал ему: «Хорошо, Орсо, но будь осторожнее». Впрочем, Пьетранера возбудила в нем совсем не эти позднейшие воспоминания. Вид мест, где протекло его детство, мебель, на которой сживала его нежно любимая мать, возбудили

в его душе тихое, болезненное волнение; мрачное будущее, готовившееся ему, смутное беспокойство, внушавшееся ему сестрой, и над всем этим мысль, что мисс Невиль скоро придет в его дом, казавшийся ему теперь таким маленьким, таким бедным, таким неподходящим для особы, привыкшей к роскоши, презрение, которое, может быть, зародится в ней от этого, — все эти мысли образовали в его голове какой-то хаос и навели на него глубокое уныние.

Он сел ужинать в большое кресло из потемневшего дуба, на котором обыкновенно председательствовал за семейным столом его отец, и улыбнулся, видя, как Коломба колеблется, сесть ли ей за стол вместе с ним или нет. Впрочем, он был очень доволен ее молчанием во время ужина и ее быстрым уходом после него, потому что он чувствовал себя еще слишком растроганным, чтобы сопротивляться, без сомнения, готовившимся на него атакам. Но Коломба щадила его и хотела дать ему время осмотреться. Опершись головою на руку, он долго оставался неподвижным, перебирая в уме сцены последних двух недель. Он с ужасом думал о том, что все ждут от него каких-то действий по отношению к Барричини. Он уже чувствовал, что мнение Пьетранеры начинает становиться для него общественным мнением. Он должен был мстить под страхом прослыть трусом. Но кому мстить? Он не мог поверить, что Барричини виновны в убийстве. Правда, они были враги его рода, но нужно было разделять грубые предрассудки земляков, чтобы приписывать убийство Бар-

ричины. Он смотрел на талисман мисс Невиль и тихо повторял его девиз: «Жизнь есть борьба». Наконец он твердо сказал себе: «Я выйду из нее победителем!» С этой прекрасною мыслью он встал и, взяв лампу, хотел подняться в свою комнату, как вдруг кто-то постучался в дверь. Время было не такое, чтобы ждать гостей. Тотчас же явилась Коломба; за ней шла служанка.

– Это свои, – сказала она, подбегая к двери.

Однако, прежде чем отворить, она спросила, кто стучится.

– Это я! – ответил тоненький голос.

Поперечный деревянный засов был тотчас снят, и Коломба опять явилась в столовую, ведя за собой девочку лет десяти, босоногую, в рубище, с головой, покрытой рваным платком, из-под которого выбивались длинные космы черных, как вороново крыло, волос. Девочка была худа, бледна, обожжена солнцем, но в ее глазах сверкал живой ум. Увидя Орсо, девочка робко остановилась и по-деревенски низко поклонилась ему; потом она стала тихо говорить что-то Коломбе и подала ей только что убитого фазана.

– Спасибо, Кили, – сказала Коломба. – Поблагодари своего дядю. Он здоров?

– Здоров, барышня. Я не могла прийти раньше, потому что он очень опоздал. Я ждала его в *маки* три часа.

– И ты не ужинала?

– Нет, барышня, мне было некогда.

– Тебе сейчас дадут поужинать. У твоего дяди еще есть

хлеб?

– Мало, барышня, но особенно ему нужен порох. Каштаны поспели, и теперь ему нужен только порох.

– Я дам тебе для него хлеба и пороху. Скажи ему, чтобы он берег его: он дорог.

– Коломба, – сказал Орсо по-французски, – кому это ты так покровительствуешь?

– Одному бедному бандиту из нашей деревни, – отвечала Коломба на том же языке. – Эта крошка – его племянница.

– Мне кажется, ты могла бы найти кого-нибудь более достойного. Зачем посылать порох негодяю, который употребит его на преступление? Без этой печальной слабости, которую, кажется, все питают к бандитам, они давно бы уже исчезли на Корсике.

– Самые дурные люди нашей родины вовсе не те, что *в поле*²⁹.

– Давай им, если хочешь, хлеб; в нем нельзя отказывать никому, но я не хочу, чтобы их снабжали патронами.

– Брат, – серьезно сказала Коломба, – вы здесь хозяин и все в доме ваше; но предупреждаю вас, что я скорее отдам этой девочке свой *mezzaro*, чтобы она продала его, чем откажу бандиту в порохе. Отказать бандиту в порохе! Да это все равно что выдать его жандармам! Какая у него от них защи-

²⁹ *Быть в поле (alla camragna)* – значит быть бандитом. Бандит не бранное слово: оно употребляется в смысле *изгнанный*, это outlaw английских баллад. (Прим. авт.)

та, кроме патронов?

Девочка в это время с жадностью ела хлеб и внимательно смотрела то на Коломбу, то на ее брата, стараясь уловить в выражении их лиц смысл их речей.

– Но что же сделал, наконец, твой бандит? Из-за какого преступления он убежал в *маки*?

– Брандолаччо не совершил никаких преступлений! – воскликнула Коломба. – Он убил Джована Опиццо, который убил его отца, когда сам он был в армии.

Орсо отвернулся, взял лампу и, не отвечая, поднялся в свою комнату. Коломба дала девочке пороху и провизии и проводила ее до двери, повторяя:

– Пусть твой дядя хорошенько бережет Орсо!

Глава 11

Орсо долго не мог заснуть и поэтому проснулся очень поздно, по крайней мере для корсиканца. Как только он встал, первое, что бросилось ему в глаза, был дом его врагов и *archere*, которые они устроили. Он спустился и спросил, где сестра.

– Льет на кухне пули, – отвечала ему служанка Саверия.

Итак, он не мог сделать шага, чтобы его не преследовал образ войны.

Он застал ее сидящей на скамейке; вокруг нее лежали только что отлитые пули. Она обрезывала их.

– Какого черта ты тут делаешь? – спросил ее брат.

– У вас совсем нет пуль для ружья полковника, – отвечала она своим нежным голосом. – Я нашла пулелейку такого калибра, и сегодня у вас будет двадцать пять патронов.

– Слава богу, я не нуждаюсь в них.

– Скверно, если вас застигнут врасплох. Вы забыли свой край и окружающих вас людей.

– Если б я и забыл, то ты мне об этом все время напоминаешь. Скажи мне, не пришел ли несколько дней тому назад большой сундук?

– Да, брат. Хотите, я внесу его в вашу комнату?

– Ты внесешь? Да тебе никогда его не поднять... Нет ли здесь для этого какого-нибудь мужчины?

– Я совсем не так слаба, как вы думаете, – сказала Коломба, засучивая рукава и открывая белые и круглые красивые руки, показывавшие, однако, недюжинную силу. – Пойдем, Саверия, – сказала она служанке, – помоги мне.

И она уже поднимала одна тяжелый сундук, но Орсо поспешил помочь ей.

– В этом сундуке есть кое-что для тебя, моя милая Коломба. Прости меня за такие бедные подарки, но у поручика на половинном жалованье не слишком набит кошелек.

Говоря это, он открыл сундук и вынул из него платья, шаль и еще кое-какие вещи, которые могли пригодиться молодой девушке.

– Какая прелесть! – воскликнула Коломба. – Я сейчас же спрячу их. Я сберегу их к своей свадьбе, – прибавила она с печальной улыбкой, – а то ведь я теперь в трауре.

И она поцеловала у брата руку.

– Так долго носить траур, сестра, – это уж слишком.

– Я поклялась в этом, – твердо сказала Коломба. – Я не сниму траура...

И она посмотрела в окно на дом Барричини.

– ...раньше дня своей свадьбы, – перебил ее Орсо.

– Я выйду замуж, – сказала Коломба, – только за того, кто сделает три вещи.

И она продолжала мрачно смотреть на дом врагов.

– Я удивляюсь, как ты, такая хорошенькая, не вышла до сих пор замуж. Ты должна рассказать мне, кто ухаживает за

тобой. Впрочем, я и сам наслушаюсь серенад. Они должны быть хороши, чтобы понравиться такой великой *voceratrice*, как ты.

– Кто захочет взять бедную сироту? А кроме того, человек, который снимет траур с меня, оденет в траур вон тех женщин.

«Это – помешательство!» – подумал Орсо. Но он не сказал ничего, чтобы избежать спора.

– Брат, – ласково сказала Коломба, – я тоже хочу предложить вам кое-что. Ваше платье слишком хорошо для нашей страны. Ваш нарядный сюртук изорвется в клочки в два дня, если вы будете носить его в *маки*. Его нужно беречь для приезда мисс Невиль. – Потом, открыв шкаф, она достала оттуда полный охотничий костюм. – Я сделала вам бархатную куртку, а вот шапка, какую носят наши щеголи; я ее уже давно вышила. Хотите примерить?

И она заставила его надеть на себя широкую куртку из зеленого бархата с огромным карманом на спине. Она надела ему на голову остроконечную черную бархатную шапку, расшитую черным стеклярусом и шелком, с чем-то вроде кисти на конце.

– Вот *carchera*³⁰ нашего отца, – сказала она, – его стилет в кармане вашей куртки. Сейчас я достану пистолет.

– У меня вид настоящего разбойника из театра Амбигю

³⁰ *Carchera* – пояс, куда вкладывают патроны. С левой стороны к нему привешивают пистолет. (Прим. авт.)

Комик, – говорил Орсо, смотрясь в маленькое зеркальце, которое подала ему Саверия.

– Это потому, что к вам все это так идет, Орсо Антон, – говорила старая служанка, – и самый красивый *pinsuto*³¹ из Боконьяно или из Бастелики не смотрит таким молодцом.

Орсо завтракал в своем новом платье и за завтраком сказал сестре, что в его сундуке есть книги, что он хочет выписать еще из Франции и Италии и заставить ее учиться.

– Стыдно, Коломба, – прибавил он, – что такая взрослая девушка, как ты, не знаешь вещей, которые на континенте знают чуть ли не грудные дети.

– Правда, брат, – ответила Коломба, – я хорошо знаю, чего мне недостает, и очень хочу учиться, особенно если вы будете давать мне уроки.

Прошло несколько дней, и Коломба не произносила имени Барричини. Она ухаживала за братом и часто говорила ему о мисс Невиль. Орсо заставлял ее читать итальянские и французские книги и удивлялся то правильности и меткости ее суждений, то ее глубокому невежеству в самых простых вещах.

Однажды утром после завтрака Коломба на минуту вышла и вместо того, чтобы вернуться с книгой и бумагой, явилась со своим *mezzaro* на голове. Она была еще серьезнее, чем обыкновенно.

³¹ *Pinsuto* (остроконечный, островерхий) зовут тех, кто еще носит остроконечную шапку, *baretta pinsuta*. (Прим. авт.)

– Брат, – сказала она, – я прошу вас пойти со мною.

– Куда тебя проводить? – спросил Орсо, предлагая ей руку.

– Мне не нужно вашей руки, брат; возьмите с собой ваше ружье и патронную сумку. Мужчина никогда не должен выходить без оружия.

– Ну что ж! Нужно подчиняться моде. Куда мы идем?

Коломба, не отвечая, обмотала *мещаро* вокруг головы, позвала собаку и вышла. Орсо шел за нею.

Быстро пройдя деревню, она пошла по дороге, извиравшейся между виноградниками, а собаку послала вперед, сделав знак, вероятно, хорошо знакомый ей, потому что пес сейчас же принялся делать зигзаги по виноградникам, шагах в пятидесяти от своей хозяйки, иногда останавливаясь посреди дороги, чтобы, виляя хвостом, посмотреть на Коломбу. Видимо, он прекрасно исполнял обязанности разведчика.

– Если Мускетто залает, – сказала Коломба, – взведите курки и не двигайтесь с места.

В полумиле от деревни, после многих извилин, Коломба вдруг остановилась в том месте, где дорога делала крутой поворот. Тут возвышалась небольшая пирамида из веток; некоторые были зелены, другие высохли; они были навалены кучей около трех футов вышины. На верхушке торчал конец деревянного, выкрашенного черной краской креста. Во многих корсиканских округах, особенно в горах, существует весьма древний, может быть, имеющий связь с язы-

ческими суевериями обычай – проходя мимо места, где кто-нибудь погиб насильственной смертью, бросать на него камень или ветку. В течение многих лет, пока воспоминание о трагической смерти живет еще в памяти людей, это странное жертвоприношение растет с каждым днем. Оно называется *кучей*, *tiscchio* такого-то.

Коломба остановилась перед этой кучей листвы и, оторвав ветку от куста, присоединила ее к пирамиде.

– Орсо! – сказала она. – Здесь умер наш отец. Брат! По-молимся за его душу!

И она стала на колени. Орсо сделал то же. В эту минуту медленно прозвонил деревенский колокол, потому что в ту ночь кто-то умер. Орсо залился слезами.

Через несколько минут Коломба поднялась с сухими глазами, но с взволнованным лицом; она торопливо перекрестилась большим пальцем, как обыкновенно крестятся ее земляки, сопровождая этим знаком свои торжественные клятвы; потом она пошла к деревне, увлекая брата. Они молча вернулись домой. Орсо поднялся к себе в комнату. Минуту спустя за ним вошла Коломба с маленькой шкатулкой в руках и поставила ее на стол. Она открыла ее и вынула оттуда рубашку, покрытую большими кровавыми пятнами.

– Вот рубашка вашего отца, Орсо. – И она бросила ее к нему на колени. – Вот свинец, поразивший его. – И она положила на рубашку две ржавые пули. – Орсо, брат мой! – закричала она, кидаясь к нему и сжимая его в объятиях. –

Орсо, ты отомстишь за него?

Она до боли крепко поцеловала его, коснулась губами пуль и рубашки и вышла из комнаты; брат ее словно окаменел.

Несколько времени Орсо оставался неподвижным; он не решался убрать эти ужасные реликвии. Наконец, сделав над собой усилие, он положил их в шкатулку и, отбежав в другой конец комнаты, кинулся на свою постель и повернулся к стене, уткнувшись головой в подушку, как будто хотел спрятаться от привидения. Последние слова сестры беспрестанно раздавались в его ушах и казались ему роковым, неизбежным пророчеством, требовавшим от него крови, и невинной крови. Я не пытаюсь передать чувства несчастного молодого человека; они походили на чувства помешанного. Долго он оставался в том же положении, не смея повернуть голову. Наконец он встал, запер шкатулку, быстро вышел из дому и пошел, сам не зная куда.

Мало-помалу чистый воздух освежил его; он успокоился и уже хладнокровнее взглянул на свое положение и на средства выйти из него. Как известно, он совсем не подозревал в убийстве Барричини, но он обвинял их в подделке письма бандита Агостини и думал, что это было причиной смерти его отца. Он сознавал, что невозможно преследовать их за подлог. Когда предрассудки или инстинкты родной страны овладевали им и напоминали ему о легкой мести из-за угла, он с ужасом отгонял от себя эту мысль и вспоминал о своих

полковых товарищах, о парижских знакомствах и особенно о мисс Невиль. Потом он думал об упреках сестры, и, то, что осталось в его природе корсиканского, оправдывало эти упреки и делало их больнее. У него оставалась одна надежда в этой борьбе между совестью и предрассудками: начать под каким-нибудь предлогом ссору с одним из сыновей адвоката и драться с ним на дуэли. Убить его пулей или ударом кинжала – это примиряло корсиканские и французские понятия Орсо. Найдя средство и думая о его выполнении, он уже чувствовал себя избавленным от тяжелой обузы, а от других, более светлых мыслей успокаивалось его лихорадочное волнение. Цицерон, будучи в отчаянии от смерти своей дочери Туллии, забыл свое горе, перебирая в уме все прекрасные слова, какие он мог сказать по этому поводу. Шенди, потеряв сына, тоже нашел утешение в красноречии. Орсо охладил свою кровь, подумав о том, как он изобразит мисс Невиль свое душевное состояние и какое глубокое участие примет в нем эта прекрасная девушка.

Он уже приближался к деревне, от которой незаметно отошел очень далеко, как вдруг услышал на дорожке, на опушке *маки*, голос девочки, певшей что-то и, без сомнения, думавшей, что она одна. Это был медленный, монотонный похоронный напев.

«Моему сыну, моему сыну в далекой стране сберегите мой крест и окровавленную рубашку...» – пела девочка.

– Что ты поешь, девочка? – гневно спросил внезапно по-

завившийся перед ней Орсо.

– Это вы, Орс Антон? – вскрикнула немного испуганная девочка. – Это песня синьоры Коломбы...

– Я запрещаю тебе петь ее, – грозно сказал Орсо.

Девочка, поворачивая голову то вправо, то влево, казалось, искала, куда бы ей скрыться; она, без сомнения, убежала бы, если бы не забота о довольно большом свертке, лежавшем у ее ног.

Орсо устыдился своей свирепости.

– Что ты несешь, малютка? – спросил он, стараясь говорить как можно ласковее.

И так как Килина колебалась, ответить или нет, то он развернул тряпку и увидел хлеб и другую провизию.

– Кому несешь хлеб, милая? – спросил он.

– Вы сами знаете: моему дяде.

– Да ведь твой дядя бандит!

– Он ваш слуга, Орс Антон.

– Если жандармы встретят тебя, они спросят, куда ты идешь.

– Я скажу им, – не колеблясь ответила девочка, – что несу поесть луккским дровосекам в *маки*.

– А если ты встретишь какого-нибудь голодного охотника, который захочет пообедать на твой счет и отберет у тебя провизию?

– Никто не посмеет. Я скажу, что это моему дяде.

– Это верно, он не такой человек, чтобы позволить отнять

у себя обед... Он тебя очень любит?

– О да, Орсо Антон! С тех пор как мой папа умер, он заботится о нашей семье: о маме, обо мне и о маленькой сестренке. Перед маминой болезнью он говорил богатым, чтобы они давали ей работу. Мэр каждый год дарит мне платья, а священник учит меня читать и закону божию, с тех пор как дядя попросил их об этом. Но особенно добра к нам ваша сестра.

В это время на дорожке показалась собака. Девочка поднесла ко рту два пальца и резко свистнула: собака сейчас же подбежала к ней и приласкалась; потом она быстро исчезла в *маки*. Вскоре два плохо одетых, но хорошо вооруженных человека выросли за деревом в нескольких шагах от Орсо. Можно было подумать, что они приблизились ползком, как ящерицы, в чаше ладанников и миртов.

– А! Орсо Антон! Добро пожаловать! – сказал старший. – Как, вы не узнаете меня?

– Нет, – сказал Орсо, всматриваясь в него.

– Потеха просто, как борода и островерхая шапка меняют человека! Ну, поручик, посмотрите-ка хорошенько. Или вы забыли старых ватерлооских товарищей? Разве вы не помните Брандо Савелли? Не один патрон скусил он около вас в этот несчастный день.

– Как! Это ты? – сказал Орсо. – Ты ведь дезертировал в тысяча восемьсот шестнадцатом году?

– Так точно, поручик. Надоедает, знаете, служба; ну и счет

один мне нужно было свести в этой стране. А, Кили! Ты молодец, девчонка. Давай скорее, мы есть хотим. Вы, поручик, понятия не имеете, какой бывает аппетит в *маки*. Кто нам это прислал, синьора Коломба или мэр?

– Нет, дядя, это мельничиха дала мне для вас вот это, а для мамы одеяло.

– Чего ей от меня нужно?

– Она говорит, что луккские дровосеки, которых она наняла расчищать участок, просят с нее тридцать пять су на ее каштанах, потому что в Пьетранере лихорадка.

– Лентяи! Я проверю... Не церемоньтесь, поручик; не хотите ли пообедать с нами? Мы обеживали вместе и похуже во времена нашего бедного земляка, которому дали отставку.

– Спасибо. Мне тоже дали отставку.

– Да, я слышал об этом; но бьюсь об заклад, что вы не очень этим огорчены... Ну, патер, – сказал бандит товарищу, – за стол. Синьор Орсо, позвольте представить вам патера; то есть я не знаю наверно, патер ли он, но он ученый, как патер.

– Бедный студент-богослов, которому помешали следовать своему призванию, – сказал другой бандит. – Как знать, Брандолаччо? Я мог бы быть папой...

– Какая же причина лишила церковь ваших познаний? – спросил Орсо.

– Пустяки. Счет, который нужно было свести, как говорит мой друг Брандолаччо: одна моя сестра наделала глупостей,

покуда я зубрил в Пизанском университете. Мне нужно было возвратиться на родину, чтобы выдать ее замуж, но жених поспешил умереть за три дня до моего приезда. Я обратился тогда, как вы бы и сами сделали на моем месте, к брату умершего. Мне говорят, что он женат. Что делать?

– В самом деле, затруднительное положение. Как же вы поступили?

– В таких случаях нужно прибегать к ружейному кремню³².

– То есть вы...

– Я вlepил ему пулю в лоб, – холодно сказал бандит.

Орсо содрогнулся. Однако любопытство, а также, может быть, желание оттянуть время возвращения домой заставили его остаться на месте и продолжать разговор с этими двумя людьми, у каждого из которых было по крайней мере по убийству на совести.

Пока товарищ говорил, Брандолаччо положил перед ним кусок хлеба и мяса; потом он взял сам; потом оделил своего пса Бруско, которого он отрекомендовал как существо, одаренное удивительным инстинктом узнавать стрелков, как бы они ни переоделись. Наконец он отрезал ломтик хлеба и кусочек сырой ветчины и дал племяннице.

– Хороша жизнь бандита! – воскликнул студент-богослов, съев несколько кусков. – Вы, милостивый государь, может быть, когда-нибудь изведаете ее, и тогда вы увидите, как от-

³² *La scaglia* – очень употребительное выражение. (Прим. авт.)

радно не знать над собой иной власти, кроме своей прихоти. – Тут бандит, говоривший до сих пор по-итальянски, продолжал по-французски: – Корсика для молодого человека страна не очень веселая, но для бандита – совсем другое дело! Женщины от нас с ума сходят. У меня, например, три любовницы в трех разных кантонах. Я везде у себя дома. И одна из них – жена жандарма.

– Вы хорошо знаете языки, милостивый государь, – серьезно сказал Орсо.

– Если я заговорил по-французски, то это, видите ли, потому, что *maxima debetur pueris reverentia*³³. Мы с Брандолаччо хотим, чтобы девочка вела себя хорошо и шла прямой дорогой.

– Когда ей будет пятнадцать лет, я выдам ее замуж, – сказал дядя Килины. – У меня есть уже в виду и жених.

– Ты сам будешь сватать? – спросил Орсо.

– Конечно. Вы думаете, что если я скажу какому-нибудь здешнему богачу: мне, Брандо Савелли, было бы приятно видеть Микелину Савелли за вашим сыном, – вы думаете, что он заставит тащить себя за уши?

– Я бы ему этого не посоветовал, – сказал другой бандит. – У товарища рука тяжеленька: он сумеет заставить себя слушаться.

– Если бы я был, – продолжал Брандолаччо, – плутом, канальей, вымогателем, мне стоило бы только открыть свою

³³ При детях надо вести себя особенно прилично (лат.).

сумку, и пятифранковики посыпались бы дождем.

– В твоей сумке есть что-нибудь привлекающее их? – спросил Орсо.

– Ничего нет; но напиши я какому-нибудь богачу, как делают некоторые: мне нужно сто франков – он сейчас же пришлет мне их. Но я честный человек, поручик.

– Знаете ли, синьор делла Реббиа, – сказал бандит, которого товарищ называл патером, – знаете ли вы, что в этой стране, где живут простодушные люди, все-таки есть мерзавцы, извлекающие выгоду из того уважения, которое мы внушаем нашими паспортами (он указал на свое ружье), и добывающие векселя, поддельвая нашу подпись?

– Я это знаю, – отрывисто сказал Орсо, – но какие векселя?

– Полгода тому назад я прогуливался недалеко от Ореццы; подходит ко мне какой-то мужик, издали снимает шапку и говорит: «Ах, господин патер, – они все меня так зовут, – простите меня. Дайте мне срок: я мог найти только пятьдесят пять франков, но, право, это все, что я мог собрать». Я в совершенном изумлении говорю ему: «Что это значит, бездельник? Какие пятьдесят пять франков?» – «Я хочу сказать, шестьдесят пять, – ответил он мне, – но дать сто, как вы просите, невозможно». – «Как, негодяй? Я прошу у тебя сто франков? Да я тебя не знаю!» Тогда он подает мне письмо или, скорее, грязный клочок, в котором ему предлагают положить в указанном месте сто франков, грозя, что в против-

ном случае Джоканто Кастрикони – это мое имя – сожжет его дом и перебьет у него коров. И имели наглость подделать мою подпись! Что меня взбесило больше всего, так это то, что письмо было полно орфографических ошибок; я – и орфографические ошибки! Я, получавший в университете все награды! Я начал с того, что дал мужику такую затрещину, что он два раза перевернулся. «А, ты считаешь меня за вора, мерзавец этакий!» – говорю ему и даю здорового пинка ногой... знаете куда. Сорвал зло и говорю ему: «Когда ты должен отнести эти деньги в назначенное место?» – «Сегодня же». – «Ладно, неси!» Положить надо было под сосной; место было точно указано. Он несет деньги, зарывает их под деревом и возвращается ко мне. Я засел неподалеку. Я провел с этим человеком шесть томительных часов. Синьор делла Реббиа, если бы было нужно, я просидел бы там трое суток. Через шесть часов является *bastiaccio*³⁴, подлый вымогатель. Он наклоняется за деньгами; я стреляю; и я так хорошо прицелился, что он, падая, уткнулся головой прямо в деньги, которые выкапывал. «Теперь, болван, – говорю я мужику, – бери свои деньги и не вздумай еще когда-нибудь подозревать Джоканто Кастрикони в низости». Бедняга, дрожа, подобрал свои шестьдесят пять франков и даже не потрудился их вытереть; он благодарит меня, я прибавляю ему на прощание

³⁴ Корсиканцы, живущие в горах, презирают жителей Бастии и не считают их земляками. Они никогда не говорят о них *bastiese*, а всегда *bastiaccio*; известно, что окончание *accio* обычно употребляется в презрительном смысле. (Прим. авт.)

пинок, и он убегает.

– Ах, патер! – сказал Брандолаччо. – Я завидую такому выстрелу. Воображаю, как ты смеялся!

– Я попал *bastiaccio* в висок, – продолжал бандит, – это напоминает мне стихи Вергилия:

...Liquefacto tempora plumbo

Diffidit, ac multa porrectum extendit arena³⁵.

Liquefacto! Верите ли вы, синьор Орсо, что свинцовая пуля расплавляется от быстроты своего полета в воздухе! Вы учились баллистике и, наверно, должны сказать мне: правда это или заблуждение?

Орсо предпочитал разобрать этот вопрос из физики, чем спорить с лицензиатом о нравственности его поступков. Брандолаччо, которого совсем не занимало это научное рассуждение, прервал его замечанием, что солнце скоро сядет.

– Так как вы, Орс Антон, не захотели обедать с нами, то я советую вам не заставлять ждать себя синьору Коломбу. Да и не всегда хорошо... бегать по дорогам, когда солнце село. Однако зачем вы ходите без ружья! В этих местах есть дурные люди, берегитесь! Сегодня вам нечего бояться. Барричини везут к себе префекта; они перехватили его по дороге, и он остановится на один день в Пьетранере, он едет в Корте «закладывать первый камень», как они это называют... Че-

³⁵ Он рассек ему расплавленным свинцом висок и распростер на песке (*лат.*).

пуха! Сегодня он ночует у Барричини, но завтра они будут свободны. Один – Винчентелло, негодный повеса, другой – Орландуччо, который нисколько не лучше. Постарайтесь застать их не вместе, сегодня одного, завтра другого; но предупреждаю, будьте осторожны.

– Благодарю за совет, – сказал Орсо, – но только нам с ними не о чем спорить; пока они сами не придут ко мне, у меня к ним нет дела.

Бандит высунул язык и щелкнул им с ироническим видом, но не ответил ничего. Орсо встал, чтобы идти.

– Кстати, – сказал Брандолаччо, – я не поблагодарил вас за порох: он пришелся мне очень кстати. Теперь мне ничего не нужно... то есть мне нужны башмаки, но их я на днях сделаю себе из муфлоновой кожи.

Орсо сунул в руку бандита две пятифранковые монеты.

– Порох прислала тебе Коломба, а это тебе на башмаки.

– Без глупостей, поручик! – воскликнул Брандолаччо, отдавая ему деньги. – Что я, нищий? Я беру хлеб и порох, но не хочу ничего другого.

– Я думал, что старым солдатам можно помогать друг другу. Ну, до свидания!

Но перед тем, как уйти, он незаметно положил деньги в сумку бандита.

– До свидания, Орс Антон! – сказал богослов. – Может быть, на днях мы встретимся в *маки* и опять будем штудировать Вергилия.

Уже с четверть часа как оставил Орсо своих почтенных товарищей и вдруг услышал, что кто-то изо всей мочи бежит за ним. Это был Брандолаччо.

– Это уж чересчур, поручик, – закричал он, задыхаясь, – право, чересчур! Вот ваши десять франков. Будь это кто-нибудь другой, я не спустил бы ему эту шалость. Кланяйтесь от меня синьоре Коломбе. Я из-за вас совсем запыхался. Покойной ночи.

Глава 12

Орсо нашел Коломбу немного встревоженной его долгим отсутствием, но, увидя его, она опять приняла свое обычное выражение спокойной грусти. За ужином они говорили о маловажных вещах, и Орсо, ободренный спокойным видом сестры, рассказал ей о своей встрече с бандитами и рискнул даже немного подшутить над нравственным и религиозным воспитанием Килины, о котором заботились ее дядя и его почтенный сотоварищ, синьор Кастрикони.

– Брандолаччо честный человек, – сказала Коломба, – но о Кастрикони я слышала, что он человек без правил.

– Я думаю, что он вполне стоит Брандолаччо, а Брандолаччо стоит его, – сказал Орсо. – Оба ведут открытую войну с обществом. Одно преступление каждый день толкает их на новые. И, однако, они, может быть, виноваты не больше, чем многие из людей, не живущих в *маки*.

Молния радости блеснула на лице его сестры.

– Да, – продолжал Орсо, – у этих несчастных тоже есть честь своего рода. Их обреч на такую жизнь жестокий предрассудок, а не низкая алчность.

Несколько времени длилось молчание.

– Брат, – сказала Коломба, наливая ему кофе, – вы, может быть, знаете, что сегодня ночью умер Карло Баттиста Пьетри? Он умер от болотной лихорадки.

– Кто это Пьетри?

– Это один из здешних, муж Маддалены, той, что взяла записную книжку у нашего умиравшего отца. Она просила меня прийти побыть у мертвого и спеть что-нибудь. Нужно и вам пойти. Они наши соседи, и в этой вежливости нельзя отказать людям в таком маленьком местечке, как наше.

– Черт возьми! Я не желаю, чтобы моя сестра выступала в роли плакальщицы.

– Орсо, – возразила Коломба, – каждый чтит своих покойников по-своему. *Ballata* досталась нам от предков, и мы должны ценить ее, как древний обычай. У Маддалены нет дара, а старая Фьордиспина, наша лучшая *voceratrice*, больна. Нужно же кому-нибудь спеть *ballata*.

– Ты думаешь, Карло Баттиста не найдет дороги на тот свет, если кто-нибудь не споет над его гробом скверных стихов? Иди туда, если хочешь, Коломба; я пойду с тобой, если ты считаешь это нужным; но прошу тебя, сестра, не импровизируй, это неприлично в твои годы.

– Брат, я обещала. Вы знаете, что здесь такой обычай, и я повторяю вам, что, кроме меня, импровизировать некому.

– Глупый обычай!

– Мне самой тяжело петь. Это напоминает мне все наши несчастья. Завтра я заболею от этого, но идти нужно. Позвольте мне пойти, брат. Вспомните, что в Аяччо вы заставили меня импровизировать для забавы этой англичанки, смеющейся над нашими старыми обычаями. Неужели теперь

мне нельзя сделать того же для бедных людей, которые будут мне за то благодарны и которым это поможет перенести их горе?

– Ну, делай, как знаешь! Держу пари, что ты уже сочинила свою *ballata* и не хочешь, чтобы она пропала даром.

– Нет, брат, я не могу сочинять заранее. Я становлюсь перед покойником и думаю о тех, что остались. У меня навертываются слезы, и я пою, что придет мне в голову.

Все это было сказано так просто, что невозможно было заподозрить в синьоре Коломбе ни тени авторского самолюбия. Орсо уступил и отправился вместе с сестрой в дом Пьетри. Покойник с непокрытым лицом лежал на столе в самой большой комнате. Двери и окна были отворены; множество свечей горело вокруг стола. В головах у покойника стояла вдова; толпа женщин занимала половину комнаты; на другой стороне с обнаженными головами стояли мужчины, пристально глядя на покойника и храня глубокое молчание. Каждый новый посетитель подходил к столу, целовал мертвого³⁶, кивал головой его вдове и сыну и, не говоря ни слова, занимал место в толпе. Время от времени, однако, кто-нибудь из присутствующих нарушал молчание, обращаясь к покойнику с несколькими словами.

– Зачем ты покинул свою добрую жену? – говорила одна из женщин. – Разве она не заботилась о тебе? Чего тебе было нужно? Зачем ты не подождал еще месяц? Твоя сноха пода-

³⁶ Этот обычай и сейчас еще существует в Боконьяно (1840). (Прим. авт.)

рила бы тебе внука.

Высокий молодой человек, сын Пьетри, пожимая холодную руку отца, воскликнул:

– О, зачем ты умер не от *male mortel*³⁷? Мы бы отомстили за тебя!

Это были первые слова, которые услышал Орсо при входе. При виде его толпа раздалась, и слабый шепот любопытства показал, что приход *voceratrice* вызвал нетерпеливое оживление у собравшихся. Коломба поцеловалась с вдовой, взяла ее за руку и оставалась несколько минут погруженной в себя, с опущенными глазами. Потом она откинула *мещаро*, устремила на мертвого пристальный взгляд и, наклонясь над покойником, бледная, почти как мертвец, начала:

– Карло Баттиста! Христос пусть примет твою душу! Жить – значит страдать. Ты идешь в страну, где нет ни солнца, ни холода. Тебе не нужно больше ни топора, ни твоей тяжелой мотыги. Тебе не нужно больше работать. Все дни для тебя с этих пор воскресенье. Карло Баттиста! Христос да упокоит твою душу! Твой сын хозяйничает в твоём доме. Я видела, как упал дуб, высушенный *libessio* (южный ветер). Я думала, что он мертв. Я пришла в другой раз, и его корень пустил отпрыск. Отпрыск сделался дубом, широколиственным дубом. Отдыхай, Мадделё, под его мощными ветвями и думай о том дубе, которого уже нет.

³⁷ *La male mortel* — насильственная смерть. (Прим. авт.)

Тут Маддалена начала громко рыдать, а два или три человека, способные при случае загубить христианскую душу так же хладнокровно, как куропатку, принялись утирать крупные слезы со своих загорелых щек.

Коломба несколько времени продолжала в том же роде, обращаясь то к покойнику, то к его семье, заставляя иногда посредством употребительной в надгробных *ballata* прозопопеи самого мертвеца утешать своих друзей или давать им советы. По мере того, как она импровизировала, ее лицо приняло восторженное выражение и покрылось легким румянцем, от которого еще резче выступили белизна ее зубов и огонь расширившихся зрачков. Это была пифия на своем треножнике. Не считая нескольких вздохов и подавленных рыданий, в теснившейся вокруг нее толпе не было слышно ни малейшего шепота. Хотя на Орсо эта дикая поэзия не могла так действовать, но скоро и он почувствовал себя охваченным общим волнением. Отойдя в темный угол, он плакал, как и сын Пьетри.

Внезапно слушатели встрепенулись, толпа расступилась, и вошло несколько посторонних. По уважению, какое им оказывали, по торопливости, с какою им сейчас же очистили место, было видно, что это важные лица и что их присутствие делало дому особую честь. Однако из уважения к *ballata* никто не сказал им ни слова. Первому из вошедших было лет сорок. По черному фраку, красной ленточке в петлице, по внушительному и уверенному виду в нем сразу

можно было угадать префекта. За ним шел сторбленный старик с желчным лицом; он плохо скрывал за зелеными очками свой боязливый и беспокойный взгляд. На нем был черный, слишком широкий для него фрак, хотя и совсем еще новый, но, очевидно, сделанный много лет назад. Он держался около префекта, и о нем можно было бы сказать, что он хочет спрятаться в его тени. После него вошли двое молодых людей высокого роста, с загорелыми лицами, со щеками, обросшими густыми бакенбардами, с гордыми, надменными глазами, выражавшими наглое любопытство. У Орсо было довольно времени, чтобы забыть лица людей своей деревни, но вид старика в зеленых очках тотчас же пробудил в нем старые воспоминания. Уже одно то, что старик держался все время около префекта, говорило о том, кто он. Это был адвокат Барричини, мэр Пьетранеры, пришедший вместе со своими двумя сыновьями, чтобы дать префекту случай послушать *ballata*. Трудно определить, что происходило в эту минуту в душе Орсо, но присутствие врага возбудило в нем какое-то отвращение, и он больше, чем когда-нибудь, почувствовал себя доступным для подозрений, с которыми долго боролся.

При виде человека, в смертельной ненависти к которому Коломба поклялась, подвижное лицо ее тотчас же приняло злое выражение. Она побледнела; ее голос стал хриплым, начатый стих замер у нее на устах... Но скоро она с новой силой возобновила свою *ballata*:

– Когда ястреб кричит над своим пустым гнездом, скворцы вьются вокруг, насмехаясь над его горем.

Тут послышался сдавленный смех; это смеялись только что пришедшие молодые люди, вероятно, найдя метафору слишком смелую.

– Ястреб проснется, он расправит крылья, он омочит клюв в крови. А ты, Карло Баттиста, – пусть твои друзья скажут тебе последнее прости. Довольно текли их слезы. Одна только бедная сирота не будет плакать. Зачем ей плакать о тебе? Ты уснул во цвете лет, среди своей семьи, готовый явиться перед Всемогущим. Сирота плачет о своем отце, застигнутом подлыми убийцами, пораженном в спину, – об отце, чья кровь краснеет под кучей зеленых листьев. Но она собрала его кровь – благородную и невинную кровь, она разлила ее по Пьетранере, чтобы она стала смертельным ядом. И Пьетранера будет заклеимена, пока виновная кровь не смоет следа невинной.

С этими словами Коломба упала на стул, спустила *mezzaro* на лицо и зарыдала. Женщины в слезах теснились вокруг импровизаторши. Многие из мужчин бросали свирепые взгляды на мэра и его сыновей, некоторые старики роптали на то, что они сюда пришли. Сын покойного протиснулся сквозь толпу и хотел просить мэра как можно скорее уйти, но тот не стал дожидаться этого предложения. Когда он добрался до

двери, его сыновья были уже на улице. Префект сказал молодому Пьетри несколько слов соболезнования и почти тотчас же вышел вслед за ними. Орсо приблизился к сестре, взял ее за руку и увлек из зала.

– Проводите их, – сказал молодой Пьетри своим друзьям, – смотрите, чтобы с ними ничего не случилось!

Двое или трое молодых людей быстро сунули свои стилеты в левые рукава курток и проводили Орсо и его сестру до дверей их дома.

Глава 13

Задыхающаяся, измученная Коломба была не в состоянии вымолвить ни слова. Голова ее лежала на плече брата; она крепко сжимала ему руку. Несмотря на то что Орсо сердился на нее за конец *ballata*, он был слишком встревожен, чтобы сделать ей хотя бы малейший упрек. Он молча ждал конца ее нервного припадка, как вдруг отворилась дверь и перепуганная Саверия вошла и объявила: «Господин префект!» При этом возгласе Коломба, как бы стыдясь своей слабости, встала, опираясь на стул; видно было, как он дрожал под ее рукой.

Префект начал с нескольких банальных извинений за свой несвоевременный визит, выразил сочувствие синьоре Коломбо, упомянул об опасности сильного волнения, высказал порицание обычаю погребальных причитаний, заметил, что талант *voceratrice* усиливает мрак в душе присутствующих, и ловко ввернул легкий упрек содержанию последней импровизации. Потом, изменив тон, он сказал:

– Господин делла Реббиа, я должен передать вам множество приветствий от ваших английских друзей. Мисс Невиль кланяется синьоре Коломбе. У меня есть для вас от нее письмо.

– Письмо от мисс Невиль? – воскликнул Орсо.

– К несчастью, оно не со мной; но оно будет у вас через

пять минут. Ее отец был болен. Одно время мы боялись, что он не выдержит наших ужасных лихорадок. К счастью, теперь он вне опасности, в чем вы убедитесь сами, так как, я думаю, вы скоро увидите с ним.

– Мисс Невиль, вероятно, очень беспокоилась?

– К счастью, она узнала об опасности, когда та была уже далека. Господин делла Реббиа, мисс Невиль много говорила мне о вас и о вашей сестре. – Орсо слегка поклонился. – Она очень расположена к вам обоим. Под внешностью, полной грации, под видимою ветреностью в ней кроется весьма здравый ум.

– Это прелестная особа, – сказал Орсо.

– Я здесь почти по ее просьбе. Никто не знает лучше меня роковой истории, о которой мне не хотелось бы напоминать вам. Так как господин Барричини все еще мэр Пьетранеры, а я префект департамента, то мне не нужно говорить вам, как я смотрю на известные подозрения, которые, если справедливо то, что мне передавали, внушали вам некоторые неблагоразумные лица и которые вы, как мне известно, отвергли с негодованием, какого и следовало ожидать от вашего звания и нрава.

– Коломба, – сказал Орсо и задвигался на стуле, – ты устала. Пойди ляг.

Коломба отрицательно покачала головой. Она успела принять свой обычный, спокойный вид, не отводя, однако, горящих глаз от префекта.

– Господин Барричини, – продолжал префект, – стремитесь прекратить эту, как бы сказать, вражду... то есть это неопределенное положение, в каком вы оба находитесь. Что касается меня, то я буду в восторге, если между вами возникнут отношения, какие должны быть между людьми, созданными, чтобы уважать друг друга.

– Господин префект, – взволнованно перебил Орсо, – я никогда не обвинял адвоката Барричини в убийстве моего отца, но он совершил поступок, который всегда будет мешать мне иметь с ним какие бы то ни было отношения. Он написал подложное угрожающее письмо от имени известного бандита или по крайней мере негласно приписал его моему отцу. Наконец, милостивый государь, это письмо, вероятно, было косвенной причиной смерти отца.

Префект некоторое время собирался с мыслями.

– Что ваш отец верил этому, когда, увлекаемый живостью своего характера, он подал жалобу на Барричини, – это было извинительно, но нельзя допустить подобное ослепление с вашей стороны... Я не говорю о характере Барричини... Вы его совсем не знаете, вы предубеждены против него... но не думайте, чтобы человек, хорошо знающий законы...

– Но, милостивый государь, – сказал Орсо, вставая, – примите в соображение, что сказать: «Это письмо не есть дело рук господина Барричини» – значит приписать его моему отцу. Его честь – моя честь.

– Никто не уверен так, как я, в чести полковника делла

Реббиа, – продолжал префект, – но... автор этого письма теперь известен...

– Кто? – воскликнула Коломба, подступая к префекту.

– Один негодяй, виновный во многих преступлениях, которых вы, корсиканцы, не прощаете, вор, некто Томмазо Бьянки, содержащийся теперь в тюрьме в Бастии, показал, что он автор этого рокового письма.

– Я не знаю этого человека, – сказал Орсо. – Какая у него могла быть цель?

– Это здешний, – сказала Коломба, – брат нашего прежнего мельника. Это негодяй и лгун, не внушающий доверия.

– Вы увидите, – продолжал префект, – почему он в этом заинтересован. Мельник, о котором говорит ваша сестра, – его звали, кажется, Теодоро – арендовал у полковника мельницу, стоявшую на том самом ручье, права на который оспаривал Барричини. Полковник по свойственному ему великодушию не извлекал из мельницы почти никакой выгоды. Томмазо и подумал, что если Барричини завладеет ручьем, то заставит платить значительную аренду; известно, что Барричини любит деньги. Словом, чтобы сделать одолжение брату, Томмазо подделал письмо бандита, вот и вся история! Вы знаете: на Корсике семейные узы так сильны, что иногда толкают человека на преступление... Не угодно ли вам познакомиться вот с этим письмом ко мне от помощника генерального прокурора? Оно подтвердит вам только что сказанное мною.

Орсо пробежал письмо, подробно излагавшее признание Томмазо; Коломба читала его из-за плеча брата.

Прочитав, она закричала:

– Орландуччо Барричини ездил в Бастию месяц тому назад, когда стало известно, что мой брат скоро вернется. Он виделся с Томмазо и купил у него эту ложь.

– Синьора, – с нетерпением в голосе сказал префект, – вы объясняете все гнусными подлогами; разве это – средство узнать истину? Вы, господин делла Реббиа, вы благоразумнее: скажите мне, что вы теперь думаете? Верите ли вы, как верит синьора, что человек, которому грозит нестрогое наказание, с легким сердцем возведет на себя обвинение в подлоге, чтобы сделать одолжение кому-то, кого он не знает?

Орсо внимательно перечитал письмо помощника прокурора, взвешивая каждое слово, потому что с тех пор, как он увидел адвоката Барричини, он почувствовал, что теперь ему труднее убедить себя, чем несколько дней назад. Наконец он был вынужден сознаться, что объяснение кажется ему удовлетворительным. Но Коломба решительно воскликнула:

– Томмазо Бьянки – обманщик! Он не будет осужден или убежит из тюрьмы, я уверена.

Префект пожал плечами.

– Я передал вам, господин делла Реббиа, полученные мною сведения, – сказал он. – Я удаляюсь и советую вам подумать. Я буду ждать, что ваш здравый смысл просветит вас, и надеюсь, что он окажется сильнее догадок вашей сестры.

Орсо, сказав несколько слов в оправдание Коломбы, повторил, что теперь он верит, что единственный виновник – Томмазо.

Префект встал, чтобы уйти.

– Если бы не было так поздно, – сказал он, – я предложил бы вам пойти вместе со мной за письмом мисс Невиль. Вы могли бы сказать Барричини то, что вы только что сказали мне, и все было бы кончено.

– Никогда Орсо делла Реббиа не войдет в дом Барричини! – гневно воскликнула Коломба.

– Ваша сестрица, как видно, *tintinajo*³⁸ своей семьи? – с насмешливым видом спросил префект.

– Милостивый государь, – твердым голосом сказала Коломба, – вас обманывают. Вы не знаете адвоката. Это самый хитрый, самый лукавый человек на свете. Заклинаю вас, не заставляйте Орсо совершить поступок, который покроет его позором.

– Коломба! – закричал Орсо. – Ты совсем с ума сошла!

– Орсо, Орсо! Ради шкатулки, которую я вам дала, умоляю вас, выслушайте меня! Между нами и Барричини кровь; вы не пойдете к ним!

– Сестра!

– Нет, брат, вы не пойдете, или я уйду из этого дома, и вы

³⁸ Так называется баран с колокольчиком, вожак стада; так же в переносном смысле называют того из членов семьи, кто руководит ею во всех важных делах. (Прим. авт.)

никогда не увидите меня... Орсо, жальтесь надо мной!

И она упала на колени.

– Я в отчаянии, – сказал префект, – что синьора Коломба так неблагоприятна. Я уверен, что вы убедите ее.

Он отворил дверь и остановился, ожидая, что Орсо пойдет за ним.

– Я не могу оставить ее теперь, – сказал Орсо. – Завтра, если...

– Я еду очень рано, – сказал префект.

– По крайней мере, брат, подождите до завтрашнего утра! – воскликнула Коломба, сложив руки. – Дайте мне пересмотреть бумаги отца... Вы не можете отказать мне в этом.

– Хорошо, ты посмотришь их сегодня вечером, но по крайней мере не будешь мучить меня потом этой сумасбродной ненавистью... Простите, господин префект... Я и сам чувствую себя так дурно... Лучше завтра.

– Утро вечера мудренее, – сказал префект, уходя. – Я надеюсь, что завтра вся ваша нерешительность пройдет.

– Саверия! – закричала Коломба. – Возьми фонарь и проводи господина префекта. Он отдаст тебе письмо для моего брата.

Она прибавила несколько слов, которые услышала только Саверия.

– Коломба, – сказал Орсо, когда префект ушел, – ты очень огорчила меня. Доколе ты будешь возражать против очевидности?

– Вы дали мне срок до завтра, – ответила она. – У меня очень мало времени, но я еще не теряю надежды.

Она взяла связку ключей и побежала в одну из комнат верхнего этажа. Слышно было, как она стремительно выдвигала ящики и рылась в конторке, в которую полковник делла Реббиа запирает свои важные бумаги.

Глава 14

Саверия долго не возвращалась, и нетерпение Орсо достигло крайнего предела, когда она явилась с письмом, ведя за собой маленькую Килину, протиравшую себе глаза, потому что ее разбудили, когда она только-только успела заснуть.

– Девочка, – сказал Орсо, – что ты так поздно?

– Барышня за мной послала, – ответила Килина.

«Зачем она ей?» – подумал Орсо, но поторопился распечатать письмо мисс Лидии. Килина поднялась к его сестре.

«Мой отец был нездоров, – писала мисс Невиль, – а кроме того, он так ленив на письма, что я должна служить ему секретарем. Вы знаете, что тогда на морском берегу он промочил себе ноги, вместо того чтобы восхищаться с нами видом, а этого на Вашем прекрасном острове совершенно достаточно, чтобы схватить лихорадку. Я отсюда вижу Вашу мину: Вы, без сомнения, ищете свой стилет, но я надеюсь, что другого у вас нет. Итак, у отца была небольшая лихорадка, а я была в большом волнении; префект – я упорно продолжаю находить его очень любезным – прислал нам тоже очень любезного доктора, который в два дня избавил нас от беспокойства: приступ не возобновился, и отец опять мечтает об охоте, но я ему еще не позволяю. Как вы нашли свой горный замок? На месте ли Ваша северная башня? Много ли там привидений? Я спрашиваю Вас обо всем этом потому, что

отец помнит, что Вы обещали ему ланей, кабанов, муфлон-нов... так зовут это странное животное? Отправляясь в Бастию, мы рассчитываем просить Вашего гостеприимства, и я надеюсь, что замок делла Реббиа, хотя и старый и разрушенный, как Вы говорите, не рухнет на нас. Хотя префект так любезен, что, говоря с ним, никогда не чувствуешь недостатка в предметах для разговора (by the by³⁹, мне кажется, что я вскружила ему голову), мы говорили о Вас, господин Орсо. Бастийские юристы прислали ему показание какого-то плута, которого они держат под замком; это показание такового свойства, что может уничтожить ваши последние подозрения; Ваша вражда, которая иногда меня беспокоила, должна теперь кончиться. Вы не можете представить себе, какое это доставило бы мне удовольствие. Когда Вы отправились с прекрасной *vosceratrice*, с ружьем в руках и с мрачным взглядом, Вы показались мне больше корсиканцем, чем всегда... даже слишком корсиканцем. *Basta*⁴⁰, я пишу Вам об этом так подробно, потому что скучаю. Префект, увы, уезжает. Мы пошлем к Вам нарочного, когда поедем в Ваши горы, и я осмелюсь написать синьоре Коломбе и попросить ее приготовить нам *bruccio, ma solenne*⁴¹. Покуда передайте ей от меня душевный привет. Я нашла отличное применение ее стилету: я разрезаю им привезенный с собой роман; но это ужас-

³⁹ Между прочим (*англ.*).

⁴⁰ Довольно (*ит.*).

⁴¹ Сыр по всем правилам искусства (*ит.*).

ное оружие негодует на такое употребление и самым безжалостным образом рвет мою книгу. Прощайте; отец посылает вам *his best love*⁴². Послушайтесь префекта; он даст Вам добрый совет и, мне кажется, свернет с дороги ради Вас; он едет на закладку в Корте; я думаю, что это должно быть очень внушительное зрелище, и мне очень жаль, что я не могу присутствовать при нем. Господин префект в вышитом мундире, в шелковых чулках, в белом шарфе, с лопаткой каменщика в руках!.. И речь!.. Церемония кончится тысячу раз повторенными криками: «Да здравствует король!» Вы будете очень тщеславиться тем, что заставили меня заполнить четыре страницы, но я, милостивый государь, еще раз повторю: мне скучно, и потому я позволяю Вам писать мне весьма пространно. Кстати, я очень удивлена, что Вы до сих пор не сообщили мне о своем благополучном прибытии в Пьетранера-Кэстл.

Лидия

P. S. Прошу Вас, слушайтесь префекта и делайте то, что он Вам скажет. Мы вместе решили, что Вы должны так действовать, – доставьте мне удовольствие».

Орсо перечитал это письмо три или четыре раза, всякий раз сопровождая его бесчисленными комментариями, потом написал длинный ответ и приказал Саверии отнести его к одному из жителей деревни, который в ту же ночь ехал в Аяч-

⁴² Свой сердечный привет (англ.).

чо. Он уже совсем не думал разбирать с сестрой действительные или воображаемые обиды Барричини: письмо мисс Лидии окрасило для него все в розовый цвет, в его сердце не было больше места ни для подозрений, ни для ненависти.

Подождав несколько времени, не сойдет ли вниз сестра, и так и не дождавшись, он ушел спать с таким облегчением, какого давно не испытывал. Коломба, отпустив Килину с тайными приказаниями, провела большую часть ночи в чтении старых бумаг. Незадолго до рассвета кто-то бросил несколько маленьких камешков в ее окно; по этому сигналу она сошла в сад, отворила потайную калитку и ввела в дом двух человек очень подозрительной наружности; прежде всего она позаботилась отвести их на кухню и дать им поесть. Кто были эти люди – сейчас узнаем.

Глава 15

Утром около шести часов слуга префекта постучался у дома Орсо. Принятый Коломбою, он сказал, что префект сейчас едет и ждет ее брата. Коломба, не колеблясь, ответила, что ее брат только что упал с лестницы и вывихнул себе ногу, что, не будучи в состоянии ступить шагу, он умоляет г-на префекта извинить его и будет очень признателен ему, если он будет так добр, что потрудится прийти. Вскоре после этого Орсо спустился вниз и спросил у сестры, не присылал ли за ним префект.

– Он просил вас подождать здесь, – ответила она самым уверенным тоном.

Прошло полчаса, но в доме Барричини не было заметно ни малейшего движения; тем временем Орсо спросил у сестры, не сделала ли она какого-нибудь открытия; она ответила, что все расскажет префекту. Она была очень спокойна, но цвет лица и глаза выдавали лихорадочное волнение.

Наконец отворилась дверь в доме Барричини; префект в дорожном платье вышел первым; за ним шел мэр со своими двумя сыновьями. Велико было изумление пьетранерских обывателей, карауливших с восхода солнца отъезд первого чиновника в департаменте, когда они увидели, как он в сопровождении троих Барричини пересек площадь и вошел в дом делла Реббиа.

– Они мирятся! – закричали деревенские политики.

– Я говорил вам, – прибавил один старик. – Орсо Антонио слишком долго жил на континенте, чтобы поступить решительно.

– Однако, – возразил один реббианист, – заметьте, что ведь Барричини идут к нему. Они просят прощения.

– Это префект одурачил их всех, – отвечал старик, – теперь уже нет мужества в людях, и юноши так же мало заботятся об отцовской крови, как если бы все они были незаконными детьми.

Префект был немного удивлен, увидя, что Орсо на ногах и ходит совершенно свободно. Коломба созналась в своей лжи и попросила извинения.

– Если бы вы остановились в другом месте, господин префект, – сказала она, – то брат еще вчера пошел бы засвидетельствовать вам свое почтение.

Орсо рассыпался в извинениях, уверяя, что он ни при чем в этой нелепой хитрости, которая его глубоко оскорбила. Префект и старик Барричини, казалось, верили искренности его сожалений, доказывавшейся и его смущением, и упреками, обращенными к сестре, но сыновья мэра не были удовлетворены.

– Над нами издеваются! – сказал Орландуччо настолько громко, чтобы его услышали.

– Если бы моя сестра сыграла со мной подобную шутку, – сказал Винчентелло, – я скоро отбил бы у нее охоту повто-

рить ее.

Эти слова и тон, которым они были произнесены, не понравились Орсо и испортили ему настроение. Он обменялся с молодыми Барричини взорами, отнюдь не выражавшими благосклонности.

Тем временем все сели, кроме Коломбы, которая стояла у дверей в кухню. Префект заговорил и после нескольких общих фраз о предрассудках страны напомнил, что в большинстве случаев самая закоренелая вражда основана только на недоразумении. Потом, обращаясь к мэру, он сказал ему, что господин делла Реббиа никогда не верил, что семейство Барричини принимало прямое или косвенное участие в плачевном событии, лишившем его отца; что, правда, он питал некоторые сомнения относительно одной частности процесса, шедшего между двумя семействами, что эти сомнения объяснялись долгим отсутствием г-на Орсо и характером полученных им известий; что, убежденный последними показаниями, он считает себя совершенно удовлетворенным и желал бы вступить с г-ном Барричини и его семейством в дружеские и добрососедские отношения.

Орсо принужденно поклонился; Барричини пробормотал несколько слов, которых никто не расслышал, его сыновья смотрели в потолок. Префект готов был обратиться к Орсо с продолжением речи, которую он начал, обращаясь к Барричини, как вдруг Коломба, вынув из-под косынки несколько бумаг, важно подошла и стала между договаривающимися

сторонами.

– Я с искренним удовлетворением увижу конец войны между нашими двумя семействами, – сказала она, – но, чтобы примирение было полным, нужно объясниться и ничего не оставлять под сомнением... Господин префект, я имела полное право считать показание Томмазо Бьянки подозрительным, так как оно исходит от человека с такой дурной славой... Я сказала, что сыновья синьора Барричини, может быть, видели этого человека в Бастии, в тюрьме...

– Это ложь, – перебил Орландуччо, – я его не видел.

Коломба бросила на него презрительный взгляд и продолжала, по-видимому, очень спокойно:

– Вы объяснили цель, с какой Томмазо угрожал синьору Барричини, желанием сберечь для своего брата Теодора мельницу, которую мой отец отдавал ему внаем за дешевую цену.

– Это ясно, – сказал префект.

– От такого негодяя, как этот Бьянки, всего можно ожидать! – сказал Орсо, обманутый наружным спокойствием своей сестры.

– Подлинное письмо помечено одиннадцатым июля, – продолжала Коломба, и глаза ее заблестели ярче. – Томмазо тогда был у своего брата на мельнице.

– Да, – сказал мэр с некоторым беспокойством.

– Какая же выгода была Томмазо Бьянки? – воскликнула Коломба торжествующе. – Срок аренды его брата истек пер-

вого июля, мой отец не возобновил с ним договора. Вот запись моего отца, вот расторжение, вот письмо одного делового человека из Аяччо, предлагавшего нам нового мельника.

И, говоря это, она подала префекту бумаги.

Все были удивлены. Мэр заметно побледнел. Орсо, нахмутив брови, подошел, чтобы посмотреть бумаги, которые префект очень внимательно читал.

– Над нами издеваются! – воскликнул снова Орландуччо, вставая в гневе. – Пойдем отсюда, отец, нам не нужно было приходить сюда.

Барричини довольно было мгновения, чтобы успокоиться. Он попросил посмотреть бумаги, префект, не говоря ни слова, подал их ему. Тогда, подняв на лоб свои зеленые очки, он пробежал бумаги с довольно равнодушным видом. Коломба в это время смотрела на него глазами тигрицы, видящей, как лань приближается к логовищу ее детенышей.

– Но... – сказал Барричини, опуская свои очки и передавая бумаги префекту, – зная доброту покойного полковника, Томмазо подумал... Он, должно быть, надеялся... что господин полковник передумает отбирать мельницу... И действительно, он удержал за собой мельницу, следовательно...

– Это я оставила ее за ним, – сказала Коломба презрительным тоном. – Мой отец умер, и мне в моем положении нужно было беречь клиентов.

– Однако, – сказал префект, – этот Томмазо признался,

что он написал письмо. Это ясно...

– Для меня ясно то, – перебил Орсо, – что во всем этом деле кроется много всяких подлостей.

– У меня есть еще кое-что, противоречащее уверениям этих господ, – сказала Коломба.

Она отворила дверь в кухню, и тотчас же в залу вошли Брандолаччо, лицензиат богословия и пес Бруско. Оба бандита были безоружны, по крайней мере с виду; на поясах у них были одни патронташи без пистолетов, составляющих их необходимое дополнение. Войдя в залу, они почтительно сняли шапки.

Невозможно представить себе эффект, произведенный их внезапным появлением. Мэр едва не упал навзничь; его сыновья храбро заслонили его, опустив руки в карманы за стилетами. Префект шагнул к двери, а Орсо схватил Брандолаччо за ворот, крича:

– Чего тебе здесь нужно, подлец?

– Это засада! – кричал мэр, пытаясь отворить дверь, но, как потом оказалось, Саверия по приказанию бандитов заперла ее снаружи.

– Добрые люди! – сказал Брандолаччо. – Не бойтесь меня: я вовсе не такой черт, каким кажусь с виду. У нас нет никакого злого умысла. Господин префект, я ваш покорнейший слуга... Осторожнее, поручик, а то вы меня задушите... Мы пришли сюда как свидетели. Ну, патер, говори ты: у тебя язык без костей.

– Господин префект, – сказал лицензиат, – я не имею чести быть с вами знакомым. Я Джоканто Кастрикони, более известный под именем патера. Теперь вы понимаете, с кем имеете дело? Синьора, которую я также не имел счастья знать, передала мне просьбу сообщить ей, что мне известно о некоем Томмазо Бьянки, вместе с которым я сидел три недели тому назад в тюрьме в Бастии. Вот что я могу вам сказать...

– Не трудитесь, – сказал префект, – я не желаю слушать такого человека, как вы... Господин делла Реббиа, я все еще хотел бы думать, что вы ни при чем в этом гнусном заговоре. Но хозяин ли вы в своем доме? Прикажите отпереть эту дверь. Вашей сестре, может быть, придется отдать отчет в ее странных сношениях с бандитами.

– Господин префект! – воскликнула Коломба. – Удостоите выслушать, что скажет этот человек. Вы здесь затем, чтобы оказать всем правосудие, и искать правду – ваша обязанность. Говорите, Джоканто Кастрикони.

– Не слушайте его! – закричали хором трое Барричини.

– Если все будут говорить разом, – сказал бандит, улыбаясь, – то мы друг друга не поймем... Этот Томмазо, о котором идет речь, был в тюрьме моим товарищем – не другом. Его часто там посещал синьор Орландуччо.

– Это ложь! – закричали разом оба брата.

– Два отрицания равны утверждению, – холодно заметил Кастрикони. – У Томмазо были деньги; он ел и пил в свое

удовольствие. Я всегда любил хорошо поест (это еще не худший из моих недостатков) и, несмотря на то что мне было противно общаться с этим негодяем, я много раз позволял себе обедать с ним. В благодарность я предложил ему бежать со мною... Одна малютка... к которой я был благосклонен... доставила мне средства для этого... Я не хочу никого компрометировать... Томмазо отказался, он объявил мне, что он за себя не боится, что адвокат Барричини просил за него всех судей, что он выйдет из тюрьмы белее снега и с деньгами в кармане. Что касается до меня, то я решил подышать свежим воздухом. *Dixi*⁴³.

– Все, что сказал этот человек, от первого до последнего слова, ложь, – решительно повторил Орландуччо. – Если бы мы были в чистом поле, каждый со своим ружьем, он не говорил бы так.

– Вот это уж глупо! – воскликнул Брандолаччо. – Не ссорьтесь с патером, Орландуччо.

– Да выпустите ли вы меня наконец отсюда, господин дельла Реббиа? – сказал префект, топая от нетерпения ногой.

– Саверия, Саверия! – кричал Орсо. – Отвори дверь, черт тебя возьми!

– Минутку, – сказал Брандолаччо. – Уходить надо сперва нам. Господин префект, когда люди встречаются у общих друзей, то, по обычаю, дают друг другу полчаса перемирия.

Префект бросил на него презрительный взгляд.

⁴³ Я кончил (*лат.*).

– Слуга всей честной компании, – сказал Брандолаччо. И, вытянув горизонтально руку, он приказал своей собаке: – Ну, Бруско, прыгни в честь господина префекта.

Пес прыгнул, бандиты проворно забрали на кухне свое оружие, убежали через сад, и по резкому свистку дверь залы отворилась как будто по волшебству.

– Синьор Барричини, – сказал Орсо со скрытой яростью, – я считаю вас за мошенника. Сегодня же я пошлю на вас королевскому прокурору жалобу с обвинением в подлоге и сообщничестве с Бьянки. Может быть, у меня найдется против вас и более тяжкая улика.

– А я, синьор делла Реббиа, подам на вас жалобу с обвинением в засаде и сообщничестве с бандитами. А куда господин префект прикажет жандармам задержать вас.

– Префект исполнит свой долг, – сказал префект строгим тоном. – Он будет следить, чтобы в Пьетранере не был нарушен порядок; он позаботится, чтобы правосудие совершилось. Я говорю это вам всем, господа!

Мэр и Винцентелло уже вышли из залы, а Орландуччо пятился к дверям. Орсо сказал ему тихо:

– Ваш отец – старик, и я раздавил бы его пощечиной. Я назначаю ее вам и вашему брату.

Вместо ответа Орландуччо выхватил стилет и, как бешеный, бросился на Орсо, но прежде, чем он мог пустить в дело свое оружие, Коломба схватила его за руку и скрутила ее, а Орсо, ударив его кулаком по лицу, отбросил на несколько

шагов, так что тот сильно стукнулся о косяк двери. Стилет выпал из руки Орландуччо, но у Винченделло был свой, и он вернулся в комнату. Коломба, схватив ружье, доказала ему, что борьба неравна. Префект стал между врагами.

– До скорого свидания, Орс Антон! – закричал Орландуччо. И, яростно хлопнув дверью, он запер ее на ключ, чтобы дать себе время уйти.

Орсо и префект с четверть часа молча сидели в разных концах зала. Коломба с торжеством победителя смотрела то на того, то на другого, опираясь на ружье, решившее исход дела.

– Какой край! Какой край! – воскликнул, стремительно вставая, префект. – Господин делла Реббиа, вы виноваты. Дайте мне честное слово в том, что вы воздержитесь от всякого насилия и будете ждать, пока суд не решит этого проклятого дела.

– Да, господин префект, я виноват, я ударил этого негодяя. Но раз я его ударил, я не могу отказать ему в удовлетворении, которого он потребует.

– О нет, он не захочет драться с вами... Но если он вас убьет... вы сделали для этого все.

– Мы будем беречься, – сказала Коломба.

– Орландуччо, мне кажется, храбрый мальчик, – сказал Орсо, – и я думаю о нем лучше, господин префект. Он выхватил свой стилет, но на его месте я, может быть, сделал бы то же, и счастлив я, что у сестры не дамская ручка.

– Вы не будете драться! – воскликнул префект. – Я запрещаю вам!

– Позвольте сказать вам, милостивый государь, что в деле чести я не признаю никакого авторитета, кроме своей совести.

– Я говорю вам, что вы не будете драться.

– Вы можете арестовать меня, господин префект... то есть если я дамся. Но и в этом случае вы только отсрочите неизбежное дело. Вы понимаете, что такое честь, господин префект, и хорошо знаете, что иначе и быть не может.

– Если вы прикажете арестовать брата, – прибавила Коломба, – то половина деревни вступится за него, и у нас будет славная перестрелка.

– Предупреждаю вас, господин префект, и умоляю вас не думать, что это пустая угроза, предупреждаю вас, что, если Барричини злоупотребит своею властью мэра и прикажет меня арестовать, я буду защищаться.

– С этого дня, – сказал префект, – Барричини некоторое время не будет исполнять свои обязанности. Я надеюсь, что он оправдается... Послушайте, господин делла Реббиа, я принимаю в вас участие. Я прошу у вас очень немного: не выходите из дома до моего возвращения из Корте; я проезжу только три дня; я возвращусь с королевским прокурором, и мы разберем это печальное дело. Обещаете ли вы до тех пор воздерживаться от каких бы то ни было враждебных действий?

– Я не могу обещать вам этого – я думаю, что Орландуччо вызовет меня на дуэль.

– Как, вы, французский офицер, вы будете драться с человеком, которого вы подозреваете в подлоге?

– Я ударил его, милостивый государь.

– Но если б вы ударили каторжанина и он стал бы требовать от вас удовлетворения, неужели вы бы дрались с ним? Полноте, господин Орсо! Ну хорошо, я прошу у вас еще меньшего: не ищите встречи с Орландуччо... Я позволю вам драться, если он вызовет вас.

– Я нисколько не сомневаюсь в том, что он меня вызовет, но я обещаю, что не дам ему еще пощечины, чтобы побудить его драться.

– Какой край! – повторял префект, расхаживая большими шагами. – Когда же я вернусь во Францию?

– Господин префект, – сказала Коломба самым нежным голосом, – уже поздно; не сделаете ли вы нам честь позавтракать с нами?

Префект не мог удержаться от смеха.

– Я здесь уже слишком долго; это будет похоже на пристрастие... И этот проклятый «первый камень»!.. Мне нужно ехать... Синьора делла Реббиа, виновницей скольких несчастий вы, может быть, стали сегодня.

– По крайней мере, господин префект, вы должны отдать сестре справедливость в том, что ее доказательства вески, и я уверен, вы согласитесь, что они хорошо обоснованны.

– До свидания, господин делла Реббиа, – сказал префект, делая ему прощальный знак рукой. – Предупреждаю вас, что я прикажу жандармскому бригадиру следить за каждым вашим шагом.

Когда префект вышел, Коломба сказала:

– Орсо, вы здесь не на континенте. Орландуччо ничего не смыслит в ваших дуэлях, да, кроме того, этот негодяй и не должен умереть смертью храбрых.

– Коломба, милая моя, ты сильная женщина. Я обязан тебе спасением от доброго удара ножом. Дай мне твою маленькую ручку, я ее поцелую, но, видишь ли, я буду действовать сам. Есть вещи, которых ты не понимаешь. Дай мне позавтракать и, как только уедет префект, прикажи позвать ко мне маленькую Килину, которая, кажется, чудесно исполняет поручения. Мне она нужна, чтобы снести одно письмо.

Пока Коломба присматривала за приготовлениями к завтраку, Орсо поднялся в свою комнату и написал следующую записку:

Вы, вероятно, с нетерпением ждете нашей встречи, точно так же, как и я. Завтра утром мы можем встретиться в долине Аквавива. Я очень хорошо владею пистолетом и не предлагаю Вам этого оружия. Говорят, что Вы хорошо стреляете из ружья; возьмем каждый по двуствольному ружью. Я приду с кем-нибудь из деревни. Если Ваш брат пойдет с Вами, то возьмите другого свидетеля и предупредите меня. Только

в этом случае у меня тоже будут два свидетеля.

Орсо Антонио делла Реббиа

Префект, пробыв около часа у помощника мэра и зайдя на несколько минут к Барричини, отправился в Кортэ в сопровождении только одного жандарма. Четверть часа спустя Килина отнесла письмо, только что прочитанное читателем, и передала его Орландуччо в собственные руки.

Ответа долго не было; он пришел только вечером. Он был подписан Барричини-отцом, который извещал Орсо, что он препроводит письмо с угрозами его сыну к королевскому прокурору. «Я жду с чистой совестью, – прибавлял он в конце, – что скажет правосудие о Вашей клевете».

Между тем пять или шесть пастухов, призванных Коломбой, пришли и заняли башню делла Реббиа. Несмотря на протесты Орсо, в его окнах, выходящих на площадь, устроили *archere*, и целый вечер к нему являлись жители местечка с предложением услуг. Пришло письмо даже от бандита-богослова, который от своего имени и от имени Брандолаччо обещал вступиться, если мэр призовет на помощь жандармов. Он кончал письмо следующим постскриптумом: «Осмелюсь спросить Вас, что думает господин префект о превосходном воспитании, которое дал мой друг псу Бруско. После Килины я не знаю ученика, более послушного и более способного».

Глава 16

Следующий день прошел без враждебных действий. Обе стороны придерживались оборонительной тактики. Орсо не выходил из своего дома, и дверь Барричини была постоянно заперта. Пятеро жандармов, оставленных в Пьетранере в качестве гарнизона, прогуливались по площади или вокруг деревни в сопровождении полевого сторожа, единственного представителя местной стражи. Помощник мэра не снимал с себя шарфа; но, кроме *archere*, в окнах враждующих домов ничто не указывало на войну. Только корсиканец заметил бы, что на площади около зеленого дуба были одни женщины.

Перед ужином Коломба с радостью показала Орсо следующее письмо, только что полученное ею от мисс Невиль:

Дорогая синьора Коломба, я с большим удовольствием узнала из письма Вашего брата, что Ваша вражда кончилась. Поздравляю Вас. Мой отец не может выносить Аяччо с тех пор, как здесь нет Вашего брата, и ему не с кем говорить о войне и охотиться. Мы отправляемся сегодня и будем ночевать у Вашей родственницы, к которой у нас есть письмо. Послезавтра в одиннадцать часов я буду у Вас, и Вы угостите меня Вашим горным *brucisio*, который, как Вы утверждаете, намного лучше городского.

До свидания, дорогая синьора Коломба. Ваш друг
Лидия Невиль.

– Значит, она не получила моего второго письма! – воскликнул Орсо.

– Видно по дате письма, что мисс Лидия должна была быть в дороге, когда ваше пришло в Аяччо. Разве вы писали, чтобы она не приезжала?

– Я писал ей, что мы на осадном положении. По-моему, нам теперь совсем не до гостей.

– Ничего! Эти англичане – странные люди. Она говорила мне в последнюю ночь, когда я спала в ее комнате, что она была бы недовольна, если бы уехала из Корсики, так и не увидев хорошенькой вендетты. Если бы вы захотели, Орсо, можно было бы доставить ей любопытное зрелище: пусть бы она посмотрела, как берут приступом дом наших врагов.

– Знаешь ли, Коломба, – сказал Орсо, – природа ошиблась, сделав из тебя женщину. Из тебя вышел бы отличный военный.

– Может быть. Во всяком случае, я пойду делать *bruccio*.

– Не нужно. Надо послать к ним кого-нибудь предупредить их и остановить, прежде чем они тронутся в путь.

– Да? Вы хотите послать в такую погоду, чтобы какой-нибудь поток унес посланного вместе с вашим письмом? Как мне жаль бедных бандитов в такую грозу! Хорошо еще, что у

них хорошие *piloni*⁴⁴. Знаете что, Орсо? Если гроза кончится, поезжайте завтра пораньше и постарайтесь приехать к нашей родственнице, прежде чем ваши друзья пустятся в путь. Это вам легко будет сделать, потому что мисс Лидия всегда встает поздно. Вы расскажете им, что у нас случилось, а если они будут настаивать на своем приезде, мы будем очень рады принять их.

Орсо поспешил изъявить свое согласие, а Коломба после некоторого молчания заговорила снова:

– Вы, Орсо, может быть, думаете, что я шутила, говоря о нападении на дом Барричини? Вам известно, что мы сильнее – по крайней мере двое на одного? С тех пор как префект отставил мэра, все здешние за нас. Мы могли бы искрошить их. Завязать дело очень нетрудно. Если бы вы захотели, я пошла бы к фонтану и начала бы насмехаться над их женщинами – они бы вышли. Может быть... потому что они такие подлецы... они стали бы стрелять в меня из своих *archere*. Они бы промахнулись. Ну, вот и довольно. Нападающие они. Тем хуже для побежденных. В суматохе не разберешь, чей выстрел оказался более метким. Поверьте сестре, Орсо. Эти судейские, что приедут, напортят бумаги, наговорят множество ненужных слов. Из этого ничего не выйдет. Старая лисица найдет средство сделать белое черным. Ах, если бы префект не заслонил Винчентелло, одним из них было бы меньше!

⁴⁴ Плащ из очень толстого сукна с капюшоном. (Прим. авт.)

Все это она говорила с таким же хладнокровием, с каким за минуту до того говорила о приготовлении *bruccio*.

Ошеломленный Орсо смотрел на сестру с удивлением, смешанным со страхом.

– Моя кроткая Коломба, – сказал он, вставая из-за стола, – я боюсь, что ты сам сатана. Но будь покойна. Если я не добьюсь того, что Барричини повесят, я найду средство достигнуть цели другим путем. Горячая пуля или холодная сталь!⁴⁵ Видишь: я еще не научился говорить по-корсикански.

– Чем скорее, тем лучше! – сказала Коломба, вздыхая. – На какой лошади вы завтра поедете, Орс Антон?

– На вороной. Зачем ты спрашиваешь меня об этом?

– Чтобы дать ей ячменя.

Когда Орсо ушел в свою комнату, Коломба отослала Саверию и пастухов спать и осталась одна в кухне, где готовился *bruccio*. Время от времени она прислушивалась и, казалось, нетерпеливо ожидала, когда ляжет спать брат. Наконец решив, что он заснул, она взяла нож, попробовала, остер ли он, надела на свои маленькие ножки толстые башмаки и совершенно бесшумно вышла в сад.

Сад, обнесенный стеною, примыкал к довольно обширному огороженному пространству, куда загоняли лошадей: корсиканские лошади не знают, что такое конюшня. Большой частью их пускают в поле и рассчитывают на их смыш-

⁴⁵ *Palla calda u farru freddu* – весьма распространенное выражение. (Прим. авт.)

леность в отыскании себе пищи и убежища от холода и дождя.

Коломба так же осторожно отворила садовую калитку, вошла в загон и, тихонько свистнув, подозвала к себе лошадей, которым она часто давала хлеб с солью. Как только вороня лошадь подошла к ней настолько, что она могла ее достать, она крепко схватила ее за гриву и ножом разрешила ей ухо. Лошадь сделала страшный скачок и убежала, испустив резкий крик, как иногда кричат лошади от острой боли. После этого Коломба вошла в сад; в это мгновение Орсо открыл свое окно и закричал:

– Кто там?

Одновременно она услышала, как он взводил курки. К счастью для нее, садовую калитку прикрывало большое фиговое дерево. Вскоре по вспыхивавшему в комнате брата свету она догадалась, что он старается зажечь лампу. Тогда она поспешила запереть калитку и, скользя вдоль стен, так что ее черная одежда сливалась с темной листвой шпалерника, успела войти в кухню на несколько секунд раньше Орсо.

– Что там такое? – спросила она.

– Мне показалось, что кто-то отворял садовую калитку, – сказал Орсо.

– Не может быть. Собака бы залаяла. Впрочем, пойдем посмотрим.

Орсо обошел сад и, убедившись, что калитка хорошо заперта, и немного стыдясь этой ложной тревоги, решил вернуться.

нуться в свою комнату.

– Я рада, брат, – сказала Коломба, – что вы делаетесь осторожнее, как и следует в вашем положении.

– Это я тебя слушаю, – отвечал Орсо. – Покойной ночи.

На другой день Орсо встал с рассветом и был готов к отъезду. В его костюме можно было видеть и стремление к изяществу, свойственное человеку, который хочет понравиться женщине, и осторожность корсиканца во время вендетты. Сверх ловко облежавшего его стан сюртука он надел через плечо жестяную лядунку на зеленом шнурке, в которой были патроны; в боковом кармане у него был стилет, а в руках – превосходное ментоновское ружье, заряженное пулями. Пока он торопливо пил кофе, налитый Коломбой, один из пастухов пошел оседлать и взнуздать лошадь. Потом и Орсо с Коломбой пошли в загон. Пастух поймал лошадь, но уронил седло и узду и, казалось, был в ужасе, а лошадь, помнившая рану прошлой ночи и боявшаяся за свое другое ухо, становилась на дыбы, лягалась, ржала и бесилась.

– Ну, торопись! – крикнул ему Орсо.

– Ах, Орс Антон! Ах, Орс Антон! Клянусь кровью мадонны! – кричал пастух и сыпал бесчисленными и бесконечными, по большей части непереводаемыми ругательствами.

– Да что случилось? – спросила Коломба.

Все подошли к лошади, и когда увидели ее в крови и с рассеченным ухом, то разом вскрикнули от неожиданности и негодования. Нужно сказать, что изувечить лошадь врага у

корсиканцев означает и месть, и вызов, и угрозу. Только ружейным выстрелом можно отплатить за такое преступление. Орсо, долго живший на континенте, меньше, чем кто-нибудь другой, чувствовал огромное значение обиды, но если бы в это время ему попался один из барричинистов, он сейчас же заставил бы его искупить обиду, которую приписывал им.

– Подлые трусы! – воскликнул он. – Вымещать на бедном животном свою злобу, а встретиться лицом к лицу со мной не смеют!

– Чего мы ждем? – воскликнула Коломба. – Они оскорбляют нас, калечат наших лошадей, и мы не ответим им? Мужчины ли вы?

– Мщение! – отвечали пастухи. – Проведем лошадь по деревне и возьмем приступом их дом.

– К их башне примыкает овин под соломенной крышей, – сказал старый Поло Гриффо, – он запылает у меня с одного маху.

Другой предлагал идти за лестницей от церковной колокольни; третий – высадить двери дома Барричини бревном, лежавшим на площади и предназначенным для какой-то постройки. Среди всех этих бешеных голосов слышен был голос Коломбы, объявлявшей своим телохранителям, что перед тем, как приняться за дело, каждый получит от нее большую чарку анисовки.

К несчастью, или, скорее, к счастью, эффект, на который она рассчитывала, поступив так жестоко с бедной лошадью,

не достиг цели. Орсо не сомневался, что это варварское увечье было делом рук его врагов, и особенно подозревал Орландуччо; но он не думал, что этот молодой человек, которого он ударил и вызвал на дуэль, решит, что он стер свой позор, разрезав ухо у лошади. Напротив, эта мелкая и низкая месть усиливала его презрение к противникам, и теперь он мысленно соглашался с префектом, что подобные люди не стоят того, чтобы с ними драться. Как только он смог заставить слушать себя, он объявил своим смущенным сторонникам, что им следует отказаться от своих воинственных намерений и что суд накажет того, кто разрезал ухо его лошади.

– Я здесь хозяин, – строго прибавил он, – и я требую, чтобы мне повиновались. Первого, кто осмелится заговорить еще об убийстве или поджоге, я самого подожгу. Оседлать мне серую лошадь!

– Как, Орсо, – сказала Коломба, отведя его в сторону, – вы терпите, чтобы нас так оскорбляли? При жизни отца никогда Барричини не посмели бы изувечить нашу лошадь.

– Обещаю тебе, что им еще придется раскаяться, но наказывать негодяев, у которых хватает храбрости только для нападения на животных, должны жандармы и тюремщики. Я сказал тебе: суд отомстит им за меня... в противном случае тебе не придется напоминать мне, чей я сын.

– Терпение! – сказала Коломба со вздохом.

– Помни, сестра, – продолжал Орсо, – что, если я, вернувшись, узнаю, что против Барричини была допущена ка-

кая-нибудь выходка, я тебе этого никогда не прощу. – Потом он прибавил мягче: – Весьма возможно, даже весьма вероятно, что я вернусь с полковником и его дочерью; постарайся, чтобы их комнаты были в порядке, чтобы завтрак был хорош и вообще, чтобы гостям у нас было как можно лучше. Очень хорошо быть храброй, Коломба, но нужно, кроме того, чтобы женщина умела быть хозяйкой в доме. Ну, поцелуй меня! Серую лошадь уже оседлали.

– Орсо, – сказала Коломба, – вы не поедете один!

– Мне никого не нужно, – возразил Орсо, – я ручаюсь, что не дам отрезать себе ухо.

– О, я ни за что не пушу вас одного, когда идет война! Эй, Поло Гриффо! Джан Франче! Меммо! Возьмите ружья! Вы проводите брата.

После довольно жаркого спора Орсо согласился, чтобы его сопровождал конвой. Он взял из своих пастухов самых сердитых, тех, которые громче всех советовали начать войну, и, повторив свое приказание, пустился в путь, на этот раз сделав объезд, чтобы избежать дома Барричини.

Они были уже далеко от Пьетранеры и быстро подвигались вперед, когда при переезде через ручеек, терявшийся в болоте, старый Поло Гриффо заметил несколько свиней, комфортабельно улегшихся в грязи и наслаждавшихся солнцем и холодной водой. Он сейчас же прицелился в самую толстую, выстрелил ей в голову и уложил на месте. Подруги убитой поднялись и побежали с удивительной легкостью, и,

несмотря на то что и другой пастух тоже выстрелил, они целыми и невредимыми добежали до чащи, где и исчезли.

– Глупцы! – закричал Орсо. – Вы принимаете домашних свиной за диких.

– Вовсе нет, Орс Антон, – отвечал Поло Гриффо, – это адвокатово стадо: пусть знает, как калечить наших лошадей.

– Как, негодяи! – закричал Орсо вне себя от ярости. – Вы делаете такие же подлости, как и наши враги? Прочь от меня, презренные! Вы мне не нужны. Вы годны только со свиньями драться! Клянусь богом, я разобью вам головы, если вы осмелитесь ехать за мной.

Пастухи переглянулись в смущении. Орсо пришпорил лошадь и ускакал галопом.

– Вот тебе и раз! – сказал Поло Гриффо. – Стоит любить людей, если они так обращаются с тобой! Его отец, полковник, рассердился на тебя за то, что ты однажды прицелился в адвоката. Дурак, что не выстрелил... А сынок... ты видел, что я для него сделал... хочет разбить мне голову, как кубышку, в которой больше нет вина. Вот, Меммо, чему учатся на континенте!

– Да, а если узнают, что ты убил свинью, тебя потянут в суд, и Орс Антон не заступится за тебя и не заплатит адвокату. Счастье, что никто не видел, святая Нера выручит тебя из беды.

После краткого обсуждения они пришли к заключению, что самое благоразумное – бросить свинью в овраг, и приве-

ли этот проект в исполнение, само собою разумеется, предварительно вырезав каждый по несколько кусков свинины из невинной жертвы взаимной ненависти семей делла Реббиа и Барричини.

Глава 17

Избавившись от своего недисциплинированного конвоя, Орсо продолжал путь, более занятый предстоявшим удовольствием увидеться с мисс Невиль, чем боязнью встречи со своими врагами. «Из-за процесса с этими негодными Барричини, – думал он, – мне придется ехать в Бастию. Отчего бы мне не проводить мисс Невиль? Отчего бы из Бастии нам не проехать вместе на воды в Ореццу?» И тотчас воспоминания детства ясно представили его воображению это живописное место. Он мысленно перенесся на зеленый лужок, под вековые платаны. На глянцевиной траве, усеянной голубыми цветами, похожими на улыбавшиеся ему глаза, около него сидела мисс Лидия. Она сняла шляпу, и светлые, тонкие и нежные, как шелк, волосы блестели, как золото, на проникавшем сквозь листву солнце. Ее глаза казались ему синее небесного свода. Опершись щекою на руку, она мечтательно слушала слова любви, которые он трепетно шептал ей. На ней было то самое муслиновое платье, в котором она была в последний раз, когда он видел ее в Аяччо. Из-под складок этого платья выглядывала маленькая ножка в черном атласном башмачке. Орсо считал бы себя счастливым, если бы мог поцеловать эту ножку, но одна рука мисс Лидии была без перчатки, и в этой руке она держала маргаритку. Орсо взял у нее эту маргаритку, рука мисс Лидии пожала его руку, и

он поцеловал маргаритку, а потом руку, и на него не сердились... Все эти мысли мешали ему смотреть на дорогу, по которой он ехал, а между тем он ехал рысью. Он уже готов был во второй раз поцеловать в своем воображении белую ручку мисс Невиль, как вдруг едва не поцеловал в действительности голову своей вдруг остановившейся лошади. Маленькая Килина загородила ей дорогу и схватила ее за повод.

– Куда вы едете, Орс Антон? – говорила она. – Разве вы не знаете, что ваш враг здесь?

– Мой враг! – воскликнул Орсо, рассерженный тем, что его прервали на самом интересном месте. – Где он?

– Орландуччо близко. Он ждет вас. Вернитесь, вернитесь!

– А! Он ждет меня? Ты видела его?

– Да, Орс Антон, я лежала в папоротнике, когда он прошел. Он смотрел во все стороны в свою зрительную трубку.

– Откуда он шел?

– Он спустился оттуда, откуда вы едете.

– Спасибо.

– Орс Антон, не лучше ли вам подождать моего дядю? Он сейчас придет, и с ним вы будете в безопасности.

– Не бойся, Кили, мне не нужен твой дядя.

– Если хотите, я пойду перед вами.

– Спасибо, спасибо.

И Орсо, погоняя лошадь, быстро двинулся в ту сторону, куда показала ему девочка.

Его первым душевным движением был порыв слепой яро-

сти, и он решил, что судьба предоставляет ему удобный случай наказать негодяя, который калечит лошадь из мести за пощечину. Но по мере того, как он подвигался вперед, обещание, данное им префекту, и особенно страх пропустить свидание с мисс Невиль изменили его настроение, и он почти желал избежать встречи с Орландуччо. Потом воспоминание об отце, увечье, нанесенное его лошади, угрозы врагов снова воспламенили его гнев и возбудили желание найти обидчика и заставить его драться. Волнуемый противоположными чувствами, он продолжал подвигаться вперед, но теперь уже с предосторожностями: он осматривал кусты, изгороди и иногда даже останавливался, прислушиваясь к смутному шуму полей. Через десять минут после встречи с маленькой Килиной (тогда было около девяти часов утра) он очутился на краю очень крутого холма. Дорога, или, лучше сказать, едва проложенная тропинка, по которой он ехал, проходила по только что выгоревшему *маки*. В этом месте земля была покрыта беловатым пеплом; кое-где кустарники и несколько толстых деревьев, почерневших от огня и совершенно лишенных листьев, стояли прямо, несмотря на то что уже перестали жить. Вид сожженного *маки* переносит в северный зимний ландшафт, и контраст между выгоревшими местами, по которым прошел огонь, и роскошной растительностью вокруг делает его еще более печальным и унылым. Но в этом ландшафте Орсо бросилось сейчас в глаза одно обстоятельство, правда, в его положении очень важное: го-

лая земля не предоставляла возможности устроить засаду, а тому, кто боится каждую минуту увидеть в чаще дуло ружья, направленное ему в грудь, ровная местность, где ничто не останавливает взгляда, кажется чем-то вроде оазиса. За сожженным *маки* следовали обработанные поля, обнесенные по местному обыкновению каменной оградой вышиною человеку по грудь. Тропинка шла между этими загороженными местами; огромные каштановые деревья, росшие там в беспорядке, издали казались густым лесом.

Крутизна спуска заставила Орсо спешиться, и, бросив поводья на шею лошади, он быстро спускался, скользя по пеплу, и был уже не больше как в двадцати пяти шагах от одного из этих огороженных мест, с правой стороны дороги, как вдруг заметил как раз перед собою сначала дуло ружья, а потом голову, высунувшуюся из-за гребня стены. Ружье опустилось, и в то же мгновение он узнал Орландуччо, готового выстрелить. Орсо быстро занял оборонительное положение, и оба противника, прицелившись, несколько секунд смотрели друг на друга с тем острым волнением, которое испытывает самый храбрый человек в минуту, когда нужно убить или быть убитым.

– Подлый трус! – закричал Орсо.

Он не успел договорить, как вдруг увидел вспышку, и почти в то же время другой выстрел раздался слева, с другой стороны тропинки, – выстрел, сделанный человеком, которого Орсо совсем не заметил и который целил в него из-за дру-

гой стены. Обе пули попали в него; пуля Орландуччо пробила ему левую руку, выставленную вперед во время прицела; другая ударила ему в грудь, разорвала платье, но, к счастью, встретила клинок стилета, сплющилась об него и только легко контузила Орсо. Его левая рука бессильно упала вдоль бедра, и на мгновение дуло его ружья опустилось, но он тотчас же поднял его и, целясь одной рукой, выстрелил в Орландуччо. Лицо его врага – он видел только глаза его – исчезло за стеной; Орсо, повернувшись налево, пустил свою другую пулю в едва видного ему за дымом человека. И эта фигура исчезла. Четыре выстрела следовали один за другим с невероятной быстротой; обученные солдаты никогда не сделали бы в беглом огне таких коротких интервалов. После последнего выстрела Орсо все смолкло. Дым, вылетевший из его ружья, медленно поднимался к небу; за стеной не было никакого движения, ни малейшего шума. Если б не боль, которую он чувствовал в руке, он мог бы подумать, что люди, в которых он только что стрелял, – призраки, явившиеся его воображению.

Ожидая новых выстрелов, Орсо сделал несколько шагов, чтобы стать за одно из обгорелых деревьев, еще стоявших стоймя в *маки*. За этим прикрытием он поставил ружье между колен и торопливо зарядил его. Левая рука причиняла ему жестокие страдания, и ему казалось, что он держит ею огромную тяжесть. Что случилось с его противниками, он не мог понять; если бы они убежали, если бы были ранены, он,

наверно, услышал бы какой-нибудь шум, какое-нибудь движение в листве. Не были ли они убиты, или, скорее, не ждали ли они за своими прикрытиями нового случая стрелять по нему? В состоянии неизвестности, чувствуя, что силы его уменьшаются, он стал на правое колено, положил на левое раненую руку, а ружье приставил к суку обгорелого дерева. Держа палец на спуске, зорко смотря на стену и прислушиваясь к малейшему шуму, он не двигался несколько минут, показавшихся ему целым веком. Наконец позади него раздался далекий крик, и тотчас же какая-то собака с быстротою стрелы спустилась с холма и остановилась около него, махая хвостом: это был Бруско, ученик и товарищ бандитов, без сомнения, предвещавший появление своего хозяина, и никогда никто не ждал этого почтенного человека с большим нетерпением, чем теперь Орсо. Собака, подняв морду и повернув ее в сторону ближайшей ограды, беспокойно нюхала воздух; вдруг она глухо зарычала, одним прыжком перескочила через стену и почти сейчас же снова показалась над ее гребнем и оттуда пристально смотрела на Орсо, так ясно выражая своими глазами удивление, как только может сделать это собака; потом она снова понюхала воздух, на этот раз по направлению другой ограды, и опять перескочила через стену. Спустя мгновение она появилась над стеной с тем же удивлением и беспокойным видом; наконец она спрыгнула в *маки*, поджала хвост и, все время посматривая на Орсо, стала медленно уходить от него, пока не отошла на некоторое

расстояние. Тогда она снова пустилась бежать и почти так же скоро, как спустилась с холма, взлетела на него, навстречу человеку, который быстро шел, несмотря на крутизну спуска.

– Ко мне, Брандо! – закричал Орсо, как только у него появилась надежда, что тот его услышит.

– Эй, Орс Антон! Вы ранены? – спросил его Брандолаччо, подбежав и почти задыхаясь. – В грудь или в руку?

– В руку.

– В руку? Ну, ничего. А тот?

– Кажется, я его задел.

Брандолаччо, идя за своей собакой, подошел к ближайшей ограде, наклонился и заглянул. Затем он снял шапку и сказал:

– Здравствуйте, господин Орландуччо. – Потом он повернулся к Орсо и важно приветствовал и его. – Вот это, что называется, чистая работа, – сказал он.

– Жив ли он еще? – тяжело дыша, спросил Орсо.

– Да! Будешь жив с пулей, всаженной в глаз! Кровь мадонны! Какая дыра! Ей-богу, славное ружье! Что за калибр! С таким калибром можно разнести голову! Слушайте, Орс Антон: когда я слышал пиф-паф! ну, думаю, черт возьми, ухлопали моего поручика. Потом слышу: бум! бум! А, думаю себе, вот это говорит английское ружье; он отвечает... Бруско, чего ж тебе еще от меня надо?

Собака привела его к другой ограде.

– Вот тебе раз! – закричал изумленный Брандолаччо. – Двойной выстрел! Черт возьми! Правда, что порох дорогой: вы его бережете.

– Что там, скажи, бога ради? – спросил Орсо.

– Ну ладно! Не ломайтесь, поручик! Вы набросали на землю дичи и хотите, чтобы я ее вам подбирал... Ну, сегодня будет плохое угощение одному человечку, адвокату Барричини. Не хочешь ли сырого мяса? Вон оно. Однако какому же дьяволу достанется наследство?

– Винчентелло! Тоже убит?

– Наповал. *Будем здоровы!*⁴⁶ Что хорошо с вашей стороны, так это то, что вы не заставили их мучиться. Посмотрите-ка на Винчентелло. Он еще стоит на коленях, прислонившись головой к стене. Точно спит. Вот про такой сон говорят: свинцовый сон. Бедняга!

Орсо с ужасом отвернулся.

– Уверен ли ты, что он мертв?

– Вы как Сампьеро Корсо, который никогда не тратил больше одного выстрела. Видите, тут... в грудь с левой стороны; вот так и Винчилеоне попало под Ватерлоо. Держу пари, что пуля недалеко от сердца. Двойной выстрел!.. Ах, куда уж мне теперь стрелять! Двоих с двух выстрелов!.. По пуле на брата! Если б была третья, он убил бы и папашу... Ну, до следующего раза... Что за выстрел, Орсо Антон!.. И ведь ни-

⁴⁶ *Salute a noi!* – Обычное восклицание, заменяющее выражение «Он умер». (Прим. авт.)

когда такому бравому парню, как я, не удастся сделать двойного выстрела по двум жандармам!

Говоря это, бандит осматривал руку Орсо и разрезал своим стилетом рукав.

– Ничего! – сказал он. – Вот этот сюртук задаст работу синьоре Коломбе... Это что такое? Вот этот разрыв на груди?.. Сквозь него туда ничего не вошло? Нет, а то вы не были бы таким молодцом. Посмотрим; попробуйте двигать пальцами... Чувствуете мои зубы, когда я кусаю вам мизинец?.. Не очень?.. Ничего, это пустяки. Дайте я сниму вам галстук и возьму платок... Пропал ваш сюртук... На кой черт так франтить? Разве вы ехали на свадьбу? Вот, хлебните немного вина... Отчего вы не берете с собой фляжки? Разве можно корсиканцу ходить без фляжки?

Во время перевязки он приостанавливался и восклицал:

– Двойной выстрел! Оба сразу насмерть!.. Посмеется-таки патер... Двойной выстрел!.. А, вот наконец эта маленькая черепаха Килина!

Орсо не отвечал. Он был бледен, как мертвец, и дрожал всем телом.

– Кили! – закричал Брандолаччо. – Посмотри за эту стенку. Ну что?

Девочка, действуя и руками и ногами, вскарабкалась на стену и, увидя труп Орландуччо, сейчас же перекрестилась.

– Это ничего, – продолжал бандит, – пойди посмотри дальше, вон там.

Девочка снова перекрестилась.

– Это вы, дядя? – робко спросила она.

– Я! Да ведь я старик никуда не годный, Кили; это работа этого господина. Поздравь его.

– Синьора будет очень рада, – сказала Килина, – и она будет очень огорчена, когда узнает, что вы ранены, Орс Антон.

– Едем, Орс Антон! – сказал бандит, кончив перевязку. – Вот Килина поймала вашу лошадь. Садитесь, и поедем со мной в Стадзонский *маки*. Хитер будет тот, кто вас там сыщет. Мы примем вас самым лучшим манером. Когда будем у креста святой Христины, придется слезть с лошади. Вы отдадите ее Килине; она поедет уведомить вашу сестру; дорогой вы можете дать ей поручения. Вы можете сказать малютке все, Орс Антон. Она скорее даст себя изрубить, чем выдаст своих друзей. Пошла, шельма, чтоб тебя от церкви отлучили, будь ты проклята, плутовка! – говорил он нежным голосом, потому что, будучи суеверным, как многие бандиты, боялся сглазить ребенка, благословляя или хваля его; известно, что враждебные силы *аннокьятуры*⁴⁷ имеют дурную привычку делать нам наперекор.

– Куда ты меня хочешь везти, Брандо? – сказал Орсо слабым голосом.

– Черт возьми! Выбирайте: в тюрьму или в *маки*. Но делла Реббиа не знают дороги в тюрьму. В *маки*, Орс Антон.

⁴⁷ *Annocchiatura* – невольное колдовство, производимое взглядом или словами. (Прим. авт.)

– Прощайте, все мои надежды! – печально воскликнул раненый.

– Ваши надежды? Какого ж вы еще черта надеялись сделать с двуствольным ружьем? Ах да! Как они могли вас задеть? Должно быть, эти молодцы живучее кошек.

– Они первые стреляли в меня, – сказал Орсо.

– Правда, я и забыл... Пиф! Паф! Бум! Бум!..⁴⁸ Двойной выстрел одной рукой!.. Пусть меня повесят, если кто-нибудь сделает лучше... Ну, вот вы и в седле... Перед отъездом взгляните на свою работу. Невежливо уезжать, не простившись.

Орсо пришпорил лошадь; ни за что на свете он не стал бы смотреть на несчастных, которых только что убил.

– Слушайте, Орс Антон, – сказал бандит, взяв поводья лошади, – хотите, я скажу вам откровенно? Ладно. Я не хочу вас обижать, но мне жаль этих бедных молодых людей. Прошу вас, извините меня... Такие красавцы... такие силачи... такие молодые... С Орландуччо я сколько раз охотился!.. Дня четыре тому назад он дал мне пачку сигар... Винчентелло всегда был такой весельчак!.. Это правда, вы сделали то, что должны были сделать... а, кроме того, выстрел слишком хорош, чтобы жалеть о нем... Но мне нет дела до

⁴⁸ Если какой-нибудь недоверчивый охотник усомнится в двойном выстреле, сделанном г-ном делла Реббиа, я ему могу посоветовать отправиться в Сартене: там ему расскажут, как один из самых достойных и любезных жителей этого города спасся один, с перебитой левой рукой, находясь в положении, по меньшей мере столь же опасном. (Прим. авт.)

вашей мести... Я знаю, что вы правы: когда есть враг, то нужно от него избавиться. Но Барричини – это был старинный род... И вот он выбыл из строя. И еще от двойного выстрела! Это замечательно!

Произнося надгробное слово Барричини, Брандолаччо поспешно вел Орсо, Килину и собаку Бруско в Стадзонский *маки*.

Глава 18

Между тем Коломба с той минуты, как, вскоре после отъезда Орсо, она узнала от своих шпионов, что Барричини отравились в поле, была охвачена сильным беспокойством. Она бегала по всему дому, из кухни в комнаты, приготовленные для гостей; она ничего не делала и в то же время чем-то была озабочена; она беспрестанно останавливалась, прислушиваясь, нет ли в деревне какого-нибудь необычного шума. Около одиннадцати часов в Пьетранеру въехала довольно многочисленная кавалькада: полковник с дочерью, со слугами и проводником. Встречая их, Коломба прежде всего спросила:

– Вы видели моего брата?

Потом она спросила у проводника, по какой дороге они ехали, и по его ответам не могла понять, как они не встретили Орсо.

– Может быть, ваш брат ехал верхней дорогой, – сказал проводник, – мы ехали низом.

Но Коломба покачала головой и возобновила свои расспросы. Несмотря на природную твердость – гордость и нежелание выказать слабость перед посторонними еще более увеличивали эту твердость, – ей не удалось скрыть тревогу, которая тотчас же сообщилась полковнику и особенно мисс Невиль, когда Коломба рассказала им о попытке примире-

ния, имевшей такой печальный конец. Мисс Невиль волновалась, требовала, чтобы послали нарочных по всем направлениям, а ее отец вызвался снова сесть на лошадь и ехать с проводником на поиски Орсо. Опасения гостей напомнили Коломбе ее обязанности, как хозяйки дома. Она заставила себя улыбнуться, попросила полковника сесть за стол и нашла двадцать правдоподобных причин для того, чтобы объяснить отсутствие брата. Полковник, считая, что он, как мужчина, должен попытаться успокоить женщин, тоже предложил свое объяснение.

– Держу пари, что делла Реббиа нашел дичь; он не мог устоять против искушения, и мы скоро увидим его с полным ягдташем. Да, – прибавил он, – мы слышали дорогой четыре ружейных выстрела. Два из них были громче, чем два других, и я сказал дочери: «Держу пари, что это делла Реббиа охотится; только мое ружье может бить так громко».

Коломба побледнела, и внимательно смотревшая на нее мисс Лидия без труда поняла, какие подозрения возбудила в ней догадка полковника. После нескольких минут молчания Коломба неожиданно задала вопрос, первыми или последними были два громких выстрела. Но ни полковник, ни его дочь, ни проводник не обратили внимания на это важное обстоятельство.

Через час ни один из посланных Коломбою еще не вернулся, и она, собравшись с духом, заставила гостей сесть за стол; но, кроме полковника, никто не мог есть. При малей-

шем шуме на площади она подбегала к окну, потом печально садилась снова и еще печальнее пыталась продолжать с друзьями незначительный разговор, который никого не интересовал и который прерывался долгими паузами.

Вдруг раздался топот лошади, скачущей галопом.

– Ах, на этот раз это брат! – сказала Коломба, вставая.

Но, увидя Килину, сидевшую на лошади Орсо, она вскричала душераздирающим голосом:

– Мой брат убит!

Полковник уронил свой стакан, мисс Лидия вскрикнула, все бросились к двери. Прежде чем Килина успела соскочить с лошади, Коломба схватила ее, как перышко, и чуть не задушила, сжимая. Девочка поняла ее ужасный взгляд, и первое, что она сказала, было начало хора из *Отелло*: «Он жив!» Коломба перестала ее душить, и девочка легко, как котенок, упала на землю.

– А те? – спросила Коломба хриплым голосом.

Килина перекрестилась указательным и средним пальцами. Тотчас же смертная бледность на лице Коломбы сменилась живым румянцем. Она бросила огненный взгляд на дом Барричини и, улыбаясь, сказала своим гостям:

– Пойдем пить кофе.

Ириде бандитов пришлось рассказывать долго. Ее корсиканская речь, кое-как переводившаяся Коломбой на итальянский, а мисс Лидией на английский язык, вырвала не одно проклятие у полковника и не один вздох у мисс Лидии, но

Коломба слушала бесстрастно; она только так крутила свою камчатную салфетку, как будто бы хотела порвать ее на куски. Она раз пять или шесть прерывала девочку, чтобы заставить ее повторить слова Брандолаччо, что рана не опасна и что он видел и не такие. В заключение Килина передала, что Орсо настоятельно просил бумаги для письма и что он велел сестре умолить даму, которая, может быть, сейчас у них в доме, чтобы она не уезжала, не получив от него письма.

– Это его больше всего мучило, – прибавила девочка, – и я уже поехала, а он снова вернул меня, чтобы еще раз приказать мне передать это поручение. Это он повторял мне уже третий раз.

Узнав об этом приказании брата, Коломба слегка улыбнулась и сжала руку англичанки; та залилась слезами и решила, что лучше не переводить отцу этой части рассказа.

– Да, вы останетесь со мной, дорогая моя, – воскликнула Коломба, обнимая мисс Невиль, – и вы поможете нам.

Потом она достала из шкафа кучу старого белья и принялась резать его на бинты и корпию. Трудно было решить, видя ее блестящие глаза, румянец, ее то задумчивое, то спокойное выражение, что сильнее ее волновало: рана Орсо или смерть врагов. Она то наливала полковнику кофе и хвалилась своим искусством варить его, то раздавала полотенно мисс Невиль и Килине и учила их сшивать бинты и свертывать их; она в двадцатый раз спрашивала, не очень ли страдает Орсо от своей раны. Беспрестанно прерывая свою работу, она го-

ворила полковнику:

– Двое, такие ловкие, такие страшные!.. Он один, раненый, с одной только рукой... он убил их обоих. Какое мужество, полковник! Разве это не герой! Ах, мисс Невиль! Какое счастье жить в такой спокойной стране, как ваша!.. Я уверена, что вы еще не знаете брата!.. Я говорила: ястреб расправит свои крылья!.. Вы обманывались его кротким видом... Это потому, что когда он с вами, мисс Невиль... Ах, если бы он видел, как вы стараетесь для него!.. Бедный Орсо!

Мисс Лидия совсем не старалась и не могла сказать ни слова. Ее отец спрашивал, почему до сих пор не подали жалобу судье. Он говорил о следствии, о коронере и о многих других тому подобных и совершенно неизвестных на Корсике вещах. Наконец он пожелал узнать, далеко ли от Пьетранеры усадьба этого доброго г-на Брандолаччо, который оказал помощь раненому, и нельзя ли ему самому отправиться туда, чтобы повидаться со своим другом.

Коломба ответила со своим обычным спокойствием, что Орсо в *маки*, что ухаживает за ним один бандит, что для него было бы большим риском показаться, прежде чем выяснятся намерения префекта и судей; наконец, что она распорядилась, чтобы искусный хирург тайно отправился к нему.

– Главное, помните, полковник, что вы слышали четыре выстрела и что вы мне сказали, что Орсо стрелял вторым.

Полковник ничего не понимал, а его дочь только вздыхала и утирала слезы.

Было уже не рано, когда в деревню вошла печальная процессия. Адвокату Барричини привезли трупы его детей; они лежали каждый поперек мула, которого вел крестьянин. Толпа клиентов и праздных зрителей шла за печальным шествием. С ними были жандармы, являющиеся всегда слишком поздно, и помощник мэра, который поднимал руки к небу, то и дело повторяя: «Что скажет господин префект!» Несколько женщин, в том числе и кормилица Орландуччо, рвали на себе волосы и дико голосили. Но их шумное горе не производило такого впечатления, как немое отчаяние человека, привлекавшего к себе все взоры. Это был несчастный отец; переходя от одного трупа к другому, он подымал их головы, испачканные землею, целовал их в синие губы, поддерживал их окоченевшие члены, как будто бы хотел уберечь их от толчков дороги. Иногда видно было, что он открывал рот, но из его уст не вылетело ни одного крика, ни одного слова; уставив глаза на трупы, он натыкался на камни, на деревья, на все встречавшиеся ему препятствия.

В виду дома Орсо вопли женщин и проклятия мужчин усилились. Когда несколько пастухов-реббианистов осмелились издать торжествующий крик, их противники не могли сдержать негодование. «Мщение! Мщение!» – вопило несколько голосов. Полетели камни, и две ружейные пули, пущенные в окна залы, где была Коломба со своими гостями, пробили ставни, и щепки посыпались на стол, за которым сидели обе девушки. Мисс Лидия подняла страшный крик,

полковник схватился за ружье, а Коломба, прежде чем он мог удержать ее, бросилась к двери и стремительно отворила ее. Стоя на высоком пороге и вытянув руки, как бы проклиная своих врагов, она воскликнула:

– Подлецы! Вы стреляете в женщин, в чужеземцев! Корсиканцы ли вы? Мужчины ли вы? Презренные! Вы умеете только убивать из-за угла! Нападайте! Я презираю вас! Я одна, мой брат далеко... Убейте меня, убейте моих гостей; это достойно вас... Вы не смеете, трусы, вы знаете, что мы мстим за себя. Ступайте, плачьте, как бабы, и будьте благодарны, что мы не требуем от вас еще крови.

В голосе и позе Коломбы было что-то величественное и страшное; при виде ее испуганная толпа отступила, как при появлении одной из злых фэй, о которых на Корсике в зимние вечера рассказывают страшные истории. Помощник мэра, жандармы и несколько женщин воспользовались этим движением толпы и бросились между двумя станами, потому что пастухи-реббианисты уже схватились за оружие, и можно было опасаться, что на площади начнется схватка. Но обе партии были лишены своих вождей, а корсиканцы, дисциплинированные в своей ярости, редко отдаются ей в отсутствие главных зачинщиков междоусобных войн. К тому же Коломба, которую успех сделал благоразумнее, удержала свой маленький гарнизон.

– Дайте поплакать этим бедным людям, – говорила она, – дайте старику унести своих сыновей. Зачем убивать эту ста-

рую лисицу, когда у нее уже нет зубов, чтобы кусаться? Джудиче Барричини! Вспомни второе августа! Вспомни окровавленную книжку, в которой ты писал своей вероломной рукой! Мой отец вписал туда свой долг; твои сыновья уплатили его. Я даю тебе расписку, старый Барричини!

Коломба со скрещенными руками, с презрительной улыбкой на устах смотрела, как уносили трупы в дом ее врагов, как потом толпа медленно рассеивалась. Она заперла дверь и, вернувшись в столовую, сказала полковнику:

– Я прошу у вас извинения за своих земляков, полковник. Я никогда не поверила бы, что корсиканцы могут стрелять в дом, где есть чужеземцы, и я стыжусь за свою родину.

Вечером, когда мисс Лидия уходила в свою комнату, полковник пошел за нею и спросил ее, не лучше ли им будет завтра уехать из этой деревни, где каждую минуту подвергаешься опасности получить пулю в лоб, и как можно скорее уехать из страны, где только и есть что убийства да измены.

Мисс Невиль несколько времени не отвечала; было ясно, что предложение отца привело ее в немалое смущение. Наконец она сказала:

– Как мы можем оставить эту несчастную девушку в такое время, когда ей так нужно утешение? Не находите ли вы, папа, что это было бы жестоко с нашей стороны?

– Я о тебе забочусь, дитя мое, – сказал полковник, – и если бы я знал, что ты в безопасности в гостинице Аяччо, уверяю тебя, мне было бы досадно уехать с этого проклятого

острова, не пожав руки славному делла Реббиа.

– Ну, так останемся, папа. Давайте уедем, только когда убедимся, что им ничем уже не поможешь.

– Доброе сердце! – сказал полковник, целуя дочь в голову. – Мне нравится, что ты жертвуешь собой, чтобы облегчить чужое горе. Останемся; никогда никто еще не раскаивался в хорошем поступке.

Мисс Лидия не могла заснуть и металась на постели. То она слышала смутный шум, и ей казалось, что это готовятся брать приступом дом; то, успокоившись за себя, она думала о бедном раненом, который, должно быть, лежит теперь на холодной земле, и ему нет иной помощи, кроме той, какую он мог ждать от милосердия бандита. Она представляла его себе в крови, тяжело страдающим, и – странное дело – всякий раз, как образ Орсо являлся в ее воображении, он являлся таким, каким она видела его в минуту отъезда, когда он прижимал к своим губам данный ею талисман. Потом она думала о его храбрости. Она говорила себе, что он подверг себя страшной опасности, от которой только что избавился, из-за нее, для того чтобы скорее ее увидеть. Она почти убедила себя, что Орсо дал прострелить себе руку, защищая ее. Она упрекала себя за его рану, но из-за этой раны он еще больше нравился ей. И если знаменитый двойной выстрел не имел в ее глазах той цены, какую имел он в глазах Брандолаччо и Коломбы, то все-таки она находила, что немногие из героев романов проявили бы в такой опасный момент столько бес-

страшия и хладнокровия.

Она занимала комнату Коломбы. Над дубовым аналоем рядом с освещенной пальмовой ветвью висел на стене миниатюрный портрет Орсо в мундире подпоручика. Мисс Лидия сняла этот портрет, долго рассматривала его и наконец, вместо того чтобы повесить на место, положила около своей постели. Она заснула только на рассвете, и солнце было уже очень высоко, когда она проснулась. У своей постели она увидела Коломбу, которая неподвижно ожидала, когда она откроет глаза.

– Не очень ли вам было скверно в нашем бедном доме? – спросила Коломба. – Я боюсь, что вы совсем не спали.

– Милая моя! Знаете ли вы что-нибудь о нем? – спросила мисс Невиль, приподнявшись на постели.

Она заметила портрет Орсо и, чтобы закрыть его, поспешила бросить на него платок.

– Да, знаю, – ответила Коломба, улыбаясь.

Взяв портрет, она сказала:

– Похож он, по-вашему? Он лучше, чем здесь.

– Боже мой! – сказала совершенно пристыженная мисс Лидия. – Я сняла... в рассеянности... этот портрет... Это мой недостаток... все трогать и ничего не класть на место... Что ваш брат?

– Ничего, все хорошо. Джоканто пришел сюда утром в четвертом часу. Он принес мне письмо для вас, мисс Лидия; Орсо мне не пишет. Правда, в адресе стоит: «Коломбе»; но

пониже: «для мисс Н...» Сестры совсем не ревнивы. Джоканто говорил, что ему было очень больно, но он все-таки дописал. Джоканто, у которого превосходный почерк, предлагал ему, что он будет писать под его диктовку. Орсо не захотел. Он писал карандашом, лежа на спине. Брандолаччо держал бумагу. Каждую минуту брат старался приподняться, и тогда при малейшем движении в его руке начинались ужасные боли. «Жалко было смотреть», – говорит Джоканто. Вот его письмо.

Мисс Невиль прочла письмо, написанное, без сомнения, для большей предосторожности по-английски. Вот его содержание:

Мадемуазель!

Меня увлекла несчастная судьба; я знаю, что скажут мои враги, какую они выдумают клевету. Мне это безразлично, только бы Вы не поверили ей. С тех пор как я увидел Вас, я убаюкивал себя безрассудными мечтами. Нужна была эта катастрофа, чтобы показать мне мое безумие; теперь я отрезвел. Я знаю, какое будущее ждет меня: я покорен судьбе. Кольцо, которое Вы дали мне и которое я считал счастливым талисманом, я не смею оставить у себя. Я боюсь, мисс Лидия, чтобы Вы не пожалели о том, что отдали его человеку недостойному; вернее, боюсь, что оно будет напоминать мне мое безумие. Коломба передаст Вам его. Прощайте! Вы покидаете Корсику, и

я больше никогда не увижу Вас; скажите сестре, что Вы еще уважаете меня; я – говорю это с уверенностью – все еще стою этого уважения.

О. д. Р.

Мисс Лидия, отвернувшись, читала это письмо, а Коломба, внимательно наблюдавшая за нею, подала ей египетский перстень, спрашивая ее взглядом, что это значит. Но мисс Лидия не смела поднять голову и печально смотрела на перстень, то надевая его на палец, то снимая.

– Милая мисс Невиль, – сказала Коломба, – можно мне узнать, что вам пишет мой брат? Пишет он о своем здоровье?

– Нет... об этом он ничего не пишет, – сказала, краснея, мисс Лидия. – Он пишет по-английски. Он просит меня сказать отцу... он надеется, что префект может устроить...

Коломба, улыбнувшись, села на постель, взяла мисс Невиль за обе руки и, смотря на нее своими пронизательными глазами, сказала:

– Вы будете добры? Ведь вы ответите брату? Вы доставите ему такую радость! Когда пришло его письмо, я думала одно время разбудить вас, но не посмела.

– Напрасно, – сказала мисс Лидия. – Если одно мое слово ему...

– Теперь я не могу послать письмо. Префект приехал, и вся Пьетранера полна его людьми. Потом мы посмотрим. Ах, если бы вы знали моего брата, мисс Невиль, вы бы любили

его, как я... Подумайте только, что он сделал! Один против двоих, да еще раненый!

Префект вернулся. Извещенный нарочным помощника мэра, он вернулся в сопровождении жандармов и стрелков, привезя с собой королевского прокурора, секретаря и прочих, чтобы расследовать новую страшную катастрофу, которая усложняла или, пожалуй, завершала вражду соперничавших родов Пьетранеры. Вскоре после приезда он повидался с полковником Невилем и его дочерью и не скрыл от них, что боится, как бы дело не приняло дурного оборота.

– Вы знаете, что бой был без свидетелей, – сказал он, – а за этими бедными молодыми людьми так прочно утвердилась репутация ловкости и храбрости, что никто не хочет верить, что делла Реббиа мог убить их без помощи бандитов, у которых, говорят, он нашел себе приют.

– Это невозможно! – воскликнул полковник. – Орсо делла Реббиа – благородный юноша; я за него ручаюсь.

– Я верю, – сказал префект, – но королевский прокурор (эти господа всех подозревают) расположен, кажется, не в его пользу. У него в руках бумага, весьма неприятная для вашего друга. Это – угрожающее письмо к Орландуччо, в котором он назначает ему час и место... и это место кажется прокурору засадой.

– Орландуччо отказался драться – так порядочные люди не поступают, – сказал полковник.

– Здесь это не в обычае. Здесь устраивают засады, убивают

друг друга из-за угла; вот так делается в этой стране. За него только одно благоприятное показание: одна девочка утверждает, что слышала четыре выстрела, и из них два последних были громче других, словно из ружья крупного калибра, как у делла Реббиа. К несчастью, эта девочка – племянница одного из бандитов, подозреваемых в сообщничестве, и она ответила заученный урок.

– Господин префект, – перебила мисс Лидия, краснея до ушей, – мы были в дороге, когда раздались выстрелы, и слышали то же самое.

– В самом деле? Это важно. А вы, полковник, вы, без сомнения, заметили то же самое?

– Да, – живо ответила мисс Невиль, – мой отец – знаток оружия, и он сказал: «Вот господин делла Реббиа стреляет из моего ружья».

– Эти выстрелы, которые вы узнали, были именно последними?

– Ведь последними, папа, не правда ли?

У полковника память была не очень хороша, но он всегда боялся противоречить дочери.

– Нужно сейчас же сказать об этом королевскому прокурору, полковник. Впрочем, сегодня вечером мы ждем хирурга, который вскрыет трупы и удостоверит, действительно ли раны нанесены тем оружием, о котором идет речь.

– Я сам дал его Орсо и узнал бы его на дне моря, – сказал полковник. – Храбрый мальчик!.. Я очень рад, что оно было

у него в руках, – не знаю, как бы он выкрутился без моего «Ментона».

Глава 19

Хирург немного запоздал. Дорогой с ним случилось приключение. Его встретил Джоканто Кастрикони и крайне учтиво попросил его помочь одному раненому; его привели к Орсо, и он наложил на рану первую повязку. Потом бандит проводил его довольно далеко и вел с ним весьма почтительный разговор, рассказывая о знаменитых пизанских профессорах, которые, по его словам, были его близкими друзьями.

– Доктор, – сказал на прощание богослов, – вы внушили мне слишком большое уважение, чтобы я счел необходимым напомнить вам, что врач должен быть так же скромн, как и духовник. (Он играл курком своего ружья.) Вы забыли место, где мы имели честь видеться с вами. До свидания, весьма рад с вами познакомиться.

Коломба умоляла полковника присутствовать при вскрытии трупов.

– Вы знаете, как никто, ружье моего брата, – сказала она, – и ваше присутствие необходимо. Кроме того, здесь столько дурных людей, что мы подвергнемся большому риску, если не будет никого для защиты наших интересов.

Оставшись одна с мисс Лидией, она стала жаловаться на сильную головную боль и предложила ей прогуляться неподалеку от деревни.

– Чистый воздух поможет мне, – говорила она, – я так дав-

но не дышала им!

Во время прогулки она рассказала мисс Лидии о своем брате, и мисс Лидия, для которой эта тема представляла особый интерес, не заметила, как они удалились на большое расстояние от Пьетранеры.

Солнце уже садилось, когда она обратила на это внимание и попросила Коломбу вернуться. Коломба знала дорогу, значительно, по ее словам, сокращавшую обратный путь, и, оставив тропинку, по которой они шли, двинулась по другой, по которой, по-видимому, ходили гораздо реже. Скоро им пришлось взбираться на такую крутую гору, что она должна была, чтобы удержаться, постоянно цепляться одной рукой за ветви, а другой тащила за собой свою подругу. Через четверть часа такого трудного подъема они очутились на маленькой площадке, поросшей миртами и толокнянкой, между которыми со всех сторон вырастали из земли большие гранитные глыбы. Мисс Лидия очень устала, деревни все еще не было видно, вокруг становилось все темнее.

– Знаете, милая Коломба, – сказала она, – я боюсь, как бы мы не заблудились.

– Не бойтесь, – отвечала Коломба. – Пойдем! Идите за мной.

– Но уверяю вас, что вы ошибаетесь: деревня не может быть с этой стороны. Я готова держать пари, что мы от нее удаляемся. Смотрите, видите эти далекие огни? Наверно, это Пьетранера.

– Дорогая моя, – сказала Коломба взволнованно, – вы правы, но в двухстах шагах отсюда... в этом *маки*...

– Ну?

– Там мой брат; я могла бы повидаться с ним и обнять его, если бы вы захотели...

Мисс Невиль посмотрела на нее с удивлением.

– Я ушла из Пьетранеры, не обратив на себя внимания, потому что я была с вами... – продолжала Коломба, – иначе за мной следили бы... Быть около него так близко и не увидеть его?.. Отчего бы вам не пойти со мной к моему бедному брату? Вы доставили бы ему такую радость!

– Но, Коломба... это было бы неприлично с моей стороны.

– Я понимаю! Вы, городские женщины, вы всегда заботитесь о том, что прилично, а мы, деревенские, думаем только о том, что хорошо.

– Но ведь так поздно!.. И что подумает обо мне ваш брат?

– Он подумает, что его друзья не оставили его, и это даст ему твердость переносить страдания.

– А мой отец! Он будет беспокоиться...

– Он знает, что вы со мной. Ну же! Решайтесь... Вы ведь смотрели сегодня на его портрет, – прибавила она с лукавой улыбкой.

– Нет... Право, Коломба, я не смею... Там эти бандиты...

– Ну и что ж такого? Эти бандиты не знают вас. Какое вам до них дело? Тем более вам самой хотелось на них посмотреть.

– Боже мой!

– Послушайте, сударыня, решайтесь. Оставить вас здесь одну я не могу. Неизвестно, что может случиться. Пойдем к Орсо или вернемся вместе в деревню... Я увижусь с братом... бог знает, когда... никогда, быть может...

– Что вы говорите, Коломба?.. Ну, хорошо, пойдете, но только на одну минуту, и сейчас же вернемся.

Коломба пожала ей руку и, не отвечая, пошла так быстро, что мисс Лидия с трудом поспевала за ней. К счастью, Коломба скоро остановилась и сказала подруге:

– Дальше не пойдете, не предупредив их, а то, пожалуй, еще попадем под пулю.

Она вложила два пальца в рот и свистнула; вскоре после этого послышался лай собаки и не замедлил появиться часовой бандитов. Это был наш старый знакомый пес Бруско, который сейчас же узнал Коломбу и стал служить ей проводником. Долго шли они по узкой тропинке, извивавшейся в *маки*, и наконец увидели двух двигавшихся им навстречу мужчин, вооруженных до зубов.

– Это вы, Брандолаччо? – спросила Коломба. – Где мой брат?

– Там! – ответил бандит. – Идите потихоньку: он спит, а это он первый раз заснул после того происшествия. Слава богу! Вот уж правда, что где пройдет черт, там отлично пройдет и баба.

Девушки осторожно подошли и около огня, благоразумно

огороженного стеной из камней, увидели Орсо, лежавшего на куче папоротника и укрытого *piloni*. Он был очень бледен; слышно было, как он тяжело дышал. Коломба села около него и смотрела на него молча, со сложенными руками, как будто бы молясь. Мисс Лидия, закрыв лицо платком, прижалась к ней, но время от времени поднимала голову, чтобы через плечо Коломбы посмотреть на раненого. Прошло четверть часа, и никто не вымолвил ни слова. По знаку патера Брандолаччо вместе с ним углубился в *маки*, к великому удовольствию мисс Лидии, которая впервые нашла, что в бородах и одежде бандитов слишком много местного колорита.

Наконец Орсо шевельнулся. Тотчас же Коломба склонилась над ним и начала целовать его, засыпая вопросами о ране, о боли, о том, не нужно ли ему чего-нибудь. Ответив, что он чувствует себя отлично, Орсо, в свою очередь, спросил у нее, в Пьетранере ли еще мисс Невиль и написала ли она ему. Коломба, нагнувшись над братом, совершенно закрывала от него свою подругу; кроме того, Лидию трудно было узнать в темноте. Коломба одной рукой держала ее за руку, а другой слегка приподнимала голову раненого.

– Нет, она не дала мне письма к вам... А вы все думаете о мисс Невиль? Вы, значит, ее очень любите?

– Люблю ли я ее, Коломба?.. Но она... она, может быть, презирает меня теперь.

Мисс Невиль попыталась вырвать руку, но нелегко было заставить Коломбу выпустить добычу: ее маленькая изящ-

ная ручка обладала изрядной силой, в чем читатель уже имел случай удостовериться.

– Презирать вас! – воскликнула Коломба. – После того, что вы сделали... Напротив, она так хорошо говорит о вас!.. Ах, Орсо, у меня есть много кое-чего порассказать вам о ней!

Рука хотела вырваться, но Коломба притягивала ее все ближе и ближе к Орсо.

– Но почему же она не отвечает мне? – сказал раненый. – Одной только строчки с меня было бы довольно.

Коломба все тянула руку мисс Невиль и наконец вложила ее в руку своего брата; потом она вдруг отодвинулась и рассмеялась.

– Орсо! – воскликнула она. – Не говорите дурно о мисс Невиль – она отлично понимает по-корсикански.

Мисс Лидия сейчас же отняла руку и пробормотала несколько невнятных слов. Орсо подумал, что он бредит.

– Вы здесь, мисс Невиль! Боже мой, как вы решились? Какое счастье для меня!

С трудом поднявшись, он попытался придвинуться к ней.

– Я провожала вашу сестру, чтобы не догадались, куда она идет... а кроме того... я тоже хотела... увериться... Ах, как вам здесь плохо!

Коломба сидела у изголовья Орсо. Она осторожно приподняла его и положила его голову к себе на колени. Она обвила его шею руками и знаком подозвала мисс Невиль.

– Ближе, ближе, – говорила она, – больному вредно на-

прягать голос.

И так как мисс Лидия колебалась, то она опять взяла ее за руку и насильно усадила так близко, что ее платье касалось Орсо, а рука, которую Коломба продолжала держать, лежала на плече раненого.

– Вот так очень хорошо, – весело сказала Коломба. – Не правда ли, Орсо, хорошо в *маки* на биваке в такую прекрасную ночь?

– Да, ночь прекрасная, – сказал Орсо. – Я ее никогда не забуду.

– Как вам, должно быть, больно! – сказала мисс Невиль.

– Мне уже не больно, я хотел бы умереть здесь.

Его правая рука потянулась к руке мисс Лидии, которую Коломба все время держала в плену.

– Вас непременно нужно перенести куда-нибудь, где бы за вами был уход, господин делла Реббиа, – сказала мисс Невиль. – Я не усну после того, как видела, что вам плохо здесь... под открытым небом...

– Если бы я не боялся встретить вас, мисс Невиль, я попробовал бы вернуться в Пьетранеру и дал бы себя арестовать.

– Отчего ж это вы боялись встретиться с нею, Орсо? – сказала Коломба.

– Я не послушался вас, мисс Невиль... и теперь я не посмел бы встретиться с вами.

– Знаете ли, мисс Лидия, вы можете заставить моего брата

делать все, что вам угодно! – со смехом сказала Коломба. – Я не позволю вам видетсья с ним.

– Я надеюсь, что эта мрачная история выяснится, и скоро вам нечего будет бояться... – сказала мисс Невиль. – Я была бы очень рада, если бы знала, уезжая, что ваша невиновность доказана и... что ваше благородство оценено так же высоко, как и ваша храбрость.

– Вы уезжаете, мисс Невиль? О, не говорите этого слова!

– Что ж делать... Нельзя же отцу вечно охотиться. Он собирается уезжать.

Орсо уронил свою руку, касавшуюся руки мисс Невиль, и все замолчали.

– Ну, вот! – начала Коломба. – Мы вас не пустим. У нас в Пьетранере найдется что показать вам. Кроме того, вы обещали мне нарисовать мой портрет, а вы еще его и не начинали. И потом, я обещала вам *serenata* в семьдесят пять куплетов. И потом... Но чего это рычит Бруско? Вон Брандолаччо бежит за ним. Посмотрим, что там такое.

Она сейчас же встала и, без церемонии положив голову Орсо на колени к мисс Невиль, побежала к бандитам.

Немного удивленная тем, что очутилась в *маки* наедине с молодым человеком, голова которого лежала у нее на коленях, мисс Невиль не знала, что ей делать – она боялась неловким движением причинить раненому боль. Но Орсо сам оставил нежную опору, которую только что нашла для него сестра, и, опершись на правую руку, сказал:

– Итак, вы скоро уезжаете, мисс Лидия? Я никогда и не думал, чтобы вам можно было оставаться в этом несчастном краю... и однако... с той минуты, как вы пришли сюда, я во сто раз больше страдаю от мысли, что нужно проститься с вами... Я бедный поручик... без будущего... теперь беглец... Сейчас не время говорить, что я вас люблю... но ведь это единственная возможность высказать вам это, и мне кажется, что теперь, когда я облегчил свое сердце, я не так несчастлив.

Мисс Лидия отвернулась, как будто бы темнота не скрывала краски, проступившей на ее лице.

– Господин делла Реббиа, – сказала она дрожащим голосом, – разве я пришла бы сюда, если бы не... – И, говоря это, она вложила в руку Орсо египетский талисман. Потом, сделав страшное усилие, заговорила своим обычным шутивным тоном: – С вашей стороны, господин Орсо, очень дурно говорить такие вещи. Вы знаете, что в маки, среди ваших бандитов, я никогда бы не посмела рассердиться на вас.

Орсо сделал движение, чтобы поцеловать руку, отдававшую ему талисман, и так как мисс Лидия отняла ее слишком быстро, то он потерял равновесие и упал на раненую руку. Он не мог удержаться от болезненного стога.

– Милый мой, вам больно? – вскрикнула она, поднимая его. – Это я виновата! Простите меня.

Они несколько времени говорили очень тихо и находились близко друг от друга. Прибывшая Коломба застала их

в том же положении, в каком оставила.

– Стрелки! – закричала она. – Орсо, попробуйте встать и идти, я помогу вам.

– Оставьте меня, – сказал Орсо. – Скажите бандитам, пусть они спасаются... Пусть меня возьмут, мне все равно, только уведи мисс Лидию, бога ради, прошу тебя, – чтобы ее не застали здесь.

– Я не покину вас, – сказал Брандолаччо, прибежавший вслед за Коломбой. – Сержант стрелков – крестник адвоката; вместо того чтобы взять вас, он вас убьет, а потом скажет, что сделал это нечаянно.

Орсо попробовал встать, он даже сделал несколько шагов, но скоро остановился.

– Я не могу идти, – сказал он, – а вы бегите. Прощайте, мисс Невиль, дайте мне руку и прощайте!

– Мы не бросим вас! – закричали обе девушки.

– Если вы не можете идти, – сказал Брандолаччо, – значит, мне нужно вас нести. Ну, поручик, подбодритесь. Мы успеем ускользнуть вон через тот овраг. Господин патер отвлечет их.

– Нет, оставьте меня, – сказал Орсо, ложась на землю. – Коломба, бога ради, уведи мисс Невиль!

– Вы сильная, синьора Коломба, – сказал Брандолаччо, – берите его за плечи, а я возьму за ноги. Ладно! Вперед, марш!

Они быстро понесли Орсо, несмотря на его протесты; мисс Лидия в смертельном страхе поспевала за ними; вдруг

раздался выстрел, на который ответило сразу несколько. Мисс Лидия вскрикнула, Брандолаччо выругался, но пошел вдвое быстрее; по его примеру и Коломба бежала сквозь *маки*, не обращая внимания на ветви, хлеставшие ее по лицу и рвавшие ее платье.

– Нагнитесь, нагнитесь, дорогая, – говорила она подруге, – в вас может попасть пуля.

Так они шли или, вернее, бежали шагов пятьсот, пока Брандолаччо не объявил, что он больше идти не в силах, и свалился на землю, несмотря на увещевания и упреки Коломбы.

– Где мисс Невиль? – спрашивал Орсо.

Мисс Невиль, перепуганная выстрелами, останавливаясь каждую минуту в зарослях *маки*, скоро потеряла след беглецов и осталась одна во власти смертельного страха.

– Она отстала, – сказал Брандолаччо. – Ну да она не пропадет! Женщина всегда сыщется. Слышите, Орс Антон, какую трескотню поднял патер из вашего ружья? Беда только, что ни зги не видно, от ночной перестрелки никакого толку.

– Тише! – сказала Коломба. – Слышите, лошадь? Мы спасены!

– Мы спасены! – повторил Брандолаччо. Подбежать к лошади, схватить ее за гриву, вдеть ей в рот вместо удила веревочную петлю было минутным делом для бандита, которому помогала Коломба.

– Теперь предупредим патера, – сказал он.

Он свистнул два раза; далекий свист отозвался на этот сигнал, и выстрелы ментоновского ружья перестали раздаваться. Брандолаччо вскочил на лошадь; Коломба положила брата перед бандитом – тот одной рукой обхватил его, а другой стал править лошадь. Поощренная двумя здоровыми пинками в брюхо, лошадь, несмотря на двойную тяжесть, проворно тронулась, а затем пустилась вскачь с обрыва – там, где сто раз убились бы любая не корсиканская лошадь.

Коломба воротилась и стала изо всей мочи звать мисс Невиль, но никто не отвечал ей. Несколько времени она шла наудачу, стараясь найти прежнюю дорогу, и на узкой тропинке встретила двух стрелков, крикнувших ей:

– Кто идет?

– А, господа! – сказала она насмешливым тоном. – Вот так перестрелка! Сколько убитых?

– Вы были с бандитами, – сказал один из солдат. – Вы пойдете с нами.

– Охотно, – ответила она, – но у меня здесь подруга, нам сначала нужно найти ее.

– Ваша подруга уже задержана, и вы пойдете с ней в тюрьму.

– В тюрьму? Ну, это мы еще посмотрим! А покуда ведите меня к ней.

Стрелки отвели ее на стоянку бандитов, и они подобрали трофеи своего похода, то есть *piloni*, которым был покрыт Орсо, старый котел и кружку с водой. Тут же была и мисс

Невиль; солдаты нашли ее полумертвую от страха, и она отвечала слезами на все их расспросы о числе бандитов и о направлении, по которому они ушли.

Коломба бросилась к ней в объятия и сказала ей на ухо:
– Они спасены!

Потом она обратилась к сержанту:

– Господин сержант, вы видите, что барышня ничего не знает о том, что вы у нее спрашиваете. Отпустите нас в деревню: там нас ждут с нетерпением.

– Вас, моя милочка, отведут туда даже скорее, чем вы хотите, – сказал сержант, – и вам придется объяснить, что вы делали в такое время в *маки* с этими разбойниками, что сейчас убежали. Я не знаю, каким образом колдуют эти плуты, но они, наверно, заговаривают девочек, потому что где бандиты, там и красотки.

– Вы очень любезны, господин сержант, – сказала Коломба, – но я советую вам быть осторожнее. Эта барышня – родня префекту, с ней не шутите.

– Родня префекту! – шепнул один из стрелков своему начальнику. – И то! Она в шляпке.

– Шляпка ничего не значит, – сказал сержант. – Они обе были с патером, а он первый сердцеед во всей стране. Мой долг отвести их. Да и делать нам здесь больше нечего. Не будь этого проклятого капрала Топена... этот пьяница-француз показался прежде, чем я оцепил *маки*... Не будь его, мы захватили бы их, как в сетку.

– Вас семеро? – спросила Коломба. – Знаете ли, господа, что если бы братья Гамбини, Сарокки и Теодоро Поли были с Брандолаччо и патером у креста святой Христины, они могли бы задать вам жару? Если б вам пришлось толковать с *начальником полей*⁴⁹, я постаралась бы при этом не присутствовать. Ночью пуля не разбирает.

Возможность встречи с названными Коломбой страшными бандитами, казалось, произвела на стрелков впечатление. Продолжая ругать эту французскую собаку, капрала Топена, сержант приказал отступить, и маленькое войско двинулось по дороге к Пьетранере, захватив с собой *piloni* и котел. С кружкой разделались ударом ноги. Один из стрелков хотел взять мисс Лидию за руку, но Коломба оттолкнула его.

– Не смейте трогать ее, – сказала она. – Вы думаете, мы хотим убежать? Пойдемте, Лидия, милая, обопритесь на меня и не плачьте, как девочка. Ну, случилось приключение, но ведь оно не кончилось дурно; через полчаса мы сможем поужинать. Я просто умираю от голода.

– Что обо мне подумают? – тихо говорила мисс Лидия.

– Подумают, что вы заблудились в *маки*, вот и все.

– Что скажет префект? А главное, что скажет мой отец?

– Префект?.. Вы посоветуете ему заниматься своей префектурой. Ваш отец?.. По тому, как вы говорили с Орсо, я заключаю, что у вас найдется, что сказать вашему отцу.

Мисс Лидия молча пожала ей руку.

⁴⁹ Такое прозвище было у Теодора Поли. (Прим. авт.)

– Не правда ли? – шептала ей на ухо Коломба. – Мой брат стоит того, чтобы его любить? Ведь вы любите его немножко?

– Ах, Коломба, – отвечала мисс Лидия, улыбаясь, несмотря на свое смущение. – Вы выдали меня, а я так доверяла вам!

Коломба обняла ее за талию и поцеловала в лоб.

– Моя маленькая сестричка, – сказала она тихонько, – вы меня прощаете?

– Приходится простить, моя строгая сестра, – ответила Лидия, возвращая ей поцелуй.

Префект и королевский прокурор остановились у помощника мэра, и полковник, сильно беспокоясь за дочь, в двадцатый раз пришел к ним узнать, нет ли о ней какого-нибудь известия, когда стрелок, отряженный сержантом в качестве вестового, доложил о лютой битве с бандитами, битве, в которой, правда, не было ни убитых, ни раненых, но зато были захвачены котел, *piloni* и две девушки, по уверению стрелков, любовницы или шпионки бандитов. С такой рекомендацией появились под конвоем две пленницы. Можно представить себе сияющее лицо Коломбы, стыд ее подруги, удивление префекта, радость и изумление полковника. Королевский прокурор не мог лишиться себя злорадного удовольствия учинить мисс Лидии нечто вроде допроса и прекратил его, только приведя ее в совершенное смущение.

– Мне кажется, что мы можем выпустить их на свобо-

ду, – сказал префект. – Эти девицы прогуливались в хорошую погоду – ничего не может быть естественнее; случайно они встретили милого молодого раненого – тоже ничего нет естественнее.

Потом он обратился к Коломбе:

– Синьора, вы можете уведомить вашего брата, что его дело приняло лучший оборот, чем я надеялся. Вскрытие трупов и показание полковника доказывают, что он только защищался и что во время схватки он был один. Все уладится, но нужно, чтобы он скорее покинул *маки* и дал себя арестовать.

Было около одиннадцати часов, когда полковник, его дочь и Коломба сели за остывший ужин. Коломба ела с большим аппетитом, насмехаясь над префектом, королевским прокурором и стрелками. Полковник ел молча, все время смотря на дочь, которая не поднимала глаз от тарелки. Наконец мягко, но серьезно спросил по-английски:

– Лидия, ты дала слово делла Реббиа?

– Да, папа, сегодня, – ответила она краснея, но твердо.

Потом она подняла глаза и, не замечая на лице отца никаких признаков гнева, кинулась к нему в объятия и поцеловала его, как делают в подобных случаях благовоспитанные девицы.

– В добрый час! – сказал полковник. – Он славный малый; но, черт возьми, мы не будем жить на его проклятой родине, или я не дам своего согласия.

– Я не понимаю по-английски, – сказала Коломба, смотревшая на них с крайним любопытством, – но я держу пари, что угадала, о чем вы говорите.

– Мы говорим, – отвечал полковник, – что заставим вас уехать в Ирландию.

– Хорошо, я согласна: и я буду *surella Colomba*⁵⁰. Так, полковник? Ударим по рукам?

– В таких случаях целуются, – сказал полковник.

⁵⁰ Сестрица Коломба (*корсик.*). (Прим. авт.)

Глава 20

Через несколько месяцев после двойного выстрела, повергнувшего в смятение общину Пьетранеры (так писали газеты), молодой человек с левой рукой на перевязи выехал после полудня из Бастии и направился к деревне Кардо, известной своим фонтаном, который летом доставляет превосходную воду изнеженным жителям города. Его сопровождала молодая женщина, высокого роста и замечательной красоты, верхом на маленькой вороной лошадке, которая привела бы знатока в восторг своей резвостью и своими статями, но у которой, к несчастью, по странной случайности, было разрезано одно ухо. В деревне молодая женщина проворно спрыгнула на землю, помогла своему спутнику слезть с лошади и отвязала от луки своего седла довольно тяжелые переметные сумки. Лошади были отданы на попечение крестьянину; женщина, пряча сумки под своим *mezzaro*, и молодой человек с двуствольным ружьем направились в горы по очень крутой тропинке, которая, казалось, не вела ни к какому жилию. Дойдя до одного из уступов горы Кверчо, они остановились и оба сели на траве. Казалось, они кого-то ждали, потому что беспрестанно окидывали взглядом гору, а молодая женщина часто смотрела на хорошенькие часы, может быть, столько же для того, чтобы полюбоваться недавно приобретенной вещицей, сколько для того, чтобы знать, не пришел

ли час свидания. Они ждали недолго. Из *маки* вышла собака и на кличку Бруско, произнесенную молодой женщиной, бросилась к ним ласкаться. Немного времени спустя показались двое бородатых мужчин с ружьями в руках, с патронными сумками на поясах, с пистолетами сбоку. Их порванная, вся в заплатках одежда составляла контраст с великолепным оружием известной европейской марки. Несмотря на видимое неравенство положения, все четыре действующих лица этой сцены встретились, как старые друзья.

– Ну, Орс Антон, – сказал старший из бандитов молодому человеку, – вот и кончилось ваше дело за отсутствием состава преступления. Поздравляю. Мне жаль, что адвоката нет на острове, а то я посмотрел бы, как он бесится. А ваша рука?

– Мне сказали, что через две недели можно будет снять повязку, – сказал молодой человек. – Добрый мой Брандо, завтра я еду в Италию, и мне хотелось попрощаться с тобой, так же как и с господином патером. Вот почему я просил вас прийти.

– Вы очень торопитесь, – сказал Брандолаччо. – Вчера вас оправдали, а завтра вы уже едете.

– Есть дела, – весело сказала молодая девушка. – Господа, я принесла вам ужин: кушайте и не забудьте моего друга Бруско.

– Вы, синьора Коломба, балуете Бруско, но он благодарный пес, вы это сейчас увидите. Ну, Бруско, – сказал он, горизонтально протягивая ружье, – прыгни в честь Барричини!

Собака не тронулась с места и, облизываясь, смотрела на хозяина.

– Прыгни в честь дела Реббиа!

И тут Бруско прыгнул на два фута выше, чем от него требовалось.

– Слушайте, друзья, – сказал Орсо, – вы занимаетесь дурным ремеслом, и если вам не придется кончить свое поприще вон на той площади внизу, что видна отсюда⁵¹, то самое лучшее, что может случиться с вами, – это пасть в *маки* от жандармской пули.

– Ну что ж! – сказал Кастрикони. – И эта смерть не хуже всякой другой; лучше умереть так, чем от лихорадки, которая убьет вас в постели среди более или менее искренних рыданий наших наследников.

– Я был бы рад, если б вы покинули эту страну, – продолжал Орсо, – и стали бы вести более спокойную жизнь. Например, отчего бы вам не устроиться в Сардинии, как сделали многие из ваших товарищей? Я мог бы вам в этом помочь.

– В Сардинии! – воскликнул Брандолаччо. – *Istos sardos*⁵², чтоб их черт побрал вместе с их наречием. Это для нас слишком дурная компания.

– В Сардинии нечем жить, – прибавил богослов. – Что до меня, я презираю сардинцев. Для охоты за бандитами у них есть конная милиция; это кладет пятно на бандитов и на всю

⁵¹ Площадь в Бастии, на которой совершаются казни. (Прим. авт.)

⁵² Ах, эти сарды! (лат.).

страну⁵³. Провалилась она, Сардиния! Меня удивляет, синьор делла Реббиа, как это вы, человек образованный и со вкусом, раз попробовав пожить с нами в *маки*, не остались у нас.

– Но ведь когда я был вашим нахлебником, – сказал, улыбаясь, Орсо, – я был совсем не в таком состоянии, чтобы оценивать прелесть вашего положения: у меня до сих пор болят бока, когда вспомню, как в одну прекрасную ночь друг мой Брандолаччо скакал на лошади без седла, перекинув меня поперек, как какой-нибудь тюк.

– А удовольствие уйти от погони? – возразил патер. – Вы его ни во что не ставите? Как вы можете оставаться нечувствительным к прелести полной свободы в таком прекрасном климате, как наш? С этим надежным товарищем в руках (он показал на свое ружье) вы король всюду, куда достает его пуля. Вы повелеваете, вы наказываете виновных... Это весьма нравственное и весьма приятное развлечение, синьор делла Реббиа, и мы никогда не отказываем себе в нем. Какая жизнь может сравниться с жизнью странствующего рыцаря, у которого и оружие, и здравый смысл лучше, чем у Дон Кихота? Слушайте: однажды я узнал, что дядя маленькой Лиллы Луиджи, старый скряга, не хочет давать ей приданого; я написал ему – без угроз, это не в моем вкусе, – ну и сейчас же убедил человека: он выдал ее замуж. Я составил

⁵³ Это критическое замечание о Сардинии принадлежит одному моему приятелю, бывшему бандиту, всецело за него ответственному. Он хочет сказать, что бандиты, позволяющие захватить себя всадникам, очень глупы и что милиционер, преследующий бандитов верхом, ни за что бы их не настиг. (Прим. авт.)

счастье двух существ. Поверьте мне, синьор Орсо: ничто не может сравниться с жизнью бандита. Эх!.. Вы, может быть, были бы нашим, если б не одна англичанка, которую я видел только мельком, но о которой там, в Бастии, все говорят с восторгом.

– Моя будущая невестка не любит *маки*, – сказала, смеясь, Коломба, – ее там напугали.

– Итак, вы хотите остаться здесь, – сказал Орсо. – Пусть будет по-вашему. Скажите, могу я сделать что-нибудь для вас?

– Помните о нас немножко, вот и все, – отвечал Брандолаччо. – Вы и так много для нас сделали. Килина теперь с приданым, и чтобы пристроить ее, стоит только моему другу патеру написать несколько писем без угроз. Мы знаем, что ваш фермер будет давать нам хлеба и пороху сколько нам понадобится. Итак, до свидания. Надеюсь еще увидеться с вами когда-нибудь на Корсике.

– В черный день несколько золотых будут очень кстати, – сказал Орсо. – Мы старые знакомые, не откажитесь принять от меня этот маленький сверток: он пригодится вам.

– Никаких денег, поручик, – решительно возразил Брандолаччо.

– В городах деньги – это все, – добавил Кастрикони, – а в *маки* дороги только смелое сердце да ружье без осечки.

– Я не хотел бы расстаться с вами, не оставив вам что-нибудь на память, – возразил Орсо. – Ну, Брандо, что бы тебе

дать?

Бандит почесал голову и искоса посмотрел на ружье Орсо.

– Знаете, поручик... Если б я посмел... да нет, вы им слишком дорожите.

– Чего тебе хочется?

– Ничего, сама штука-то ничего не значит. Нужно уметь обращаться с нею. Я все думаю об этом чертовском двойном выстреле одною рукой... Нет, такие вещи не повторяются.

– Ты хочешь это ружье? Я отдам тебе его, но пусть оно служит тебе как можно реже.

– Я не обещаю стрелять из него так же метко, как вы, но будьте покойны: когда оно попадет в руки кого-нибудь другого, тогда вы смело сможете сказать, что Брандо Савелли не умел держать в руках ружье.

– А что мне дать вам, Кастрикони?

– Так как вы непременно хотите оставить мне о себе какую-нибудь вещественную память, то я без церемонии попрошу вас прислать мне Горация возможно меньшего формата. Это доставит мне развлечение и не даст мне забыть латынь. В Бастии на пристани одна там... продает сигары, отдайте ей, а она передаст мне.

– Я пришлю вам эльзевир, господин ученый; у меня есть один экземпляр среди книг, которые я хотел увезти с собой... Ну, друзья мои, пора. Пожмем друг другу руки. Если вы вздумаете уехать в Сардинию, напишите мне. Адвокат Н. даст вам мой адрес на континенте.

– Поручик, – сказал Брандо, – завтра, когда вы выйдете из гавани, смотрите на гору, на это место: мы будем здесь и помашем вам платками.

И они расстались. Орсо с сестрой двинулись по направлению к Кардо, а бандиты ушли в горы.

Глава 21

В прекрасное апрельское утро полковник сэра Томаса Невиль, его дочь, несколько дней тому назад вышедшая замуж, Орсо и Коломба выехали в коляске из Пизы, чтобы побывать в недавно открытом этрусском подземелье, которое ездили смотреть все иностранцы. Спустившись в подземелье, Орсо с женой вынули карандаши и сочли своим долгом зарисовать роспись стен; полковник же и Коломба, оба довольно равнодушные к археологии, оставили их вдвоем и пошли гулять по окрестностям.

– Милая Коломба, – сказал полковник, – мы не успеем вернуться в Пизу к нашему *luncheon*. Вам хочется есть? Орсо с женой увлеклись древностями; уж как примутся рисовать вместе, до завтра не кончат.

– Да, – сказала Коломба, – а между тем они еще не принесли ни одного рисунка.

– По моему мнению, нам следует зайти вон на ту маленькую ферму. Там мы найдем хлеб, может быть, *алеатико*. И кто знает? – может быть, даже сливки и землянику, и будем терпеливо ждать наших рисовальщиков.

– Ваша правда, полковник. Вы и я – рассудительные люди в семье, и нам не следует делать себя мучениками из-за этих влюбленных, которые живут одной поэзией. Дайте мне руку. Не правда ли, я совершенствуюсь? Я хожу под руку, ношу

шляпы, модные платья; у меня есть золотые безделушки, я научилась многим прекрасным вещам, я больше не дикарка. Посмотрите, с какой грацией я ношу шаль... Этот блондин, этот офицер вашего полка, что был на свадьбе... Боже мой, я не могу запомнить его фамилии... Высокий, кудрявый; я сбила бы его с ног одним ударом кулака...

– Четворт? – спросил полковник.

– Кажется, так, только этого я никогда не выговорю. Ну, так он влюблен в меня без памяти.

– Ах, Коломба! Вы становитесь кокеткой... У нас скоро будет другая свадьба.

– Чтобы я вышла замуж! А кто же будет воспитывать моего племянника, когда мне подарит его Орсо? Кто же научит его говорить по-корсикански? И чтобы вас взбесить, я сделаю ему остроконечную шапку.

– Сначала подождем, пока у вас будет племянник, а там уж научите его играть стилетом, если вам это нравится.

– Прощайте, стилеты! – весело сказала Коломба. – Теперь у меня есть веер, чтобы бить вас по пальцам, когда вы будете говорить дурно о моей родине.

Разговаривая таким образом, они вошли на ферму – там были и вино, и земляника, и сливки. Коломба помогла фермерше рвать землянику, а полковник в это времяпил *алеатико*. На повороте аллеи Коломба заметила старика, сидевшего на солнце в соломенном кресле; казалось, он был болен, потому что его щеки ввалились, глаза впали; он был

необыкновенно худ, и его неподвижность, бледность, остановившийся взгляд делали его похожим скорее на мертвеца, чем на живое существо. Несколько минут Коломба рассматривала его с таким любопытством, что привлекла к себе внимание фермерши.

– Этот бедный старик, – сказала она, – ваш земляк, – я ведь вижу по вашему выговору, что вы корсиканка, синьора. С ним на родине случилось несчастье: его дети умерли ужасной смертью. Простите меня, синьора, но говорят, что ваши земляки не очень милостивы к своим врагам. Этот человек остался один; он приехал отсюда в Пизу к своей дальней родственнице, владелице этой фермы. Бедняга с горя и печали немножко рехнулся... Это стесняло барыню, у нее бывает много гостей, она и отослала его сюда. Он очень смирен, никому не мешает, за целый день и трех слов не скажет. Тронулся! Доктор ездит каждую неделю и говорит, что он долго не протянет.

– Он безнадежен? – спросила Коломба. – В его положении это счастье.

– Поговорите с ним по-корсикански, синьора, он, может быть, немного подбодрится, если услышит родной язык.

– Посмотрим, – сказала Коломба с иронической улыбкой и подошла к старику так, что закрыла собою солнце. Бедный слабоумный поднял голову и стал пристально смотреть на Коломбу, которая тоже смотрела на него, все время улыбаясь. Мгновение спустя он провел рукой по лбу и закрыл гла-

за, как будто желая избежать ее взгляда. Потом он открыл их, но уже совсем широко; его губы дрожали; он хотел протянуть руку, но, замороженный Коломбой, остался прикованным к своему креслу, не будучи в состоянии ни говорить, ни двигаться. Наконец крупные слезы потекли по его щекам и из груди вырвались рыдания.

– В первый раз я вижу его таким, – сказала садовница. – Эта синьора – ваша землячка; она приехала повидаться с вами, – обратилась она к старику.

– Сжался! – воскликнул он хриплым голосом. – Сжался! Неужели тебе еще мало? Листок этот... что я сжег... Как ты сумела его прочесть? Но за что же обоих? Орландуччо... Ты ничего не могла о нем прочесть... Нужно было оставить мне одного... только одного... Орландуччо... Ты не прочла его имени.

– Мне нужны были оба, – тихо сказала Коломба по-корсикански. – Ветви обрезаны, и если бы ствол не сгнил, я вырвала бы и его... Не жалуйся – тебе недолго страдать! А я страдала два года!

Старик вскрикнул, и голова его упала на грудь. Коломба повернулась к нему спиной и медленно пошла к дому, невнятно напевая слова *ballata*: «Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало...»

Пока садовница хлопотала, помогая старику, Коломба с разгоревшимся лицом и блестящими глазами села за стол напротив полковника.

– Что с вами? – спросил он. – Вы теперь такая же, как были в Пьетранере в тот день, когда в нас стреляли во время обеда.

– Я вспомнила Корсику. Но это все в прошлом. Я буду крестной, не правда ли? О, какие славные имена я ему дам. Гильфуччо-Томмазо-Орсо-Леоне.

В это время вошла садовница.

– Ну, что? – совершенно спокойно спросила Коломба. – Он умер или только в обмороке?

– Сейчас уже ничего, синьора, но странно, как ваш вид подействовал на него.

– И доктор сказал, что он недолго протянет?

– Месяца два.

– Потеря небольшая, – заметила Коломба.

– О ком вы говорите? – спросил полковник.

– Об одном слабоумном из нашего края, – равнодушно сказала Коломба, – он живет здесь. Я буду справляться о нем. Послушайте, полковник, оставьте же земляники брату с Лидией!

Когда Коломба вышла, чтобы сесть в коляску, фермерша несколько времени провожала ее взглядом.

– Посмотрите на эту хорошенькую синьору, – сказала она своей дочери. – Я уверена, что у нее дурной глаз.

Кармен

*Πᾶσα γυνὴ χόλοζ ἐστὶν εἶχει δ'ἀγαθάζ δι'ο ωραζ,
Τὴν μίαν ἐν θαλάμω, τὴν μίαν ἐν θανάτῳ.
Παλλάδαζ⁵⁴*

Глава 1

Я всегда считал, что географы сами не знают, что говорят, утверждая, будто поле битвы при Мунде находится в стране пунических бастулов, а именно близ нынешней Монды, милях в двух к северу от Марбельи. На основании выводов, сделанных мною из *Bellum Hispaniense*, книги некоего анонимного автора, и сведений, которые мне удалось почерпнуть в превосходной библиотеке герцога Осунского, я полагал, что достопамятное место, где Цезарь в последний раз все поставил на карту в своей борьбе против сторонников республики, надобно искать неподалеку от Монтильи. Находясь в Андалусии ранней осенью 1830 года, я предпринял довольно длительную поездку, чтобы рассеять немногие еще оставшиеся у меня сомнения. Исследование, которое я собираюсь опубликовать, ответит, надеюсь, на недоуменные во-

⁵⁴ Всякая женщина – зло; но дважды бывает хорошей: или на ложе любви, или на смертном одре. *Паллад*

просы всех добросовестных археологов. А в ожидании того, когда мой труд разрешит, наконец, географическую загадку, поставившую в тупик всю ученую Европу, я хочу рассказать вам небольшую историю; замечу, что она ни в коей мере не предрешает любопытного вопроса о местонахождении Мунды.

Я нанял в Кордове проводника с двумя лошадьми и отправился в поход, не имея при себе иного багажа, кроме *Записок Цезаря* и нескольких рубашек. Я бродил как-то по возвышенной части Каченской равнины и, изнемогая от усталости, умирая от жажды, палимый раскаленными лучами солнца, от всего сердца посылал к черту Цезаря и сыновей Помпея, как вдруг заметил неподалеку от тропинки, по которой ехал, зеленую лужайку, кое-где поросшую камышами и тростником. Вид ее предвещал близость источника. В самом деле, я вскоре убедился, что предполагаемая лужайка была болотом, в котором терялся ручей, по-видимому, вытекавший из узкого ущелья между двумя высокими отрогами сьерры Кабра. В голову мне пришла мысль, что, поднявшись вверх по его течению, я найду воду похолоднее с меньшим количеством пиявок и лягушек, а также, быть может, немного тени среди скал. При въезде в ущелье конь мой заржал, и ему тут же ответил другой, не видимый мною конь. Не успел я проехать и сотни шагов, как ущелье внезапно расширилось, явив моему взору нечто вроде естественного амфитеатра, затененного окружающими его обрывистыми склона-

ми. Невозможно было найти место, сулящее путнику более приятный отдых. У подножия отвесных скал ручей, бурля, ускорял свой бег и падал с кручи в маленькое озеро, дно которого было устлано белоснежным песком. Внизу росли великолепные каменные дубы; защищенные от ветра и обильно питаемые влагой ручья, они бросали на него густую тень. Наконец мягкая, глянцеви́тая трава по берегам озерца обещала путнику ложе, лучше которого нельзя было бы сыскать ни в одной харчевне на десять миль вокруг.

Однако не мне принадлежала честь открытия этого превосходного места. Там уже отдыхал какой-то человек, и, когда я подъехал к нему, он, видимо, спал. Разбуженный ржанием, он вскочил на ноги и подошел к своему коню, который воспользовался сном хозяина, чтобы досыта наесться растущей поблизости травой. То был молодой малый среднего роста, но с виду ловкий и сильный, которого отличал мрачный гордый взгляд. Под действием солнца цвет его лица, вероятно, светлый от природы, был теперь темнее волос. В одной руке он держал недоуздок, в другой – медный мушкетон. Признаюсь, поначалу меня несколько озадачили и мушкетон, и свирепый вид его владельца; но я разуверился в существовании разбойников, ибо ни разу не видел их, хотя и был о них наслышан. Кроме того, я встречал столько честных фермеров, которые вооружались до зубов, дабы ехать на рынок, что наличие огнестрельного оружия еще не давало мне права ставить под сомнение добропорядочность незнакомца.

«Да и, кроме того, – подумал я, – на что ему мои рубашки и *Записки Цезаря*, напечатанные эльзевирами?» Итак, я приветствовал человека с мушкетонном дружелюбным кивком и осведомился, улыбаясь, не нарушил ли я его покоя. В ответ он молча смерил меня взглядом с головы до ног и, вероятно, удовлетворенный осмотром, столь же внимательно посмотрел на подъезжающего проводника. Я заметил, что тот побледнел и с очевидным испугом осадил коня. «Неприятная встреча!» – подумал я, но осторожности ради решил не выказывать ни малейшего беспокойства. Я спрыгнул на землю, велел проводнику разнуздать моего коня и, встав на колени у ручья, погрузил в него голову и руки; затем лег ничком и в таком положении утолил жажду по примеру плохих воинов Гедеона.

Я наблюдал вместе с тем за своим проводником и за незнакомцем. Первый приближался с явной неохотой; второй, казалось, не замышлял ничего дурного; он отпустил своего коня и мушкетон держал уже не наперевес, а дулом вниз.

Не считая нужным обижаться на малое значение, какое он, видимо, придал моей особе, я растянулся на траве и непринужденно спросил, нет ли у него огнива. И тут же вытащил свой портсигар. Незнакомец все так же молча порылся у себя в кармане, достал огниво и услужливо высек для меня огонь. Он несомненно становился покладистее – он сел против меня, не расставаясь, правда, со своим оружием. Закрыв, я выбрал лучшую из оставшихся у меня сигар и спро-

сил, не курит ли он.

– Курю, сеньор, – ответил он.

То были первые сказанные им слова, и я заметил, что он произносит *s* не по-андалусски⁵⁵, из чего можно было заключить, что он путешественник, как и я, но только не совсем археолог.

– Возьмите, пожалуйста, вот эта недурна, – сказал я, предлагая ему настоящую гаванскую сигару.

Он слегка наклонил голову в знак благодарности, прикурил от моей сигары, еще раз кивнул мне и затянулся с нескрываемым наслаждением.

– До чего ж я давно не курил! – воскликнул он, медленно выпуская первую затяжку изо рта и ноздрей.

В Испании выкуренная вместе сигара располагает людей друг к другу, подобно угощению хлебом и солью на Востоке. Курильщик мой оказался более разговорчивым, чем я полагал. Впрочем, хоть он и утверждал, что живет в Монтильском округе, но с местностью знаком был плохо. Он не знал наименования прелестной долины, где мы находились, не мог назвать ни одной близлежащей деревни и, наконец, на мой вопрос, не видел ли он в окрестностях разрушенных стен, больших черепиц с закраинами или украшенных орнаментом камней, признался, что никогда не обращал внима-

⁵⁵ Андалусцы произносят «*s*» с придыханием, как нечто среднее между мягким «*s*» и «*z*», тогда как испанцы выговаривают его на манер английского *th*. Так, по одному слову *senor* легко узнать андалусца. (Прим. авт.)

ния на такие мелочи. Зато он оказался знатоком по части лошадей. Он раскритиковал мою лошадь, что было нетрудно сделать, затем описал родословную своего коня, знаменитого кордовского завода, животного поистине благородного и такого выносливого, что, по словам незнакомца, он как-то проскакал на нем галопом и крупной рысью тридцать миль за один день. Посреди своей тирады он вдруг запнулся, как бы спохватившись, что наговорил лишнего. «Видите ли, я очень торопился в Кордову, – заметил он не без смущения. – Мне надо было посоветоваться с законниками по поводу одной тяжбы...» Говоря это, он смотрел на Антонио, который сидел потупившись.

Тенистое место и ручей привели меня в такое хорошее расположение духа, что я вспомнил о ломтях превосходной ветчины, которые мои монтильские друзья положили в переметную суму проводника. Я велел достать их и пригласил незнакомца принять участие в этом наскоро устроенном завтраке. Если он давно не курил, то не ел, вероятно, не меньше двух суток. Он набросился на еду, как голодный волк. Я подумал, что встреча со мной была как нельзя более кстати для бедного малого. Между тем мой проводник ел мало, пил и того меньше и вовсе не говорил, хотя в начале нашего путешествия показался мне изрядным болтуном. Присутствие нашего гостя, видимо, стесняло его, и взаимное недоверие разделяло обоих, хотя причину этого я не совсем понимал.

Последние крошки хлеба и ветчины были доедены; мы

успели выкурить по второй сигаре; я велел проводнику взнудать обоих коней и собрался было проститься со своим новым приятелем, но он спросил меня, где я намерен провести ночь. Не заметив поначалу знаков, которые мне делал проводник, я ответил, что направляюсь в венту дель Куерво.

– Неподходящее это место для такого человека, как вы, сеньор... Я еду туда же и, если разрешите, провожу вас.

– Охотно, – ответил я, садясь в седло.

Проводник, державший мне стремя, снова многозначительно взглянул на меня. В ответ я лишь пожал плечами, как бы говоря, что не вижу причины для беспокойства, и мы двинулись в путь.

Таинственные знаки и тревога Антоньо, некоторые слова, вырвавшиеся у незнакомца, а главное, его тридцатимильная скачка и не слишком правдоподобное ее объяснение все же помогли мне составить мнение о моем попутчике. Я не сомневался, что имею дело с контрабандистом, быть может, с вором, но какое это имело значение? Я хорошо знал характер испанцев и был вполне уверен, что мне нечего опасаться человека, с которым мы вместе закусывали и курили. Само его присутствие было надежной защитой на случай какой-нибудь неприятной встречи. К тому же мне было интересно узнать, что представляет собой настоящий разбойник. Ведь с разбойниками не так уж часто встречаешься, и есть нечто заманчивое в соседстве с человеком опасным, особенно когда чувствуешь, что он расположен к тебе, приручен.

Я надеялся исподволь вызвать незнакомца на откровенность и, невзирая на подмигивание проводника, навел разговор на разбойников с большой дороги. Разумеется, я говорил о них с уважением. В то время в Андалусии подвизался знаменитый разбойник, подвиги которого были у всех на устах. «А что, если бок о бок со мной едет сам Хосе Мария?» – говорил я себе. Я принялся рассказывать истории, слышанные мною об этом герое, – впрочем, все они были к его чести – и открыто выражал свое восхищение его смелостью и великодушием.

– Хосе Мария попросту мерзавец, – холодно заметил незнакомец.

«Отдает ли он себе должное, или же это излишняя скромность с его стороны?» – недоумевал я; в самом деле, чем внимательнее я вглядывался в своего спутника, тем больше поражало меня его сходство с тем Хосе Мария, приметы которого были вывешены на воротах многих андалусских городов. «Да, это он... Светлые волосы, голубые глаза, крупный рот, прекрасные зубы, небольшие руки; рубашка из тонкого полотна, бархатная куртка с серебряными пуговицами, белые кожаные гетры, гнедая лошадь... Никаких сомнений – это он! Но будем уважать его инкогнито».

Мы приехали в венту. Она оказалась именно такой, как говорил незнакомец, то есть одной из самых неказистых, какие мне доводилось видеть. Состояла она из одной большой комнаты, служившей одновременно кухней, столовой

и спальней. Огонь разводили посреди помещения на большом плоском камне, а дым выходил из отверстия, проделанного в крыше, или, вернее, застаивался наподобие облака в нескольких футах от пола. Вдоль стен лежали старые ослиные попоны – постели, приготовленные для путешественников. В двадцати шагах от дома, или, точнее, от единственной комнаты, только что описанной мною, я увидел нечто вроде сарая, служившего конюшней. В этом восхитительном пристанище не было иных человеческих существ, по крайней мере в ту минуту, кроме старухи и девочки лет десяти-двенадцати, черных, как сажа, и одетых в неопишуемые лохмотья. «Вот все, что сохранилось от народа, некогда населявшего Бэтическую Мунду, – подумал я. – О Цезарь! О Секст Помпей! Как вы были бы поражены, доведись вам вернуться в этот мир!»

При виде моего спутника у старухи вырвался возглас удивления:

– Как, это вы, сеньор дон Хосе?!

Дон Хосе нахмурился и, повелительно подняв руку, сразу заставил старуху прикусить язык. Я обернулся к проводнику и еле приметным знаком дал ему понять, что и без него понимаю, с каким человеком мне предстоит провести ночь. Ужин оказался лучше, чем можно было ожидать. Нам подали на столике, не больше фута высотой, рагу из старого петуха с перцем и рисом, затем перец в оливковом масле и, наконец, *гаспачо* – род салата из перца. Три столь острых блюда

вынудили нас частенько прибегать к бурдюку с монтильским вином, которое оказалось превосходным. Поужинав, я заметил висящую на стене мандолину – в Испании всюду имеются мандолины – и спросил прислуживавшую нам девочку, играет ли она на ней.

– Нет, – ответила она, – а вот дон Хосе уж больно хорошо играет.

– Будьте добры, – обратился я к нему, – спойте мне что-нибудь, я безумно люблю вашу народную музыку.

– Я ни в чем не могу отказать такому достойному сеньору, который вдобавок угощает меня такими отменными сигарами, – весело отозвался дон Хосе.

Он велел подать мандолину и запел, сам себе аккомпанируя. Голос у него был грубоват, но приятен, напев показался мне печальным и странным, но я не понял ни одного слова.

– Если не ошибаюсь, – сказал я ему, – вы спели не испанскую песню. Она походит на *сорсико*, которые мне доводилось слышать в *Провинциях*⁵⁶, а слова песни, видно, баскские.

– Да, – мрачно ответил дон Хосе.

Он положил мандолину на пол и, скрестив руки, с выражением неизъяснимой печали устремил взор на затухающий огонь очага. Освещенное лампой, стоявшей на столике, его лицо, одновременно благородное и необузданно-дикое, на-

⁵⁶ Привилегированные провинции – это провинции, пользующиеся особыми правами, а именно: Алава, Бискайя, Гипуская и часть Наварры. Язык там баскский. (Прим. авт.)

поминало мне мильтоновского сатану. Как и тот, мой спутник, вероятно, думал о родном крае и об изгнании, которому подвергся по собственной вине. Я попытался возобновить разговор, но дон Хосе молчал, поглощенный своими невеселыми думами. Старуха уже легла спать в углу комнаты, за висящим на веревке дырявым одеялом. Девочка тоже ушла вслед за ней в это убежище, предназначенное для прекрасного пола. Тут поднялся с места мой проводник и попросил меня сходить с ним в конюшню. При этих словах дон Хосе, как бы внезапно пробудившись, резко спросил его, куда это он собрался.

– В конюшню, – ответил проводник.

– Зачем? У лошадей есть корм. Ложись здесь, сеньор разрешит.

– Боюсь, как бы конь сеньора не заболел; пусть сеньор сам на него взглянет, может, посоветует, что с ним делать.

Было ясно, что Антоньо нужно поговорить со мной с глазу на глаз; но я не собирался вызывать подозрения у дона Хосе, да и при возникшей между нами приятности считал за лучшее выказывать ему полнейшее доверие. Итак, я ответил Антоньо, что ничего не смыслю в лошадях и, кроме того, хочу спать. Вместе с Антоньо в конюшню отправился дон Хосе, но вскоре вернулся. По его словам, конь был вполне здоров, но проводник так печется о нем, что усердно растирает ему бока собственной курткой, дабы вызвать испарину, и намерен провести всю ночь за этим приятным занятием. Между

тем я улегся на ослиных пополах, тщательно закутавшись в плащ, чтобы к ним не прикасаться. Попросив у меня извинения за то, что он осмеливается лечь рядом со мной, дон Хосе растянулся возле двери, но предварительно насыпал свежего пороха в свой мушкетон и положил его под переметную суму, служившую ему подушкой. Пожелав друг другу покойной ночи, мы через пять минут уже спали глубоким сном.

Мне казалось, что усталость возьмет свое и я сумею проспать всю ночь в этом убогом жилище; но не прошло и часа, как пренеприятный зуд нарушил мой сон. Без труда убедившись, чем он вызван, я подумал, что лучше провести остаток ночи под открытым небом, чем под этим негостеприимным кровом. Я встал, на цыпочках подошел к двери, перешагнув через дону Хосе, который спал сном праведника, и так тихо вышел на улицу, что не разбудил его. Возле двери стояла широкая деревянная скамья; я примостился на ней, чтобы поудобнее провести остаток ночи, и собрался снова уснуть, как вдруг мне почудились две тени – человека и коня, – бесшумно двигавшиеся рядом. Я приподнялся, и мне показалось, что человек этот Антонио. Удивленный тем, что он вышел из конюшни в столь поздний час, я встал и направился к нему. Заметив меня, проводник остановился и спросил шепотом:

– Где он?

– В венте. Спит, даже клопов не боится. Куда вы ведете коня?

Тут я заметил, что Антоньо старательно обмотал копыта лошади обрывками старого одеяла, чтобы неслышно вывести ее из сарая.

– Говорите тише, ради бога, – молвил Антоньо. – Неужто вы не знаете, кто этот человек? Это же Хосе Наварро, самый знаменитый разбойник в Андалусии. Я весь день делал вам знаки, но вы не сообразовали меня понять.

– Разбойник он или нет, какое мне до этого дело? – возразил я. – Он нас не ограбил, и готов побиться об заклад, что не собирается грабить.

– Тем лучше, но за его выдачу обещаны двести дукатов. В полутора лье отсюда находится уланский пост, и я успею вернуться до рассвета с дюжими молодцами. Я хотел было взять коня Наварро, но он такой злющий, что никого к себе не подпускает, кроме хозяина.

– Черт бы вас побрал! – сказал я. – Что вам сделал плохого этот несчастный человек? Зачем выдавать его? Да и уверены ли вы, что это тот самый знаменитый разбойник?

– Еще бы, конечно, уверен. Давеча, на конюшне, он вдруг говорит мне: «Ты, видно, знаешь меня. Но попробуй только сказать, кто я такой, этому доброму сеньору, и я всажу тебе пулю в лоб». Оставайтесь, сеньор, оставайтесь: вам его нечего опасаться. Пока вы здесь, он ничего не заподозрит.

Разговаривая, мы настолько отошли от венты, что оттуда уже нельзя было услышать стук лошадиных копыт. Антоньо мигом снял тряпье, которым были обмотаны копыта коня, и

собрался вскочить в седло. Просьбами и угрозами я попытался его удержать.

– Я бедный человек, сеньор, – сказал он. – Двести дукатов на полу не валяются, да и платят их за то, чтобы избавить наш край от такой напасти, как Наварро. Будьте осторожны. Если он проснется, то сразу схватится за мушкетон, и тогда берегитесь! Мне отступать поздно: я слишком далеко зашел. Выпутывайтесь как знаете.

Негодяй вскочил в седло; он пришпорил коня, и было так темно, что я вскоре потерял его из виду.

Я был крайне встревожен и очень зол на своего проводника. Поразмыслив, я принял решение и вернулся в венту. Дон Хосе все еще спал – наверно, восстанавливал силы после нескольких изнурительных дней и бессонных ночей. Мне пришлось растолкать его. Никогда не забуду его свирепого взгляда и движения, которое он сделал, чтобы схватить мушкетон, который я из предосторожности положил подальше от него.

– Сеньор, – сказал я ему, – извините, что разбудил вас, но мне надо задать вам один дурацкий вопрос. Скажите, было бы вам приятно или нет, если бы сюда нагрянули уланы?

Он вскочил на ноги и грозно спросил:

– Кто вам сказал?

– Не все ли равно, лишь бы совет был хорош.

– Ваш проводник предал меня, но он поплатится за это.

Где он?

– Не знаю... Должно быть, в конюшне... Но мне сказали...

– Кто?.. Старуха не могла сказать...

– Какой-то человек, я его не знаю... Без дальних слов, намерены вы или нет ждать солдат? Если нет, то не теряйте времени; в противном случае, покойной ночи, извините, что зря потревожил вас.

– Уж этот мне проводник! Он сразу не понравился мне... но... его песенка спета!.. Прощайте, сеньор. И да воздаст вам господь бог за услугу, которую вы мне оказали. Я не так уж плох, как вы можете подумать... Да, во мне еще есть кое-что хорошее, и я заслуживаю сострадания порядочного человека... Прощайте, сеньор... Об одном жалею, что ничем не могу отблагодарить вас.

– В благодарность за мою услугу обещайте, дон Хосе, никого не подозревать и не думать о мести. Натэ, вот вам несколько сигар на дорогу. Счастливого пути!

Я протянул ему руку. Он молча пожал ее, схватил мушкетон, переметную суму и, сказав несколько слов старухе на непонятном мне наречии, бегом бросился в конюшню. Несколько секунд спустя я услышал удаляющийся галоп его коня.

Я снова лег на скамью, но уснуть мне так и не удалось. Я мучительно думал о том, правильно ли я поступил, избавив от виселицы вора, а может быть, и убийцу только потому, что мы ели вместе с ним ветчину и рис по-валенсийски. Не предал ли я своего проводника, стоявшего на стороне зако-

на? Не подверг ли я его мести негодяя? Ну, а долг гостеприимства?.. Первобытный предрассудок, и только, – размышлял я. К тому же отныне мне придется нести ответственность за все будущие преступления этого разбойника... Но разве можно назвать предрассудком некий внутренний голос, не подвластный доводам разума? По всей вероятности, угрызения совести неизбежны в том щекотливом положении, в котором я очутился. Я все еще пребывал в полнейшей нерешительности касательно нравственности своего поступка, как вдруг увидел человек пять всадников вместе с моим проводником, который благоразумно держался в арьергарде. Выйдя им навстречу, я сказал, что разбойник спасся бегством более двух часов назад. На вопросы бригадира старуха ответила, что она знает Наварро, но живет здесь одна и ни за что не донесла бы на него из страха за свою жизнь. Она добавила, что, бывая у нее, он всегда уезжает ночью. Мне же пришлось отправиться за несколько лье от венты, чтобы предъявить паспорт и дать показания алькайду, после чего я получил разрешение продолжать свои археологические изыскания. Антоньо злился на меня, подозревая, что я помешал ему заработать двести дукатов. Однако в Кордове мы расстались по-приятельски, ибо я расплатился с ним так щедро, как только позволяло состояние моего кошелька.

Глава 2

Я провел в Кордове несколько дней. Мне было известно, что в библиотеке доминиканцев имеется некая рукопись, в которой можно найти интересные сведения о Древней Мунде. Прекрасно принятый гостеприимными монахами, я проводил весь день в монастыре, а вечером гулял по городу. Перед заходом солнца на набережной, идущей по правому берегу Гуадалкивира, бывает немало праздного люда. Правда, прохожие вдыхают там запах кожевенного завода, донны не поддерживающего былую славу города по части выделки кож, зато их ожидает зрелище, не лишенное приятности. За несколько минут до вечерней молитвы множество женщин собирается на берегу реки, под высокой набережной. Ни один мужчина не смеет присоединиться к ним. Как только зазвонит соборный колокол, призывающий к вечерней молитве, принято считать, что наступила ночь. С последним его ударом все эти женщины раздеваются и входят в воду. И тут поднимаются крики, визг, смех. Мужчины смотрят вниз, таращат глаза, но мало что видят. Однако смутные очертания нагих купальщиц на фоне темно-синей реки настраивают умы на поэтический лад, и мужчины, наделенные воображением, могут представить себе, не опасаясь участи Актеона, купание Дианы и ее нимф. Мне говорили, что однажды несколько сорванцов подкупили соборного звонаря, и

он позвонил к вечерней молитве на двадцать минут раньше обычного. И хотя еще было светло, гуадалкивирские нимфы ни минуты не колебались: поверив колоколу больше, нежели солнцу, они со спокойной душой произвели свое обычное и весьма незатейливое омовение. Меня при этом не было. В мое время звонарь был неподкупен, а сумерки так густы, что разве только кошка отличила бы самую старую торговку апельсинами от самой хорошенькой кордовской гризетки.

Однажды вечером, в час, когда уже ничего не было видно, я курил, облокотясь на парапет набережной; какая-то женщина поднялась по лестнице, ведущей к реке, и села рядом со мной. В волосах у нее был большой пучок жасмина, цветы которого изливают вечером пьянящий аромат. Она была просто и даже, быть может, бедно одета во все черное, как большинство гризеток в этот поздний час. Порядочные женщины носят черное лишь утром, а вечером одеваются *a la francesa*⁵⁷. Подойдя ко мне, купальщица сбросила на плечи мантилью, покрывавшую ее головку, «и в свете сумрачном, струящемся от звезд», я увидел, что она невысока, молода, хорошо сложена и что у нее огромные глаза. Я тотчас же бросил сигару. Она оценила этот чисто французский знак внимания и поспешила сказать, что очень любит запах табака и даже сама курит, когда ей попадаются некрепкие душистые *papelitos*⁵⁸. По счастью, в моем портсигаре нашлись именно

⁵⁷ На французский лад (*исп.*).

⁵⁸ Сигареты (*исп.*).

такие сигареты, и я с готовностью угостил ее. Она соблаговолила взять одну из них и зажгла ее о кончик тлеющей веревки, которую за медную монетку принес нам какой-то мальчик. Пуская одновременно струйки дыма, мы так заговорились с прекрасной купальщицей, что остались на набережной почти одни. Я решил, что не поступлю нескромно, пригласив ее отведать мороженого в *neveria*⁵⁹. Поколебавшись немного приличия ради, она согласилась, но сначала справилась о времени. Я поставил свои часы на бой, и звон их, видимо, очень удивил ее.

– Каких только изобретений нет у вас! Я хочу сказать, у вас, иностранцев. А вы из какой страны, сеньор? Должно быть, англичанин⁶⁰.

– Я француз и ваш покорнейший слуга. А вы, сеньорита или сеньора, вы, верно, уроженка Кордовы?

– Нет.

– Во всяком случае, вы андалуска. Это чувствуется по вашему мягкому выговору.

– Если вы так хорошо разбираетесь в произношении, то должны угадать, кто я.

– Полагаю, вы из страны Иисуса, что в двух шагах от рая.

(Эту метафору, под которой подразумевается Андалусия,

⁵⁹ *Неверия* – кафе, где имеется ледник или, точнее, погреб со снегом. В каждой испанской деревне есть такое кафе. (Прим. авт.)

⁶⁰ В Испании любого путешественника, не имеющего при себе образцов коленкора или шелка, считают англичанином. То же наблюдается и на Востоке. В Халкиде мне оказали честь, представив меня как *милордос франсесос*. (Прим. авт.)

я слышал от известного матадора и моего друга Франсиско Севильи.)

– Вот как?.. А здесь говорят, будто рай этот не про нас.

– Так, значит, вы мавританка, или... – я запнулся, не смея сказать: еврейка.

– Да полноте! Вы же видите, что я цыганка. Хотите я скажу вам *la baji*⁶¹? Слыхали о Карменсите? Это я.

В ту пору, а именно пятнадцать лет назад, я был таким нечестивцем, что не отшатнулся в ужасе, увидев рядом с собой колдунью. «Ну что ж, – подумал я, – на прошлой неделе я ужинал с отъявленным разбойником, а сегодня отведаю мороженого с приспешницей дьявола. Когда путешествуешь, надо все испытать». Был у меня и другой повод для продолжения этого знакомства. К стыду своему, должен признать, что по окончании коллежа я потерял немало времени на изучение оккультных наук и даже не раз пытался заклинать духа тьмы. Давно исцелившись от своей страсти к подобным занятиям, я еще не вполне утратил былого любопытства к суевериям и от души радовался, что мне предстоит узнать, на какую высоту поднялось ныне искусство ворожбы у цыган.

Беседуя, мы вошли с ней в *неверию* и сели за столик, освещенный свечой под стеклянным колпаком. Теперь я вполне мог разглядеть свою *хитану*, что я и сделал, в то время как несколько добропорядочных завсегдатаев ели мороженое и дивились, видя меня в столь своеобразном обществе.

⁶¹ Сказать *la baji* – погадать. (Прим. авт.)

Я сильно сомневаюсь, чтобы сеньорита Кармен была чистокровной цыганкой, во всяком случае, она показалась мне несравненно красивее тех ее соплеменниц, которых я когда-либо встречал. Чтобы женщина была красива, говорят испанцы, внешность ее должна соответствовать тридцати «если», иначе говоря, десяти прилагательным, каждое из которых применимо к трем частям ее лица или тела. Так, например, черными у нее будут глаза, ресницы и брови, тонкими – пальцы, губы и волосы и т. п. Об остальном можете справиться у Брантома. Моя цыганка не могла претендовать на такое совершенство. Кожа ее, впрочем, безупречно гладкая, цветом напоминала медь. Глаза были раскосые, но восхитительной формы, губы мясистые, но красиво очерченные, а зубы – белее очищенного миндаля. Волосы ее, на вид жестковатые, были длинные, блестящие, иссиня-черные, как вороново крыло. Не желая утомлять вас чересчур подробными описаниями, скажу только, что каждому ее недостатку соответствовало какое-нибудь достоинство, особенно бросающееся в глаза в силу этого контраста. То была странная, дикая красота, лицо, поначалу удивлявшее, которое, однако, невозможно было забыть. Особенно поражал ее взгляд, одновременно чувственный и дикий, такого взгляда я не видел больше ни у одного человеческого существа. «Цыганский взгляд – волчий взгляд», – утверждают цыгане, и поговорка эта говорит об их тонкой наблюдательности. Если вам некогда сходить в зоологический сад и понаблюдать за

взглядом волка, посмотрите на свою кошку, когда она подстерегает воробья.

Было бы, конечно, нелепо заняться гаданием в кафе. А потому я попросил у хорошенькой колдуньи разрешения проводить ее домой; она охотно согласилась, но еще раз справи-лась о времени, прося меня поставить часы на бой.

– Они и в самом деле золотые? – спросила она, с необы-чайным вниманием разглядывая часы.

Когда мы двинулись в путь, стояла темная ночь; большин-ство лавок было закрыто, и улицы почти совсем опустели. Мы прошли по Гуадалкивирскому мосту и на окраине пред-местья остановились у дома, отнюдь не похожего на дворец. Дверь нам открыл какой-то мальчик. Цыганка сказала ему несколько слов на неизвестном мне языке; как я узнал впо-следствии, это было *роммани* или *чипе калы*, одно из на-речий испанских цыган. Мальчик тотчас же исчез, оставив нас в довольно просторной комнате, вся обстановка которой состояла из маленького столика, двух табуретов и сундука. Следует также упомянуть кувшин с водой, груды апельсинов и связку лука.

Как только мы остались одни, цыганка вынула из сунду-ка колоду карт, видимо, немало ей послужившую, магнит, сушеного хамелеона и другие предметы, необходимые для ее искусства. Мне было велено взять монету и начертить ею крест на моей левой ладони, после чего магический обряд начался. Нет нужды рассказывать вам о предсказаниях га-

далки, что же касается ее приемов, то они и впрямь изобличали в ней колдунью.

К сожалению, нам вскоре помешали. Неожиданно дверь с грохотом распахнулась, и какой-то мужчина, закутанный до самых глаз в бурый плащ, вошел в комнату и не слишком ласково обратился к цыганке. Слов я не понял, но по его тону чувствовалось, что он чем-то очень недоволен. При виде его *хитана* не выказала ни удивления, ни досады, она бросилась ему навстречу и с величайшей поспешностью заговорила на том таинственном языке, которым уже пользовались в моем присутствии. Единственное, что я понял, было повторявшееся слово *паильо*. Я знал, что цыгане называют так всякого человека не их племени. Полагая, что речь идет обо мне, я приготовился к неприятному объяснению и уже сжимал в руке ножку табурета, стараясь улучшить удобный момент, чтобы швырнуть его в голову незваного гостя. Грубо оттолкнув от себя цыганку, тот направился ко мне.

– Как, сеньор, это вы? – сказал он, попятившись.

Я в свою очередь взглянул на него и узнал моего друга дона Хосе. Тут я пожалел, что помешал его повесить.

– Так это вы, приятель! – воскликнул я, смеясь через силу. – Вы прервали сеньориту в ту самую минуту, когда она сообщала мне преинтересные вещи.

– Все та же, ничуть не изменилась... Но этому придет конец! – пробормотал он сквозь зубы, свирепо глядя на нее.

Между тем цыганка продолжала что-то говорить на своем

языке. Она все больше распалялась гневом: глаза ее наливались кровью, взгляд угрожал, лицо искажалось, она топала ногой. Она как будто горячо убеждала его сделать что-то, а он колебался. Мне даже показалось, будто я довольно хорошо понимаю суть дела, видя, как она быстро проводит своей маленькой ручкой у себя под подбородком. Речь, видимо, шла о том, чтобы перерезать чью-то глотку, и я сильно подозревал, что глотка эта – моя.

Выслушав поток ее красноречия, дон Хосе отрывисто произнес несколько слов. В ответ цыганка бросила на него взгляд, исполненный глубокого презрения; затем, усевшись по-турецки в углу комнаты, она выбрала апельсин, очистила его и принялась есть.

Дон Хосе взял меня под руку, отворил дверь и вышел вместе со мной на улицу. Мы прошли с ним шагов двести в полном молчании; затем, подняв руку, он проговорил:

– Все прямо, и вы окажетесь у моста.

Он тут же повернулся ко мне спиной и быстро зашагал прочь. Я пришел в гостиницу пристыженный и в прескверном расположении духа. Неприятнее всего было то, что, раздеваясь, я обнаружил исчезновение своих часов.

По некоторым причинам я не пошел на следующий день требовать их обратно, не обратился я и к коррехидору с просьбой разыскать их. Закончив свою работу над рукописью доминиканских монахов, я уехал в Севилью. После нескольких месяцев странствия по Андалусии я надумал

вернуться в Мадрид, и мне снова пришлось проезжать через Кордову. У меня не было ни малейшего желания задерживаться в этом прекрасном городе, ибо я невзлюбил и его, и гуадалкивирских купальщиц. Но необходимость повидаться с друзьями и сделать кое-какие покупки вынудила меня пробыть дня три в этой древней резиденции мусульманских владык.

Едва я переступил порог доминиканского монастыря, как один из монахов, живо интересовавшийся моими изысканиями о местонахождении Мунды, бросился ко мне с распростертыми объятиями.

– Слава тебе господи! – воскликнул он. – Добро пожаловать, дорогой друг. Мы все считали, что вас уже нет в живых, и я, говорящий сейчас с вами, много раз прочел *Отче наши* и *Богородицу* – о чем несколько не жалею – за упокой вашей души. Так, значит, вас не убили, а о том, что вас обокрали, нам доподлинно известно.

– Откуда? – спросил я не без удивления.

– Помните те прекрасные часы, которые вы ставили на бой в библиотеке, когда мы говорили вам, что пора идти в церковь? Так вот, похититель часов нашелся, и вам их вернут.

– Полноте, – перебил я его, растерявшись, – я их потерял.

– Негодяй под замком, но мы-то знали, что он способен застрелить любого христианина из-за какой-нибудь дрянной песеты, и умирали от страха, полагая, что он вас убил. Я схожу с вами к коррехидору, и он вернет вам ваши прекрасные

часы. Попробуйте теперь сказать, что испанское правосудие не знает своего дела!

– Право, лучше бы я лишился часов, чем свидетельствовать против бедного малого, которого, чего доброго, еще повесят, потому... потому что...

– О, не беспокойтесь, он много чего натворил, а дважды его не повесят. Но я ошибся, сказав, что его повесят. Ваш вор – идальго, вот почему послезавтра его удавят⁶² – и без всякого снисхождения. Как видите, одна лишняя кража ему не в счет. И добро бы он только воровал! Но он совершил несколько убийств, одно ужаснее другого.

– Как его зовут?

– В Андалусии он известен как Хосе Наварро, но у него есть еще другое, баскское имя, которое нам с вами ни за что не произнести. И знаете что? На этого человека стоит взглянуть. Раз вы интересуетесь здешними нравами, не упускайте случая: узнаете по крайней мере, как у нас, в Испании, негодяев отправляют на тот свет. Он – в часовне, отец Матинес проводит вас туда.

Доминиканец так настаивал, чтобы я увидел приготовления к «карошенький маленький пофешенья», что мне не удалось отказаться. Словом, я отправился к заключенному, захватив с собой пачку сигар, которые, как я надеялся,

⁶² В 1830 г. этой привилегией пользовалось только испанское дворянство. При нынешнем конституционном строе право на удавление предоставлено также простому люду. (Прим. авт.)

оправдают мое вторжение в его глазах.

Меня ввели к дону Хосе, когда он обедал. Он холодно кивнул мне и вежливо поблагодарил за подарок. Пересчитав сигары, которые я вручил ему, он отложил несколько штук и вернул остальные, заметив, что так много ему не потребуется.

Я спросил, не могу ли я с помощью денег или связей хоть немного смягчить его участь. Сперва он лишь пожал плечами и грустно улыбнулся, но, спохватившись, попросил меня заказать мессу за упокой его души.

– Не согласитесь ли вы, – добавил он нерешительно, – не согласитесь ли заказать вторую мессу за упокой души некоей особы, вас оскорбившей?

– Разумеется, дорогой мой, – ответил я, – однако, насколько мне известно, никто не оскорблял меня в этой стране.

Он взял мою руку и пожал ее; лицо его было серьезно.

– Дерзну ли я попросить вас об одном одолжении? Возвращаясь к себе на родину, вы, вероятно, проедете через Наварру; во всяком случае, вы проедете через Виторию, а оттуда до Памплоны не слишком далеко.

– Конечно, я проеду через Виторию, – сказал я, – и, вероятнее всего, заверну в Памплону: ради вас я охотно сделаю этот крюк.

– Так вот, если вы будете в Памплоне, то увидите там много для себя интересного... Это красивый город... Я дам вам образок (он показал мне серебряный образок, висевший у

него на груди), вы завернете его в бумагу... – Он на мгновение умолк, стараясь побороть волнение, – и передадите его или велите передать пожилой женщине, адрес которой я вам сообщу. Вы скажете ей, что я умер, но не скажете, какой смертью.

Я обещал исполнить его поручение. На следующее утро я снова пришел к нему и провел с ним несколько часов. Из его уст я и услышал печальную повесть, которую вы здесь прочтете.

Глава 3

– Я родился в Элисондо, – сказал он, – что в Бастанской долине. Зовут меня дон Хосе Лисаррабенгоа; вы достаточно хорошо знаете Испанию, сеньор, чтобы определить по этому имени, что я баск и принадлежу к старинной христианской семье. Если, говоря о себе, я употребляю частицу «дон», то имею на это право, и, будь мы с вами в Элисондо, я показал бы вам свою родословную, записанную на пергаменте. Родители пожелали, чтобы я стал священником, и отправили меня учиться, но наука не пошла мне впрок. Я слишком любил жёдепом, и это погубило меня. Стоит нам, наваррцам, увлечься этой игрой, как мы забываем обо всем на свете. Однажды, когда я был в выигрыше, один алавский парень затеял со мной ссору, мы взялись за *maquilas*⁶³, и снова перевес оказался на моей стороне... но после этого мне пришлось покинуть родной край. В дороге мне повстречались драгуны, и я вступил в Альманский кавалерийский полк. Нашим горцам легко дается военное дело. Вскоре я стал бригадиром. Меня ожидало производство в сержанты, но, на свою беду, я был назначен в караул на севильскую табачную фабрику. Если вы бывали в Севилье, то, верно, видели это большое здание по ту сторону крепостной стены, на берегу Гуадалкивира. У меня до сих пор стоят перед глазами ворота фабрики

⁶³ *Макилы* – баскские палки с железным наконечником. (Прим. авт.)

и кордегардия возле них. В карауле испанские солдаты спят или играют в карты; но, как истый наваррец, я всегда старался подыскать себе какое-нибудь занятие. В тот день я мастерил из латунной проволоки цепочку для своей иглы, иначе говоря, для затравника. Слышу, товарищи говорят: «Колокол зазвонил, скоро девчонки вернутся на работу». Надо вам сказать, сеньор, что на этой фабрике работают по меньшей мере четыреста-пятьсот женщин. Они свертывают сигары в большой зале, куда мужчины допускаются лишь с разрешения *вейнтикуатро*⁶⁴, ибо работницы снимают с себя все лишнее, особенно молодые, когда бывает жарко. На пути работниц, возвращающихся после обеда, постоянно толпятся городские парни и всячески обхаживают их. Редко кто из этих сеньорит устоит перед тафтяной мантилей, и любителям подобной ловли стоит лишь протянуть руку, чтобы подцепить облюбованную ими рыбку. Пока остальные солдаты тарасили глаза, я по-прежнему думал о родном крае, и мне казалось, что девушка не может быть красива без синей юбки и без кос, ниспадающих на плечи⁶⁵. К тому же андалуски пугали меня; я еще не успел свыкнуться с их повадками: нет у них никакой серьезности – одно зубоскальство. Итак, я сидел, уткнувшись носом в работу, и вдруг услышал, что городские парни говорят: «Цыганочка идет!» Я поднял глаза

⁶⁴ Должностное лицо, ведающее полицией и городским хозяйством. (Прим. авт.)

⁶⁵ Обычный костюм крестьянок Наварры и баскских провинций. (Прим. авт.)

и увидел ее. Была пятница, никогда не забуду этого дня. Я увидел ту самую Кармен, с которой мы встретились с вами несколько месяцев тому назад.

На ней была красная очень короткая юбка, из-под которой виднелись белые шелковые чулки в дырах, а на ногах хорошенькие сафьяновые туфельки с огненными лентами вокруг щиколотки. Она откинула мантилью, чтобы видны были ее плечи и большой букет белой акации, заткнутый за вырез сорочки. Во рту у нее тоже был цветок акации, и шла она, поводя бедрами, точно молодая кордовская кобылица. У меня на родине люди осеяли бы себя крестным знаменем при виде женщины в таком наряде. А в Севилье мужчины осыпали ее двусмысленными комплиментами; она всем отвечала, подбоченясь и стреляя глазками, бесстыжая, как настоящая цыганка. Сперва она мне не понравилась, и я снова принялся за работу; но по обычаю женщин и кошек, которые не подходят, когда их зовут, и приходят, когда их не звали, она остановилась передо мной.

– Куманек, – обратилась она ко мне на андалусский лад, – подари мне свою цепочку, я буду носить на ней ключи от моего несгораемого шкафа.

– Цепочка нужна мне вот для этой иглы, – ответил я.

– Для иглы! – воскликнула она, расхохотавшись. – Видно, сеньор изготавливает кружева, раз ему требуется игла!

Кругом засмеялись; я почувствовал, что краснею, и ничего не сумел ей ответить.

– Сердце мое! – продолжала она. – Изготовь мне семь локтей черных кружев на мантилью, любезный мой мастер!

И, взяв цветок белой акации, который был у нее во рту, она так ловко щелкнула по нему, что попала мне в лоб между самых глаз. Сеньор, мне показалось, будто меня поразила пуля. Я окончательно растерялся и продолжал сидеть на месте, как истукан. Когда Кармен скрылась в дверях фабрики, я заметил ее цветок на земле, у своих ног; не знаю, что на меня нашло: я поднял его тайком от товарищей и бережно положил в карман куртки. Первая глупость!

Часа через два, когда я все еще думал обо всем этом, в кордегардию прибежал запыхавшийся солдат с перекошенным от волнения лицом. По его словам, в большой зале фабрики была убита женщина и туда требовалось послать карательных солдат.

Сержант приказал мне взять двух подчиненных и посмотреть, что там случилось. Беру солдат и иду наверх. Представьте себе, сеньор: войдя в залу, я вижу прежде всего человек триста женщин чуть ли не в одних рубашках, и все они размахивают руками, орут, визжат, словом, поднимают такой шум, что он вполне заглушил бы раскаты небесного грома. В сторонке лежит вверх тормашками, вся в крови, какая-то девица с изрезанным лицом. Напротив раненой, окруженной наиболее сердобольными работницами, стоит Кармен, которую держат пять женщин. Раненая кричала: «Священника, священника! Умираю!» Кармен молчала, она стис-

нула зубы и вращала глазами, как хамелеон. «В чем дело?» – спросил я. Мне стоило большого труда узнать, что произошло, так как на мой вопрос все работницы отвечали разом. Оказывается, изуродованная девица похвасталась, будто у нее столько карманных денег, что она может купить осла на трианском рынке. «Неужто? – возразила Кармен, которая была остра на язык. – Так, значит, тебе мало твоей метлы?» Противница, задетая за живое, так как была, видно, не без греха, ответила, что она не знает толка в метлах, не имея чести быть цыганкой и крестницей сатаны, но что сеньорита Кармен скоро познакомится с этим самым ослом, когда сеньор коррехидор повезет ее кататься на нем с двумя лакеями позади, чтобы отгонять от нее мух. «А я, – сказала Кармен, – сделаю из твоих щек мухоловки, распишу их в красно-белую клетку»⁶⁶. И тут же – раз-два – принялась чертить ножом, которым обрезают кончики сигар, андреевские кресты на лице несчастной.

Все было ясно; я взял Кармен за руку повыше локтя и вежливо сказал ей: «Сестричка, придется тебе пойти со мной». Она взглянула на меня так, словно узнала, и смиренно проговорила: «Ну что ж, идем. Где моя мантилья?» Она покрыла ею голову, оставив на виду лишь один огромный глаз, и пошла за моими людьми, кроткая, как овечка. Когда мы явились в кордегардию, сержант сказал, что случай серьезный

⁶⁶ *Pintar un javeque* – расписать шебеку. У испанской шебеки идет обычно по борту полоса в красно-белую клетку. (Прим. авт.)

и надо отправить арестованную в тюрьму. Отвести ее было снова приказано мне. Я поставил ее между двух драгун, сам встал позади, как это и полагается в таком деле бригадиру, и мы двинулись в путь. Сперва цыганка молчала, но на Змеиной улице – вам ведь знакома эта улица, она такая извилистая, что вполне заслуживает своего названия, – словом, на Змеиной улице цыганка сбрасывает мантилью на плечи, чтобы видно было ее обольстительное личико, и, украдкой, обернувшись ко мне, спрашивает:

– Сеньор офицер, куда вы меня ведете?

– В тюрьму, бедная девочка, – отвечаю я как можно мягче: именно так хороший солдат должен обходиться с арестованными, в особенности с женщинами.

– Увы! Что станет со мной? Сеньор полковник, пожалейте меня. Вы такой молодой, такой милый! – И, понизив голос, просит: – Дайте мне убежать, я подарю вам кусок *bar lachi*, и все женщины будут любить вас.

Bar lachi, сеньор, это магнит, с помощью которого, по словам цыган, можно производить всевозможные заклинания, если, конечно, умеешь пользоваться им. Дайте выпить любой женщине стакан белого вина со щепоткой толченого магнита, и она не устоит перед вами.

Я ответил ей как можно строже:

– Мы здесь не для того, чтобы болтать всякий вздор. Придется отправить тебя в тюрьму. Ничего не поделаешь – таков приказ.

Мы, уроженцы страны басков, выговариваем слова иначе, чем испанцы, которые легко узнают нас по произношению; зато ни один из них не сумеет правильно произнести *bai jaona*⁶⁷. Вот почему Кармен сразу смекнула, что я родом из Провинций. Вы сами знаете, сеньор, что у цыган нет родины, что они вечно кочуют, говорят на разных языках и в большинстве своем чувствуют себя как дома в Португалии, во Франции, в Провинциях, словом, повсюду; они уживаются даже с маврами и англичанами. Кармен довольно хорошо говорила по-баскски.

– *Laguna, ene bihotsarena*, друг души моей, – неожиданно обратилась она ко мне, – мы, видно, с тобой земляки?

Наш язык так прекрасен, сеньор, что сердце у нас сжимается, когда мы слышим его на чужбине... Мне хотелось бы исповедаться священнику из Провинций, – заметил разбойник, понизив голос.

Помолчав, он вернулся к своему рассказу.

– Я из Элисондо, – ответил я ей по-баскски, растроганный тем, что она говорит на моем родном языке.

– А я из Этчалара, – сказала она, – это в четырех часах пути отсюда. Цыгане увели меня с собой в Севилью. А на фабрике я работала для того, чтобы собрать немного денег и вернуться в Наварру к моей бедной матушке, у которой никого и ничего нет, кроме меня да маленького *barratcea*⁶⁸ с

⁶⁷ Да, сударь. (Прим. авт.)

⁶⁸ Сад. (Прим. авт.)

двадцатью яблонями; из яблок она готовит сидр. Как бы мне хотелось быть дома у подножия белой горы! Меня оскорбили, потому что я не из этого края жуликов и торговцев гнилыми апельсинами; мерзавки с фабрики накинулись на меня за то, что я сказала им правду: все их севильские *jacques*⁶⁹, вооруженные ножами, не испугали бы одного нашего молодца в синем берете и с макилой в руке. Товарищ, друг мой, неужто вы ничего не сделаете для землячки?

Она лгала, сеньор, она всегда лгала. Не знаю, сказала ли эта женщина за всю свою жизнь хоть слово правды; но, когда она говорила, я верил ей: это было сильнее меня. Она коверкала баскские слова, а я верил, будто она наваррка; и глаза ее, и рот, и цвет лица – все говорило о том, что она цыганка. Но я потерял голову и уже ничего не видел. Я подумал, что, если бы испанцы посмели дурно отозваться о моем родном крае, я изрезал бы им лицо, в точности как она – своей товарке. Словом, я был точно пьяный: я уже начал болтать глупости и готов был их натворить.

– А что, если я вас толкну и вы упадете, земляк? – продолжала она по-баскски. – Этим двум кастильским олухам нипочем меня не поймать...

Ей-богу, я забыл присягу, забыл обо всем на свете и сказал ей:

– Ну что ж, землячка, подружка милая, попробуйте – и да поможет вам божья мать горская!

⁶⁹ Задиры, бахвалы. (Прим. авт.)

Мы как раз проходили мимо одной из узеньких улочек, которых так много в Севилье. Вдруг Кармен оборачивается и ударяет меня кулаком в грудь. Я нарочно падаю навзничь. Одним махом она перепрыгивает через меня и пускается наутек, показывая нам пару ножек – и каких!.. Хвалят ножки баскских женщин, но таких, как у нее, надо было поискать... и быстрые, и стройные. Я тотчас же вскакиваю, беру пику⁷⁰ наперевес, перегораживая тем самым улочку, и поначалу задерживаю своих подчиненных, собравшихся было в погоню. Затем я сам побежал, и они вслед за мной. Но догнать ее? Какое там! С нашими шпорами, саблями, пиками. Беглянка скрылась скорее, чем я успел рассказать вам об этом. Да и местные кумушки способствовали ее бегству: они потешались над нами, посылали нас по ложному следу. После нескольких маршей и контрмаршей нам пришлось вернуться в кордегардию без расписки начальника тюрьмы.

Из страха перед наказанием мои люди заявили, что Кармен разговаривала со мной по-баскски, да и, по правде сказать, трудно было поверить, чтобы молоденькая девчонка могла опрокинуть ударом кулака такого здоровенного парня, как я. Все это было подозрительно или, точнее, вполне ясно. После смены караула меня разжаловали и отправили на месяц в тюрьму. Это было мое первое наказание с тех пор, как я поступил на военную службу. Пришлось проститься с нашивками сержанта, которые я уже видел на своем мундире.

⁷⁰ Вся испанская кавалерия вооружена пиками. (Прим. авт.)

Первые дни заключения были весьма тягостны для меня. Я воображал, когда стал солдатом, что дослужусь по меньшей мере до офицерского чина. Носят же звание капитан-генералов мои соотечественники Лонга и Мина; Чапалангарра, «черный», как и Мина, нашедший по его примеру убежище в нашем краю, был полковником, и я много раз играл в жёдепом с его братом, бедняком вроде меня. Я говорил себе: «Вся твоя безупречная служба пошла прахом. Теперь ты на дурном счету, и, чтобы вернуть доверие начальства, тебе придется работать в десять раз больше, чем когда ты был новобранцем! И ради кого ты навлек на себя наказание? Ради плутовки-цыганки, которая насмеялась над тобой и в эту самую минуту, верно, ворует где-нибудь в городе». Но я не мог отогнать мысли о ней. Поверите ли, сеньор, ее дырявые шелковые чулки, которые были видны снизу доверху, когда она удирала, так и стояли у меня перед глазами. Я смотрел на улицу сквозь тюремную решетку и среди всех проходящих женщин не видел ни одной, которая могла бы сравниться с этой чертовкой. И помимо воли я подносил к лицу цветов акации, тот самый, что она бросила мне в лицо: ведь даже засохший, он хранил свой сладостный аромат... Если на свете существуют колдуньи, то колдуньей была и эта девчонка!

Однажды входит тюремщик и передает мне алькалинский хлебец⁷¹. «Вот, возьмите, – говорит он, – это от вашей дво-

⁷¹ *Алькала де лос Панадерос* – местечко в двух лье от Севильи, где выпекают превосходные хлебцы. Говорят, что своим отменным вкусом они обязаны та-

родной сестры».

Я удивился – в Севилье у меня не было родственников, – но все же взял гостинец. «Верно, какая-нибудь ошибка», – подумал я, разглядывая хлебец, но он был такой аппетитный, от него так вкусно пахло, что я не стал раздумывать, откуда он и кому предназначен, и собрался его съесть. Но когда я попробовал разрезать его, нож мой наткнулся на что-то твердое. Смотрю и нахожу запеченный в тесте английский напильник, затем золотую монету и два пиастра. Все мои сомнения рассеялись – это был подарок Кармен. Для людей ее племени свобода превыше всего, и они готовы поджечь город, лишь бы и дня не просидеть в тюрьме. К тому же девочка была хитрой бестией, и с этим хлебцем я вполне мог натянуть нос тюремщикам. Напильником я перепилил бы за один час самый толстый прут решетки, а за два пиастра обменял бы у любого старьевщика свою шинель на штатское платье. И можете мне поверить, что человек, который у себя на родине много раз лазал по скалам в поисках орлиных гнезд с птенцами, без труда спустился бы из окна на улицу с высоты каких-нибудь тридцати футов. Но я не хотел бежать; я еще не утратил своей воинской чести, и дезертирство казалось мне величайшим преступлением. Меня все же тронул этот знак внимания. Когда сидишь в тюрьме, приятно думать, что на воле у тебя есть друг, который принимает в

мошной воде. Ежедневно их в огромном количестве привозят в Севилью. (Прим авт.)

тебе участие. Золотая монета невольно смущала меня, и я с радостью вернул бы ее, но как найти моего кредитора? Это казалось мне делом нелегким.

После церемонии разжалования я полагал, что страданиям моим пришел конец, но мне предстояло испытать еще одно унижение; это случилось по выходе моем из тюрьмы, когда меня назначили на дежурство и поставили часовым как простого солдата. Вы не представляете себе, что чувствует в таком положении самолюбивый человек. Мне кажется, я предпочел бы тогда расстрел. По крайней мере идешь один впереди взвода; чувствуешь себя человеком; все на тебя смотрят.

Я стоял на часах у дверей нашего полковника. Это был богатый молодой человек, весельчак и славный малый. У него собрались все наши молодые офицеры, а также множество штатских, были также и женщины, актрисы, как говорили. А мне чудилось, что весь город съехался к этому дому, чтобы поглазеть на меня. Но вот подкатил экипаж полковника с его денщиком на козлах. И кто же выходит из него? Моя цыганочка. Разукрашена, как богородица, напوماжена, расфуфырена, вся в золоте и лентах. Платье в блесках, голубые туфельки тоже в блесках, повсюду цветы, кружева. В руке – баскский бубен. С нею – две цыганки, молодая и старая (молодых всегда сопровождает какая-нибудь старуха), а также старик, тоже цыган, с гитарой, под звуки которой они пляшут. Вы сами знаете, что цыганок часто приглашают в обще-

ство, где они исполняют свой национальный танец *ромалис*, а также и другие пляски.

Кармен узнала меня, и мы обменялись взглядами. Право, в ту минуту я готов был провалиться сквозь землю.

– *Agur laguna*⁷², – сказала она. – Сеньор офицер, да ты стоишь в карауле, как новобранец!

И прежде, нежели я нашел что ответить, она скрылась в доме.

Все общество собралось в патио, и, несмотря на множество гостей, я видел сквозь решетку⁷³ почти все, что там происходило. Я слышал щелканье кастаньет, звон бубна, смех и крики «браво»; иной раз я замечал ее головку, когда она подпрыгивала с бубном в руке. Слышал я и голоса офицеров, которые говорили ей такое, что краска бросалась мне в лицо. Ее ответы терялись в общем шуме. Думается, что с этого дня я полюбил ее по-настоящему, так как мне не раз хотелось войти в патио и всадить саблю в живот тем ветрогонам, что волочились за ней. Пытка моя продолжалась добрый час; затем цыгане вышли на улицу, где их ожидала коляска. Проходя мимо, Кармен опять посмотрела на меня своим особенным взглядом – я говорил вам о нем – и сказала очень тихо:

⁷² Здравствуй, приятель! (*Прим. авт.*)

⁷³ В большинстве севильских домов имеется внутренний двор, окруженный сводчатой галереей, в котором жители проводят время летом. Над этим двором натянута полотнище, днем его поливают водой, а на ночь убирают. Дверь на улицу почти всегда открыта, а проход, ведущий во двор, перегороден железной решеткой превосходной работы. (*Прим. авт.*)

– Земляк, тот, кто любит хорошо поджаренную рыбу, идет в Триану, к Лильясу Пастье.

Легкая, как козочка, она вскочила в коляску, кучер стегнул мулов, и веселая компания укатила.

Нетрудно догадаться, что после смены караула я отправился в Триану, но перед этим побрился и почистился, словно шел на парад. Она была уже у Лильяса Пастья, старого цыгана, черного, как мавр, в кабачок которого приходило немало горожан, чтобы отведать его жареной рыбы, в особенности с тех пор, как там обосновалась Кармен.

– Лильяс! – обратилась она к старику, увидев меня. – Сегодня я ничего не стану делать. «И завтра тоже будет день»⁷⁴. Идем, земляк, идем гулять.

Она накинула мантилью под носом у Лильяса, и я очутился на улице, сам не зная, куда мы идем.

– Сеньорита! – сказал я. – Мне кажется, я должен поблагодарить вас за подарок, который получил в тюрьме. Хлебец я съел, напильник пригодится мне, чтобы затачивать пику, и я его сохраню на память о вас. А деньги – вот они.

– Что это?! – воскликнула, хохоча, Кармен. – Он сберег золотой! Тем лучше: сегодня я не при деньгах. Э, плевать! «Собака бродит, кость находит»⁷⁵. Давай прокутим все, что у нас есть. Ты меня угощаешь!

Мы отправились обратно в Севилью; свернув на Змеиную

⁷⁴ *Macana sera otro dia* – испанская поговорка. (Прим. авт.)

⁷⁵ *Chuquel sos pirela, Cocal terela* – цыганская пословица. (Прим. авт.)

улицу, она купила дюжину апельсинов и велела мне завязать их в платок. Немного дальше она купила хлеба, колбасы и бутылку мансанильи, после чего зашла к кондитеру. Она бросила на его прилавок золотую монету, которую я вернул ей, затем вынула из кармана другой золотой и немного мелочи, наконец попросила у меня всю мою наличность. У меня оказались всего-навсего несколько куарто и песета, которые я и отдал ей, стыдясь, что денег так мало.

Я думал, она унесет с собой всю лавку. Она покупала самые вкусные, самые дорогие сласти – *yemas*⁷⁶, *turons*⁷⁷, засахаренные фрукты, – пока не истратила всех денег. И опять-таки мне пришлось нести все это в бумажных мешочках. Вы, верно, знаете улицу Кандилехо с головой короля дона Педро Справедливого⁷⁸? При виде ее мне следовало бы приза-

⁷⁶ Засахаренные желтки. (Прим. авт.)

⁷⁷ Род нуги. (Прим. авт.)

⁷⁸ Король дон Педро, прозванный Жестоким, которого королева Изабелла Католичка называла не иначе как Справедливым, любил гулять вечером по Севилье в поисках приключений, подобно халифу Харун аль Рашиду. Однажды ночью на глухой улочке он затеял ссору с мужчиной, дававшим серенаду. Произошла дуэль, и король убил влюбленного кавалера. Звон клинков привлек внимание какой-то старухи. Держа в руке небольшой светильник, *candilejo*, она выглянула в окно и увидела сцену поединка. Надо вам сказать, что король дон Педро, в общем человек здоровый и сильный, обладал одним странным физическим недостатком: при ходьбе его коленные чашки громко хрустели. По этому хрусту старуха сразу узнала короля. На следующий день дежурный *вейнтикуарто* доложил королю: «Ваше величество, этой ночью на такой-то улице произошла дуэль. Один из дуэлянтов убит». – «Убийца найден?» – «Да, ваше величество». – «Почему он еще не наказан?» – «Я жду ваших приказаний, ваше величество». – «Действуйте

думаться. На этой улице мы остановились у какого-то старого дома. Кармен вошла в крытый проход и постучала. Дверь открыла цыганка, сущая прислужница дьявола. Кармен сказала ей несколько слов на *роммани*. Старуха принялась было ворчать. Чтобы задобрить ее, Кармен дала ей два апельсина, пригоршню конфет и позволила отведать вина. Затем набросила ей на плечи накидку и выпроводила за дверь, которую тут же заперла на деревянный засов. Как только мы остались одни, она принялась плясать и хохотать, как безумная, напевая: «Ты мой *rom*, я твоя *romi*»⁷⁹. А я между тем стоял посреди комнаты, нагруженный покупками, и не знал, что с ними делать. Она все побросала на пол и кинулась мне на шею со словами: «Я плачу тебе свой долг! Таков наш закон, закон *calés*»⁸⁰. Ах, сеньор, что это был за день!.. Вспоминая все это,

сообразно закону». В самом деле, незадолго до этого король опубликовал указ, гласивший, что всякий дуэлянт будет обезглавлен, а голова его выставлена на месте поединка. *Вейнтикуарто* остроумно вышел из положения: он велел отпилить голову у одной из королевских статуй и выставить ее в нише посреди улицы, где произошло убийство. Король и все горожане нашли этот выход весьма удачным, и улица получила название Кандилехо в честь светильника старухи, единственной свидетельницы поединка. Таково народное предание. Суньига излагает это происшествие несколько иначе (см. *Летопись Севильи*, т. II, стр. 136). Как бы то ни было, в Севилье до сих пор существует улица Кандилехо, а на ней высеченный из камня бюст, якобы изображающий дон Педро. К сожалению, бюст этот не прежний, ибо тот обветшал еще в XVII веке и, по распоряжению муниципалитета, был заменен новым, тем, что стоит там и поныне. (*Прим. авт.*)

⁷⁹ *Rom* – муж, *romi* – жена. (*Прим. авт.*)

⁸⁰ *Calo*; женский род – *calli*; множественное число – *calés* (калеса). Дословно: черный. Так цыгане называют себя на своем языке. (*Прим. авт.*)

я забываю о том, что будет завтра.

Разбойник ненадолго умолк; затем, раскурив сигару, продолжал свой рассказ:

– Мы провели вместе весь день, ели, пили и все прочее. Наевшись конфет, как шестилетний ребенок, Кармен пригоршнями побросала остальные в кувшин с водой. «Это старухе на шербет», – говорила она. «А это угощение для мух, пусть оставят нас в покое», – говорила она, кидая об стену засахаренные желтки. Каких только шуток, дурачеств она не придумывала! Я сказал, что мне хочется видеть ее пляски. Но где взять кастаньеты? Она тотчас же берет единственную тарелку старухи, разбивает ее и вот уже отплясывает *ромалис*, шелкая кусками фаянса не хуже, чем кастаньетами из черного дерева или слоновой кости. Поверьте, с этой девчонкой нельзя было соскучиться. Настал вечер, и я услышал звуки барабанов, бьющих зорю.

– Мне пора в казарму, на перекличку, – сказал я.

– В казарму? – переспросила она презрительно. – Разве ты негр, чтобы ходить по струнке? Ты настоящая канарейка – и одеждой⁸¹, и нравом. Ну, а сердце у тебя цыплячье!

Я остался, заранее смирившись с мыслью о гауптвахте. Наутро она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться.

– Послушай, Хосеито, я с тобой расплатилась, ведь так? По нашему закону, я ничем тебе не обязана, потому что ты *паильо*, но ты малый красивый, и ты мне приглянулся. Мы

⁸¹ Испанские драгуны носят желтую форму. (Прим. авт.)

квиты. Прощай.

Я спросил, когда мы снова увидимся.

– Когда ты чуточку поумнеешь, – ответила она, смеясь, и продолжала уже серьезно: – Знаешь, сынок, мне кажется, я немножко тебя полюбила. Но продолжаться это не может. Волку с собакой не ужиться. Если бы ты принял цыганский закон, я, быть может, и согласилась стать твоей *роми*. Но все это чепуха: такого не бывает. Поверь мне, мальчик, ты дешево отделался. Ты встретил дьявола, да, дьявола – он не всегда бывает черен, – и он не свернул тебе шеи. «Хоть я в шерсти хожу, но нравом не в овцу»⁸². Ступай, поставь свечку своей *Majari*⁸³; она это заслужила. Ну, прощай еще раз. Не думай больше о Карменсите, не то она женит тебя на вдове с деревянными ногами⁸⁴.

Говоря так, она отодвинула дверной засов, на улице закуталась в мантилью и была такова.

Кармен сказала правду. Было бы куда разумнее выкинуть ее из головы, но после того дня на улице Кандилехо я не мог думать ни о ком и ни о чем другом. Я день-деньской шатался по городу в надежде ее встретить. Я справлялся о ней у старухи и у торговца жареной рыбой. Оба говорили, что

⁸² *Me dicas vriarda de jorroy, bus ne sino braco* – цыганская пословица. (Прим. авт.)

⁸³ Святая, здесь – Пресвятая Дева. (Прим. авт.)

⁸⁴ Виселица, вдова последнего повешенного. (Прим. авт.)

она уехала в Laloro⁸⁵, иными словами, в Португалию. Видно, отвечать так им велела Кармен, и я вскоре убедился, что они мне лгали. Некоторое время спустя после нашего свидания на улице Кандилехо я стоял на часах у городских ворот. Неподалеку от них в крепостной стене образовался пролом; днем там шли работы, а ночью стоял часовой, чтобы преграждать путь контрабандистам. Я заметил накануне, что около кордегардии околачивается Лильяс Пастья и заговаривает кое с кем из солдат; все они знали цыгана, а его рыбу, оладьи и подавно. Подойдя ко мне, он спросил, нет ли у меня вестей от Кармен.

– Нет, – ответил я.

– Ну так скоро получите, куманек.

Он не ошибся. В ту же ночь меня поставили охранять пролом. Как только бригадир ушел, я увидел приближающуюся женщину. Сердце подсказало мне, что это Кармен. Однако я крикнул:

– Прочь отсюда! Прохода нет!

– Полно, не надо сердиться, – проговорила она, открывая свое лицо.

– Как! Это вы, Кармен?

– Да, земляк. Но ближе к делу. Хочешь заработать дуру?

Сюда придут люди с поклажей, пропусти их.

– Пропустить их? Нет, не могу – таков приказ, – ответил я.

– Приказ! Приказ! Ты и думать забыл о приказах на улице

⁸⁵ Лалоро – Красная (земля). (Прим. авт.)

Кандилехо.

– Ах, тогда, – проговорил я, до глубины души взволнованный этим воспоминанием, – тогда стоило забыть о приказе. Но мне не нужны деньги контрабандистов.

– Ладно, ты не хочешь денег, но тебе, может, захочется еще раз пообедать со мной у старухи Доротеи?

– Нет, не могу, – ответил я, едва не задохнувшись от усилия, которое мне пришлось сделать над собой.

– Отлично. Раз ты такой привередливый, я знаю, к кому обратиться. Я предложу сходить к Доротее вашему офицеру. Он, видно, славный малый и поставит на часы молодчика, который увидит не больше того, что потребуется. Прощай, канарейка! Уж и посмеюсь я, когда выйдет приказ тебя повесить.

Я малодушно окликнул Кармен и обещал ей пропустить, если понадобится, весь цыганский табор, лишь бы получить единственную желаемую мною награду. Она тут же поклялась, что сдержит слово не позже следующего дня, и побежала предупредить своих приятелей, которые находились в двух шагах от нас. Их было пятеро, в том числе и Пастья, все тяжело нагруженные английскими товарами. Кармен стояла на страже. Она должна была щелкнуть кастаньетами, как только увидит дозор, но этого не потребовалось. Контрабандисты мигом управились с делом.

На следующий день я пришел на улицу Кандилехо. Кармен заставила себя ждать и явилась в прескверном располо-

жении духа.

– Не люблю людей, – сказала она, – которых приходится упрашивать. В первый раз ты оказал мне услугу поважнее и сделал это без всякой корысти. Вчера ты торговался со мной. Сама не знаю, зачем я пришла: я не люблю тебя больше. Знаешь что, убирайся отсюда, вот тебе дура за труды.

Я чуть не бросил ей монету в лицо и с огромным трудом сдержался, чтобы не поколотить ее. После перебранки, длившейся битый час, я ушел вне себя от гнева. Некоторое время я, как безумный, бродил по городу; наконец я вошел в церковь и, забившись в самый темный ее угол, горько заплакал. Вдруг слышу голос:

– Слезы драгуна что слезы дракона! Я сделаю из них приворотное зелье.

Поднимаю глаза: передо мной Кармен.

– Ну как, земляк, вы все еще сердитесь на меня? – спросила она. – Я, видно, люблю вас вопреки своему желанию, потому что хожу сама не своя с тех пор, как вы ушли. Ну вот, а теперь уже я спрашиваю тебя: пойдешь со мной на улицу Кандилехо?

Итак, мы помирились; но нрав у Кармен был что погода в нашем краю. У нас в горах гроза тем ближе, чем ярче светит солнце. Она обещала мне еще раз повидаться у Доротеи и не пришла. А Доротея продолжала твердить, что Кармен отправилась в *Лалоро* по цыганским делам.

Зная по опыту, что это не так, я искал Кармен всюду, где

она имела обыкновение бывать, и раз двадцать в день проходил по улице Кандилехо. Как-то вечером я был у Доротеи, которую мне удалось приручить, поднося ей при встрече стаканчик-другой анисовки, как вдруг туда вошла Кармен в сопровождении молодого человека, лейтенанта нашего полка.

– Уходи, да поживее, – сказала она мне по-баскски.

Я остолбенел, ярость переполнила мое сердце.

– Что ты тут делаешь? – спросил лейтенант. – Убирайся!

Я не мог сделать ни шага: ноги мои словно приросли к полу. Видя, что я не только не собираюсь уйти, но даже не снял фуражки, разгневанный офицер схватил меня за шиворот и грубо встряхнул. Не помню, что я сказал ему. Он выхватил саблю, я последовал его примеру. Старуха вцепилась в мою руку, и лейтенант нанес мне удар по голове, от которого у меня до сих пор виден шрам. Я попятился и локтем опрокинул Доротею; но, видя, что лейтенант продолжает наступать, я сперва уколел, а затем пронзил его саблей. Кармен тут же потушила лампу и на своем языке велела Доротее спастись бегством. Я тоже выскочил на улицу и побежал, сам не зная куда. Мне казалось, что кто-то гонится за мной. Опомнившись, я увидел, что Кармен не оставила меня.

– Ты круглый дурак, канарейка! – сказала она. – Делаешь одни глупости. Недаром я говорила, что принесу тебе несчастье. А впрочем, ничто не потеряно, когда имеешь подружку *Flamenco de Roma*⁸⁶. Прежде всего повяжи голову вот

⁸⁶ Арготический термин, под которым подразумевается «цыганка». *Roma* обо-

этим платком и брось португеею. Подожди меня здесь, в проходе. Я мигом вернусь.

Она исчезла и вскоре принесла мне полосатый плащ, неизвестно где раздобытый ею. Она велела мне снять мундир и накинуть плащ поверх рубашки. В таком виде да еще с платком на голове, которым она повязала мою рану, я стал похож на одного из тех валенсийских крестьян, которые привозят на продажу в Севилью оршад из *chufas*⁸⁷. Затем она отвела меня в какой-то дом в глубине тупичка, очень похожий на дом Доротеи. Вдвоем с незнакомой мне цыганкой они лучше всякого хирурга промыли и перевязали мою рану, дали мне чего-то выпить и наконец уложили на тюфяк; я сразу уснул.

Вероятно, к питью было примешано какое-нибудь зелье, секретом приготовления которого владеют цыганки, потому что я проснулся очень поздно на следующий день. У меня сильно болела голова и был небольшой жар. Прошло несколько минут, прежде чем в памяти моей всплыла страшная сцена, в которой я принял участие накануне. Перевязав мою рану, Кармен и ее приятельница сели на корточки возле меня и посоветовались о чем-то на *чипе кальи*: то была, видимо, врачебная консультация. После чего они уверили меня,

значает здесь не Вечный город, а народ *роми*, или женатых людей – так называют себя цыгане. Первые цыгане, появившиеся в Испании, пришли, вероятно, из Нидерландов, отсюда и привившееся к ним название фламандцы. (Прим. авт.)

⁸⁷ Луковичное растение, из корней которого приготавливают довольно вкусный напиток. (Прим. авт.)

что я скоро поправлюсь, но должен как можно скорее бежать из Севильи: если меня здесь поймают, мне не миновать расстрела.

– Вот что, мой мальчик, – сказала мне Кармен, – тебе надо найти какое-нибудь занятие. Раз ты больше не получаешь от короля ни риса, ни сушеной трески⁸⁸, придется подумать о том, как заработать себе на жизнь. Ты слишком глуп, чтобы воровать а *pastesas*⁸⁹, но ты ловок и силен; если у тебя достаточно смелости, отправляйся на побережье и становись контрабандистом. Разве я не обещала привести тебя на виселицу? Это все же лучше, чем расстрел. Впрочем, если ты с умом возьмешься за дело, то будешь жить, как вельможа, пока *миньоны*⁹⁰ и стражники береговой охраны не сцапают тебя.

Вот в каком заманчивом свете эта чертовка обрисовала мое новое поприще, единственное, по правде сказать, которое мне оставалось, коль скоро я подлежал смертной казни. И знаете, сеньор? Она уговорила меня без особого труда. Мне казалось, что эта беспокойная жизнь, эта жизнь вне закона свяжет нас еще теснее. Я полагал, что сумею отныне удержать ее любовь. Я не раз слышал о контрабандистах, которые разъезжают по Андалусии с мушкетонам в руке и с возлюбленной на крупе своего коня. И мне уже чудилось, что я скачу по горам и долам с хорошенькой цыганочкой по-

⁸⁸ Обычная пища испанского солдата. (Прим. авт.)

⁸⁹ Воровать искусно, похищать без применения силы. (Прим. авт.)

⁹⁰ Род вольнонаемных отрядов. (Прим. авт.)

зади себя. Когда я заговаривал с ней об этом, она хохотала до упаду и отвечала, что нет ничего лучше ночи, проведенной на воле, когда каждый *ром* уходит со своей *ром* в маленькую палатку из трех обручей, покрытых одеялом.

– Если мы уйдем с тобой в горы, – говорил я ей, – я буду уверен в тебе: там нет лейтенантов, с которыми мне пришлось бы делить тебя.

– А, ты ревнив! Тем хуже для тебя. Неужто ты настолько глуп? Не видишь разве, что я люблю тебя, ведь я ни разу не попросила у тебя денег?

Когда я слышал от нее такие речи, мне хотелось ее задуть.

Короче говоря, сеньор, Кармен достала мне штатское платье, и в нем я, никем не узанный, выбрался из Севильи. Я прибыл в Херес с письмом от Пастьи к некоему торговцу анисовкой, у которого собирались контрабандисты. Я был представлен этим людям, и главарь их, по прозвищу Данкайре, принял меня в свою шайку. Мы отправились все вместе в Гаусин, где меня ждала Кармен. В таких походах она служила нам лазутчиком, и лучшего лазутчика трудно было сыскать. Она только что прибыла из Гибралтара и уже успела уговориться с одним капитаном о погрузке на его судно английских товаров, которые мы должны были принять на берегу. В ожидании мы обосновались неподалеку от Эстепоны; затем, получив товары, часть их спрятали в горах и, нагруженные остальными, отправились в Ронду. Кармен вы-

ехала туда раньше нас. И опять-таки она дала нам знать, когда лучше всего пробраться в город. Эта первая поездка да и несколько других прошли удачно. Жизнь контрабандиста нравилась мне больше, чем жизнь солдата. Я делал подарки Кармен. У меня были деньги и любовница. Угрызения совести не мучили меня, ибо, по словам цыган, в любовных объятиях чесотка не свербит⁹¹. Нас всюду принимали радушно, товарищи относились ко мне хорошо, они даже уважали меня, потому что я убил человека, а среди них далеко не у всех был на совести такой подвиг. Но особенно привлекала меня эта новая жизнь из-за того, что мы часто виделись с Кармен. Она была со мной ласковее, чем когда-либо, однако скрывала наши отношения от остальных; она даже потребовала от меня всевозможных клятв в том, что я ни слова не скажу им о ней. Я был так слабодушен с этой женщиной, что потакал всем ее прихотям. К тому же в моем присутствии она впервые вела себя как порядочная женщина, и я думал в простоте душевной, будто она и в самом деле отказалась от своих прежних повадок.

Отряд наш, состоявший из восьми-десяти человек, собирался лишь для наиболее опасных дел, обычно же мы разбредались вдвоем или втроем по городам и селам. Все мы выдавали себя за ремесленников: один был жестянщиком, другой барышником, а я продавал вразнос всякий мелкий товар, но в больших городах не показывался из-за той скверной ис-

⁹¹ *Sarapia sat pesquital ne punzava.* (Прим. авт.)

тории в Севилье. Как-то днем или, точнее, ночью все наши люди должны были собраться под Вехером. Мы с Данкайре пришли туда раньше других. Данкайре был чрезвычайно весел.

– Нашего полку прибыло, – сказал он, – Кармен только что отколола лучшую свою штуку. Вызволила своего *рома* из Тарифской крепости.

Я уже немного понимал по-цыгански, так как на этом языке говорили почти все мои товарищи, и слово *ром* меня ошеломило.

– Что? Своего мужа? Разве она замужем? – спросил я нашего главаря.

– А как же, – ответил он, – за цыганом Гарсией Кривым, таким же пройдохой, как и она сама. Бедный малый был приговорен к каторжным работам. Кармен так ловко оплела главного лекаря крепости, что добилась освобождения своего *рома*. Это золото, а не девка. Целых два года она пыталась устроить ему побег. Все было напрасно, пока не сменили врача. Видно, с новым она живо поладила.

Можете себе представить, какое удовольствие доставила мне эта новость. Вскоре я увидел и Гарсию Кривого. Это был самый отвратительный урод, когда-либо вскормленный цыганским племенем; черный лицом и еще чернее душой. Такого отъявленного негодяя я еще не встречал в жизни. Кармен пришла вместе с ним; видели бы вы, какие глазки она мне строила, называя его своим *ромом*, и какие гримасы кор-

чила, едва только Гарсия отворачивался. Я был возмущен и за всю ночь не сказал ей ни слова. Утром мы навьючили наших мулов и уже двинулись в путь, как вдруг увидели человек десять всадников, которые преследовали нас по пятам. Бахвалы андалусцы, готовые на словах разгромить все и вся, сразу струхнули. Началось беспорядочное бегство. Не потеряли головы лишь Данкайре, Гарсия, красивый юноша из Эсихи по прозвищу Ремендадо и Кармен. Остальные побросали своих мулов и пустились наутек по лощинам, где всадники не могли их нагнать. Нам тоже пришлось пожертвовать вьючными животными, но мы поспешили снять с них наиболее ценную кладь и взвалить ее себе на плечи; затем мы стали спускаться между скал по самым крутым откосам. Тюки мы кидали вниз, а сами кое-как следовали за ними, скользя на пятках. Тем временем неприятель обстреливал нас; я впервые слышал свист пуль, но не потерял хладнокровия. Впрочем, шутить со смертью в присутствии женщины не такая уж большая доблесть. Мы все остались целы и невредимы, кроме несчастного Ремендадо, раненного в поясницу. Я скинул свою поклажу и попробовал нести его.

– Болван! – крикнул мне Гарсия. – На кой нам эта падаль? Прикончи его да подбери бумажные чулки.

– Брось его! – твердила Кармен.

Усталость вынудила меня на минуту положить раненого под защитой скалы. Подошел Гарсия и разрядил ему в голову свой мушкетон.

– Пусть-ка теперь попробуют узнать его, – заметил него-
дьяй, рассматривая лицо Ремендадо, изуродованное двена-
дцатью пулями.

Вот, сеньор, какую хорошенькую жизнь мне пришлось ве-
сти. К вечеру мы очутились в густом кустарнике, измучен-
ные, голодные и разоренные утратой наших мулов. Чем же
занился Гарсия, это исчадие ада? Он вытащил из кармана
колоду карт и принялся играть с Данкайре при свете разве-
денного ими костра. А я лежал на спине, смотрел на звезды
и думал о Ремендадо, говоря себе, что охотно оказался бы на
его месте. Кармен сидела на корточках возле меня и время
от времени щелкала кастаньетами. Потом, наклонясь, слов-
но для того, чтобы пошептаться со мной, она чуть ли не на-
сильно целовала меня, и так раза два-три.

– Ты дьявол, – говорил я ей.

– Да, – подтверждала она.

Отдохнув несколько часов, она отправилась в Гаусин, и
на следующий день мальчик козопас принес нам хлеба. Мы
пробыли на одном месте целый день, а ночью подошли к Гау-
сину. Мы ждали вестей от Кармен. Вестей не было. На рас-
свете мы увидели гонщика мулов, который вез хорошо оде-
тую женщину под зонтиком и девочку, по-видимому, ее слу-
жанку. Гарсия сказал нам:

– Вот два мула и две женщины, которых нам посылает свя-
той Николай. Я предпочел бы четырех мулов. Ну да ладно!
Я ими займусь.

Он схватил мушкетон и направился к тропинке, прячась за кустами. Мы с Данкайре шли за ним. Подойдя к путникам на расстояние выстрела, мы встали во весь рост и велели погонщику остановиться. Увидев нас, женщина, вместо того чтобы испугаться – вид у нас был устрашающий, – громко расхохоталась.

– Ну и *lillipendi!* Приняли меня за *eraci!*

Это была Кармен, но так искусно переряженная, что я никогда не узнал бы ее, заговори она по-другому. Она спрыгнула с мула и стала о чем-то тихо совещаться с Данкайре и Гарсией, затем обратилась ко мне:

– Канарейка! Мы еще увидимся с тобой до того, как тебя повесят. Я еду в Гибралтар по цыганским делам. Вы скоро услышите обо мне.

Мы расстались с ней, после того как она указала нам убежище, где нас могли приютить на несколько дней. Эта девочка была сущим провидением нашего отряда. Вскоре мы получили от нее немного денег и, кроме того, нечто более ценное, а именно сообщение о том, что в такой-то день по такой-то дороге проедут из Гибралтара в Гранаду два английских милорда. Имеющий уши да слышит. У путешественников оказалось много полновесных гиней, Гарсия хотел было убить их, но мы с Данкайре помешали ему. Мы отобрали у них только деньги, часы да еще рубашки, которые нам были необходимы.

Да, сеньор, становишься мерзавцем, сам того не замечая.

Хорошенькая девушка сводит тебя с ума, из-за нее ввязываешься в драку, случается несчастье, приходится жить в горах, и не успеешь опомниться, как из контрабандиста превращаешься в вора. Мы подумали, что после дела с милордами нам небезопасно оставаться вблизи Гибралтара, и ушли дальше в горы по направлению к Ронде. Вы как-то упомянули о Хосе Марии; в этих-то местах я и познакомился с ним. Он повсюду таскал с собой свою любовницу – премиленькую девушку, скромную, тихую, воспитанную: никогда ни одного грубого слова, и какая преданность!.. Зато и мучил же он ее! Бегал за всеми юбками, с ней обходился дурно, а иной раз ни с того ни с сего принимался ревновать. Однажды он ударил ее ножом. И что же? Она еще больше полюбила его после этого. Впрочем, все женщины таковы, особенно андалуски. Она даже гордилась этим шрамом у плеча и показывала его, словно драгоценность. Вдобавок Хосе Мария был прескверным товарищем!.. В одном деле он так ловко надул нас, что получил весь барыш, нам же достались побои и передраги. Но вернемся к моему рассказу. О Кармен не было ни слуху ни духу. И вот Данкайре говорит:

– Одному из нас придется отправиться в Гибралтар и разузнать о ней. Она подготовила, верно, какое-нибудь дельце. Я охотно взялся бы за это, но меня там слишком хорошо знают.

Кривой говорит:

– Меня тоже там знают, уж больно я насолил *ракам*⁹². К тому же у меня всего один глаз, а этого никак не скроешь.

– Так, значит, мне ехать в Гибралтар? – говорю я, вне себя от радости при одной мысли, что увижу Кармен. – Скажите, что надо делать?

Оба говорят мне:

– Доберешься до Гибралтара морем или через Сан-Роке, выбирай сам, а когда будешь там, расспроси в порту, где живет торговка шоколадом по имени Рольона. Она-то и скажет тебе, как обстоят у них дела.

Было решено, что мы дойдем втроем до Гаусина, где я оставлю своих спутников, а сам отправлюсь в Гибралтар под видом торговца фруктами. Еще в Ронде некий преданный нам человек раздобыл мне паспорт; в Гаусине мне дали осла; я навьючил его апельсинами, дынями и двинулся в путь. В Гибралтаре я узнал, что Рольона там хорошо известна, но она либо умерла, либо отправилась *finibus terrae*⁹³. Видно, поэтому мы и потеряли связь с Кармен.

Я пристроил осла на чьей-то конюшне, взял свои апельсины и стал бродить по городу, как бы торгуя ими, а на самом деле в надежде увидеть хоть чье-нибудь знакомое лицо. В Гибралтаре множество всякого сброда, понаехавшего туда со всего света: это не город, а вавилонское столпотворение,

⁹² Прозвище англичан, данное им испанским народом из-за цвета их мундиров. (Прим. авт.)

⁹³ На каторгу или ко всем чертям. (Прим. авт.)

ибо стоит пройти по его улицам каких-нибудь десять шагов, чтобы услышать столько же языков и наречий. Мне встречалось немало цыган, но я боялся им довериться; я приглядывался к ним, они приглядывались ко мне. Что мы с ними мерзавцы – нетрудно было догадаться, но важно было знать, одного ли мы толка. После двух дней бесплодных скитаний я ничего не узнал ни о Рольоне, ни о Кармен и, сделав кое-какие покупки, собрался было вернуться к товарищам, и вдруг, прогуливаясь по городу на закате солнца, услышал откуда-то сверху женский голос:

– Эй, разносчик!

Поднимаю голову и вижу Кармен; она стоит, облокотясь на перила балкона, рядом с ней офицер – красный мундир, золотые эполеты, завитые волосы, осанка настоящего милорда. Одета роскошно: золотой гребень, шаль на плечах, вся в шелку. И все же плутовка ничуть не изменилась: хохочет себе да и только. На ломаном испанском языке англичанин велит мне подняться: сеньора желает апельсинов. Кармен говорит мне по-баскски:

– Ступай наверх и ничему не удивляйся.

Впрочем, она ничем не могла меня удивить. Не знаю, испытал ли я больше радости или огорчения от встречи с ней. Дверь мне открыл высокий лакей-англичанин с пудренными волосами и ввел в великолепную гостиную. Кармен тотчас же обратилась ко мне по-баскски:

– Ты не говоришь по-испански, ты меня не знаешь.

И, обернувшись к англичанину, сказала:

– Я же говорила вам, что он баск, я сразу заметила. Услышите, какой это диковинный язык. Ну и глупый же вид у разносчика! Правда? Он похож на кота, пойманного в кладовке.

– А у тебя, – сказал я ей на своем родном языке, – вид наглой бестии; меня так и подмывает изуродовать тебе лицо в присутствии твоего дружка.

– Моего дружка? – переспросила она. – И ты сам до этого додумался? Неужто ты ревнуешь меня к этому болвану? Знаешь, ты стал еще глупее, чем до наших вечеров на улице Кандилехо. Разве ты не понимаешь, дурак ты эдакий, что я занимаюсь цыганскими делами, и не как-нибудь, а с блеском. Дом этот мой, и все гинеи *рака* перейдут ко мне; я вожу его за нос и заведу туда, откуда он никогда не вернется.

– Ну, а я живо отучу тебя от цыганских дел, если ты будешь заниматься ими таким манером.

– Как бы не так! Разве ты мой *ром*, чтобы помыкать мною? Раз Кривому это по душе, ты-то тут при чем? Будь доволен уже тем, что ты мой единственный *minchorro*⁹⁴.

– Что он говорит? – спросил англичанин.

– Говорит, что ему хочется пить и он с радостью опрокинул бы стаканчик, – ответила Кармен.

И упала на диван, хохоча над своим переводом.

⁹⁴ *Минчорро* – любовник, или, точнее, предмет мимолетного увлечения. (Прим. авт.)

Когда эта девчонка смеялась, сеньор, не было никакой возможности удержаться от смеха. Все начинали смеяться вместе с ней. Верзила англичанин тоже расхохотался, как дурак, каким он и был, и приказал принести вина.

Пока я пил, Кармен спросила:

– Видишь перстень у него на пальце? Хочешь, я отдам тебе этот перстень?

– Я с удовольствием отдал бы палец, – ответил я, – лишь бы встретиться с твоим милордом в горах и чтоб у каждого из нас была в руке *макила*.

– *Макила*? Что это такое? – спросил англичанин.

– *Макила*, – ответила Кармен, по-прежнему смеясь, – это апельсин. Правда, забавное слово для апельсина? Он говорит, что охотно угостил бы вас *макилой*.

– Вот как? Ну что ж, пусть и завтра приносит свои *макила*.

Тут вошел лакей и доложил, что кушать подано. Англичанин встал, дал мне пиастр и предложил руку Кармен, словно она не могла идти сама. Все еще смеясь, она сказала мне:

– Мой мальчик, я не могу пригласить тебя к обеду, но завтра, как только услышишь барабанный бой, приходи сюда со своими апельсинами. Увидишь, здесь спальня убрана куда лучше, чем на улице Кандилехо, и ты убедишься, что я по-прежнему твоя Карменсита. А затем мы потолкуем о цыганских делах.

Я ничего не ответил, а на улице снова услышал голос англичанина, кричавшего: «Приносите завтра свои *макила!*»,

и хохот Кармен.

Я ушел, сам не зная, как поступлю на следующий день. Я не спал всю ночь, а наутро меня взяла такая злость на изменницу, что я положил уехать из Гибралтара, не повидавшись с ней; но при первом же звуке барабанов решимости моей как не бывало: я схватил корзину с апельсинами и побежал к Кармен. Жалюзи в ее спальне было приоткрыто, и я увидел ее большой черный глаз, который высматривал меня. Пудренный лакей тотчас же провел меня к Кармен; она усладила его с каким-то поручением, и едва мы остались одни, как она разразилась своим жестоким смехом и бросилась мне на шею. Никогда я не видел ее такой красивой. Разукрашенная, как мадонна, надушенная... мебель, обитая шелком, вышитые занавески... А я среди всего этого – вор вором.

– *Минчорро!* – говорила Кармен. – Мне хочется все здесь перебить, поджечь дом и убежать в горы.

И нежности! И раскаты смеха!.. Она плясала, рвала оборки на своем платье: ни одна обезьянка не могла бы так скакать, гримасничать и куролесить. Утомонившись, она сказала:

– А теперь поговорим о цыганских делах. Я хочу, чтобы он отвез меня в Ронду: там у меня сестра в монастыре... (и снова покатила со смеху). Какой дорогой мы поедем, я узнаю позже и скажу тебе. Вы нападете на него и ограбите дочиста! Лучше всего было бы уколошить его, только знаешь что? – прибавила она с дьявольской усмешкой, которая иной раз

мелькала у нее на губах, не вызывая, однако, ответной улыбки. – Пусть Кривой покажется первым. А вы оба держитесь позади. *Рак* ловок и смел, у него отличные пистолеты... Понимаешь?

Последовал новый взрыв смеха, от которого у меня по телу пробежали мурашки.

– Нет, – ответил я, – Гарсию я ненавижу, но он мой товарищ. Когда-нибудь я, возможно, избавлю тебя от него, только мы сведем свои счеты по обычаю моей страны. Я лишь случайно стал цыганом, но в некоторых вещах я был и останусь, как говорят у нас, честным наваррецем⁹⁵.

– Ты дурак, болван, настоящий *паильо*! Ты как тот карлик, что считал себя великим, когда ему удавалось далеко плюнуть. Ты не любишь меня, убирайся!

Когда она говорила «убирайся», я не мог уйти. Я обещал ей уехать, присоединиться к остальным и ждать англичанина. А она обещала притвориться нездоровой до отъезда из Гибралтара в Ронду. Я пробыл еще два дня в Гибралтаре. Перерядившись, она отважилась прийти ко мне на постоянный двор. Я уехал, но у меня тоже был свой план. Я вернулся к товарищам, зная, где и когда проедет англичанин с Кармен. Данкайре и Гарсия ждали меня. Мы провели ночь в лесу у жаркого костра из сосновых шишек. Я предложил Гарсии сыграть в карты. Он согласился. За второй партией я заявил ему, что он плуствует. Он засмеялся. Я швырнул ему карты в

⁹⁵ *Navarro fino.* (Прим. авт.)

лицо. Он хотел было схватить мушкетон, но я вовремя наступил на дуло.

– Говорят, ты владеешь ножом, как настоящий малагский головорез, – сказал я, – хочешь поупражняться со мной?

Данкайре попытался нас разнять, но я успел раза два-три стукнуть Гарсию кулаком. От злости он расхрабрился. Он вытащил нож, я сделал то же. Мы велели Данкайре посторо-ниться и не мешать нам. Он понял, что нас не остановишь, и отошел в сторону. Гарсия уже пригнулся к земле, как кот, готовый броситься на мышь. Шапку он держал в левой руке для защиты, нож выставил вперед. То была андалусская боевая стойка. Я же стал по-наваррски: лицо повернуто к противнику, левая рука поднята, левая нога выставлена вперед, нож возле правого бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Он стрелой кинулся на меня, но я повернулся на левой ноге, и он никого не нашел перед собой; зато я всадил ему нож так глубоко в горло, что рука моя оказалась у него под подбородком, и с такой силой повернул клинок, что тот сломался. Все было кончено. Клинок вышибло из раны струей крови толщиной в руку. Гарсия упал ничком, как подкошенный.

– Что ты наделал? – воскликнул Данкайре.

– Послушай, – сказал я, – жить вместе мы не могли. Я люблю Кармен и хочу быть один. К тому же Гарсия был мерзавцем, никогда не забуду, как он поступил с беднягой Ремендадо. Теперь нас только двое, но мы с тобой люди хоро-

шие. Хочешь, я навек буду тебе другом?

Данкайре пожал мне руку. Это был человек лет пятидесяти.

– Да будут прокляты любовные шашни! – воскликнул он. – Если бы ты попросил у него Кармен, он продал бы ее тебе за один пиастр. Нас осталось только двое: как мы справимся завтра?

– Предоставь мне действовать одному, – ответил я. – Теперь мне сам черт не брат.

Мы похоронили Гарсию и перенесли нашу стоянку на двести шагов в сторону. На следующий день подъехали на мулах Кармен и ее англичанин в сопровождении двух погонщиков и слуги.

– Беру на себя англичанина, – сказал я Данкайре. – А ты припугни остальных, они не вооружены.

Англичанин оказался храбрецом. Не толкни его под руку Кармен, он бы меня убил. Короче говоря, в этот день я завоевал Кармен и с первого же слова сообщил ей, что она овдовела.

– Ты был и останешься *лильипенди!* – ответила она, узнав, как все произошло. – Это Гарсии следовало убить тебя. Твоя наваррская стойка – чепуха: он отправлял на тот свет и не таких, как ты. Видно, час его пробил. Твой час тоже пробьет.

– И твой тоже, – ответил я, – если ты не будешь для меня хорошей *роми*.

– Да, это так, – молвила она, – я много раз гадала на ко-

фейной гуще, что мы кончим жизнь вместе. Ну что ж, чему быть, того не миновать.

И она щелкнула кастаньетами, как это делала всегда, когда ей хотелось отогнать докучливую мысль.

Иной раз теряешь меру, когда говоришь о себе, сеньор. Все эти подробности вам, верно, наскучили, но мой рассказ близится к концу. Жизнь, которую мы вели, продолжалась довольно долго. Завербовав несколько человек, более надежных, чем прежние, мы с Данкайре занимались контрабандой, а также, надо сознаться, разбоем на большой дороге, но только в крайности, когда у нас не было иного выхода. Впрочем, мы не трогали путников, только отбирали у них деньги. Первое время мне не приходилось жаловаться на Кармен. Она была нам все так же полезна, предупреждала нас о разных выгодных делах. Жила она то в Малаге, то в Кордове, то в Гранаде, но по первому моему слову все бросала и приезжала ко мне в какую-нибудь уединенную венту, а то и на стоянку под открытым небом. Только однажды, в Малаге, она дала мне повод для тревоги. До меня дошли слухи, что она остановила свой выбор на каком-то весьма богатом негоцианте, видимо, собираясь повторить свою гибралтарскую проделку. Невзирая на увещевания Данкайре, который пытался меня удержать, я тут же уехал и прибыл в Малагу среди белого дня. Я разыскал Кармен и сразу увез ее. Мы крупно повздорили.

– Знаешь, – сказала она, – с тех пор как ты стал по-насто-

ящему моим *ромом*, я люблю тебя меньше, чем когда ты был моим *минчорро*. Я не хочу, чтобы мне досаждали и особенно чтобы мной командовали. Я хочу быть свободной и делать то, что мне нравится. Берегись, не доводи меня до крайности. Если ты мне наскучишь, я найду какого-нибудь молодчика, и он поступит с тобой так, как ты поступил с Кривым.

Данкайре помирил нас, но мы наговорили друг другу такого, что обида легла нам на сердце и наши отношения дали трещину. Вскоре после этого случилась беда: нас подстерегли солдаты. Данкайре с двумя товарищами были убиты, двое других арестованы. Я был тяжело ранен и, если бы не мой добрый конь, попался бы в руки солдатам. Вконец измученный, с пулей в теле, я и мой единственный уцелевший товарищ спрятались в лесу. Слезая с лошади, я лишился чувств, а придя в себя, подумал, что подохну в кустах, как подстреленный заяц. Товарищ отнес меня в известную нам обоим пещеру и отправился за Кармен. Она была в Гранаде и тотчас же поспешила ко мне. Две недели она ни на минуту не отходила от меня, не смыкала глаз по ночам. Она ухаживала за мной с редким искусством и с такой заботливостью, какую ни один мужчина не видел от самой любящей женщины. Как только я смог держаться на ногах, она, храня величайшую тайну, отвезла меня в Гранаду. Цыганки всюду умеют разыскать надежное убежище. Я провел более полутора месяцев под боком у коррехидора, который тщетно разыскивал меня, и видел не раз из-за ставни, как он проходит мимо нашего

дома. Наконец я поправился; но я о многом передумал на своем ложе страдания и принял решение изменить жизнь. Я заговорил с Кармен о том, чтобы уехать из Испании и попытаться зажить по-честному в Новом Свете. Она подняла меня на смех.

– Мы не созданы для того, чтобы сажать капусту, – сказала она, – наш удел – жить за счет *пайльо*. Послушай, я затеяла одно дельце с Натаном бен Юсуфом из Гибралтара. У него имеются бумажные ткани, которые надо переправить. Все дело за тобой. Он знает, что ты жив, и рассчитывает на тебя. Что скажут наши гибралтарские посредники, если ты подведешь их?

Я дал уговорить себя и вернулся к своему гнусному промыслу.

В то время как я скрывался в Гранаде, там происходили бои быков, на которых побывала и Кармен. Вернувшись домой, она без устали рассказывала мне об искуснейшем матадоре по имени Лукас. Она знала, как зовут его коня и сколько стоит его расшитая куртка. Я не обратил внимания на ее слова. Но несколько дней спустя Хуанито, мой уцелевший товарищ, сказал мне, что видел Кармен с Лукасом у какого-то торговца в Сакатине. Это встревожило меня. Я спросил Кармен, как и почему она познакомилась с матадором.

– Парень нам может пригодиться, – ответила она. – «Шумливая река либо воды, либо камней полна»⁹⁶. Последние бои

⁹⁶ *Len sos sonsi abela, pani o reblendani terela* – цыганская пословица. (Прим.

принесли ему тысячу двести реалов. Одно из двух: надо завладеть этими деньгами или привлечь его к нам. Он прекрасный наездник и храбрец, каких мало. Почти все наши люди погибли, тебе придется их заменить. Возьми его к себе.

– Я не желаю ни его денег, ни его самого, – ответил я, – и запрещаю тебе разговаривать с ним!

– Берегись! – возразила она. – Когда мне говорят, не делай этого, я тут же все делаю наоборот.

К счастью, матадор уехал в Малагу, а я стал готовиться к переправке бумажных тканей еврея бен Юсуфа. Дело это причиняло мне много хлопот, да и Кармен тоже; я забыл о Лукасе, быть может, и она забыла о нем, по крайней мере, на время. Как раз об эту пору, сеньор, я встретил вас сначала возле Монтильи, а затем в Кордове. Не стану говорить об этой последней встрече: вы, вероятно, знаете о ней больше, чем я. Кармен украла ваши часы; она хотела присвоить также ваши деньги, а главное, кольцо, которое я вижу на вашем пальце. Она говорила, что это магический перстень и ей очень важно иметь его. Мы жестоко поссорились, и я ударил ее. Она побледнела и заплакала. Я впервые видел ее слезы, они сразили меня. Я попросил у нее прощения, но она дулась весь день и не захотела поцеловать меня перед моим отъездом в Монтилью. У меня было очень тяжело на душе, а три дня спустя она сама приехала ко мне, смеющаяся, беззаботно-веселая. Все было забыто, и мы вели себя, как юные

любовники. Прощаясь, она сказала:

– В Кордове праздник, я хочу побывать на нем. Разумею, кстати, кто будет возвращаться оттуда с деньгами, и скажу тебе.

Я отпустил ее. Наедине с собой я стал размышлять об этом празднике и об изменившемся настроении Кармен. «Видно, она уже отомстила мне, – подумал я, – раз первая решила помириться». От встречного крестьянина я узнаю, что в Кордове бой быков. Кровь сразу вскипает во мне, я как безумный скачу в Кордову и отправляюсь в цирк. Там мне показали Лукаса, а на скамье у самого барьера сидела Кармен. Мне было достаточно взглянуть на нее, чтобы утвердиться в своих подозрениях. Как я и предполагал, Лукас явно красовался перед ней. Он сорвал кокарду⁹⁷ с первого же быка и преподнес ее Кармен, а та сразу приколола ее к волосам. Бык взялся отомстить за меня. Лукас рухнул ничком вместе с лошастью, а бык свалился на них. Я поискал глазами Кармен, ее уже не было на месте. Я не мог выбраться из переполненного цирка, и мне пришлось дожидаться окончания корриды. Когда публика стала расходиться, я вернулся в известный вам дом и просидел там, не двигаясь, весь вечер и часть ночи. Кармен вернулась около двух часов утра и была немного удивлена, увидев меня.

⁹⁷ *La divisa* – бант, цвет которого указывает, с какого пастбища пригнан бык, прикрепляется к шкуре животного особым крючком, и матадор проявляет верх галантности, преподнося женщине этот бант, сорванный с живого быка. (Прим. авт.)

– Ступай за мной, – сказал я.

– Ну что ж, едем! – ответила она.

Я сходил за своим конем, посадил ее позади себя, и мы проехали остаток ночи, не перемолвившись ни единым словом. На рассвете мы остановились в уединенной венте неподалеку от жилища отшельника. Тогда я сказал Кармен:

– Послушай, я все готов забыть. Я ни в чем тебя не упрекну. Поклянись только, что ты уедешь со мной в Америку и будешь жить там по-честному.

– Нет, – ответила она с сердцем, – я не хочу ехать в Америку. Мне и здесь хорошо.

– Все это из-за Лукаса; но ты пойми: если на этот раз он и поправится, долго ему все равно не прожить. Впрочем, к чему все валить на него? Мне надоело убивать твоих любовников – теперь я убью тебя.

Она в упор посмотрела на меня своим диким взором.

– Я всегда думала, что ты убьешь меня, – сказала она. – Перед тем как встретить тебя впервые, я увидела священника возле порога моего дома. А сегодня ночью, когда мы выехали из Кордовы, ты ничего не заметил? Заяц перебежал нам дорогу как раз между копытами твоего коня. От судьбы не уйдешь.

– Карменсита, разве ты меня больше не любишь? – спросил я.

Она не ответила. Она сидела на циновке, скрестив ноги, и что-то чертила пальцем по земле.

– Давай заживем по-новому, Кармен, – сказал я умоляюще. – Уедем куда-нибудь, где мы будем неразлучны. Ты же знаешь, неподалеку отсюда, под дубом, у нас зарыто сто двадцать унций... Да и еврей бен Юсуф еще не отдал нам всех денег.

На лице ее блуждала улыбка.

– Сначала я, потом ты. Знаю, так суждено, – молвила она.

– Подумай, – продолжал я, – и терпение мое, и мужество истожились. Решайся, или я сам приму решение.

Я ушел от нее и направился к жилищу отшельника. Я застал его за молитвой. Я подождал, пока он кончит молиться. Мне самому хотелось помолиться, но я не мог. Когда он встал с колен, я подошел к нему.

– Отец мой! – сказал я. – Не помолитесь ли вы о человеке, находящемся в большой опасности?

– Я молюсь обо всех страждущих, – ответил он.

– Не помянете ли вы за обедней человека, душа которого, быть может, скоро предстанет перед создателем?

– Да, – ответил он, пристально смотря на меня.

И так как вид мой, вероятно, показался ему странным, он попытался расспросить меня.

– Мне кажется, мы уже встречались с вами, – сказал он.

Я положил пиастр на скамью.

– Когда начнется обедня? – спросил я.

– Через полчаса. Я жду сына здешнего трактирщика, он будет прислуживать мне. Скажите, молодой человек, нет ли

у вас на совести греха, который мучает вас? Не нужны ли вам советы христианина?

Я чувствовал, что вот-вот разрыдаюсь. Я пообещал ему прийти еще раз и сейчас же ушел. Я лег на траву и лежал до тех пор, пока не зазвонил колокол. Тогда я приблизился к церковке, но не вошел в нее. По окончании обедни я вернулся в венту. Я надеялся, что Кармен сбежала; она могла бы взять моего коня и ускакать... но я увидел ее. Она не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, будто она испугалась меня. В мое отсутствие она распоролла подол своего платья и вынула зашитый в него свинец. Теперь Кармен сидела у стола, вперив взор в глиняную миску с водой, куда она вылила расплавленный ею свинец. Она была так поглощена своей ворожбой, что не заметила моего присутствия. Она то брала кусочек свинца и печально поворачивала его во все стороны, то напевала одну из тех чародейных песен, в которых женщины ее племени взывают к Марии Падильо, возлюбленной дона Педро, бывшей, как говорят, *Bari Crallisa* – великой королевой цыган⁹⁸.

– Кармен! Ты поедешь со мной? – спросил я.

Она встала, бросила на пол миску и накинула на голову мантилью, явно собравшись в путь. Подвели моего коня, она села на его круп, и мы поскакали.

⁹⁸ Марию Падильо обвиняли в том, что она околдовала короля дона Педро. Согласно народной молве, она подарила королеве Бланке Бурбонской золотой пояс, показавшийся живой змеей замороженному взгляду короля. Отсюда то отвлечение, которое он всегда питал к своей несчастной супруге. (Прим. авт.)

– Скажи, Кармен, – спросил я после недолгого пути, – ведь ты последуешь за мной, правда?

– Я последую за тобой в могилу, да, но жить с тобой я не стану.

Мы находились в уединенном ущелье, я осадил коня.

– Здесь? – спросила она и мигом соскочила наземь.

Она сняла мантилью, бросила ее к своим ногам и застыла на месте, подбоченясь и пристально смотря на меня.

– Ты не хочешь меня убить, понимаю, – сказала она. – От судьбы не уйдешь, но я не покорюсь.

– Прошу тебя, – проговорил я, – образумься. Выслушай меня. Я готов позабыть прошлое. А ведь это ты погубила меня, сама знаешь. Из-за тебя я стал вором и убийцей. Кармен, моя Кармен! Позволь мне спасти тебя и самому спастись вместе с тобой.

– Хосе, – ответила она, – ты просишь невозможного. Я разлюбила тебя, а ты еще любишь меня и потому хочешь убить. Я опять могла бы что-нибудь наплести тебе, но мне не хочется утруждать себя. Между нами все кончено. Как мой *ром*, ты вправе убить свою *роми*, но Кармен всегда будет свободна. *Calli* она родилась и *calli* умрет.

– Так, значит, ты любишь Лукаса? – спросил я.

– Да, я любила его, одно мгновение, как и тебя, быть может, меньше, чем тебя. Теперь я больше никого не люблю и ненавижу себя за то, что когда-то тебя любила.

Я бросился к ее ногам, я взял ее руки, оросил их слезами.

Я напомнил ей о счастливых минутах, которые мы пережили вместе.

Я обещал ей остаться разбойником, лишь бы умилистить ее. Я предлагал ей все, сеньор, решительно все, только бы она согласилась любить меня!

Она ответила:

– Любить тебя – не могу. Жить с тобой – не хочу.

Ярость обуяла меня. Я выхватил нож. Мне хотелось, чтобы она испугалась, попросила пощады, но это была не женщина, а дьявол.

– В последний раз спрашиваю тебя, – воскликнул я, – останешься со мной или нет?

– Нет! нет! нет! – повторила она, топая ногой. И, сняв с пальца кольцо, мой подарок, швырнула его в кусты.

Я дважды ударил ее. Это был нож Кривого, я взял его, когда сломал свой. После второго удара она упала, даже не вскрикнув. Мне кажется, я до сих пор вижу пристальный взгляд ее больших черных глаз; затем они помутнели и закрылись. Я целый час просидел, уничтоженный, над ее телом. Затем я вспомнил, что Кармен несколько раз говорила мне о своем желании быть похороненной в лесу. Вырыв ножом могилу, я опустил ее туда. Я долго проискал ее кольцо и под конец нашел его. И кольцо, и маленький крестик я положил рядом с ней. Не знаю, быть может, я неправильно поступил. Затем я вскочил на коня, прискакал в Кордову и сдался в первой же кордегардии. Я сказал, что убил Кармен,

но отказался наотрез указать, где ее могила. Отшельник был святой человек. Он молился о ней. Он отслужил обедню за упокой ее души... Бедная девочка! Во всем виноваты калесы: это они так воспитали ее.

Глава 4

Испания – страна, где в наши дни сосредоточено особенно много рассеянных по Европе кочевников, известных под названием *Bohémiens, Gitanos, Gypsies, Zigeuner* и т.п. В большинстве своем они обосновались или, точнее, ведут бродячую жизнь в южных и восточных провинциях – в Андалусии, Эстремадуре, в королевстве Мурсия; много их в Каталонии, откуда они часто переходят во Францию. Их можно встретить на всех ярмарках на юге нашей страны. Мужчины обычно торгуют лошадьми, лечат домашний скот и стригут мулов; помимо этого, они занимаются починкой тазов и медной посуды, не говоря уже о контрабанде и всяких недозволенных промыслах. Женщины гадают, попрошайничают и продают всевозможные снадобья, безвредные, а то и вредные.

Внешние особенности цыган легче подметить, нежели описать, и, увидев хотя бы одного из них, вы узнаете среди тысячи людей представителя этого племени. Лицо, выражение лица – вот что отличает их в первую очередь от других народов, населяющих ту же страну. Они гораздо смуглее тех, среди которых живут. Отсюда название *калесы* (черные), которое они нередко себе присваивают⁹⁹. Глаза у цыган боль-

⁹⁹ Мне показалось, что немецкие цыгане не любят, чтобы их так называли, хотя и прекрасно понимают слово *калесы*. Они называют себя *романе чаве*. (Прим. авт.)

шие, раскосые и очень черные, опущены длинными, густыми ресницами. Взгляд их можно сравнить разве что со взглядом хищного зверя. В нем чувствуются одновременно отвага и робость, что довольно хорошо передает характер этой нации, хитрой, отважной, но «от природы боящейся побоев», как Панург. Мужчины по большей части хорошо сложены, стройны, ловки; не припомню, чтобы мне довелось видеть хоть одного тучного цыгана. В Германии много прехорошеньких цыганок; среди испанских *хитан* красота большая редкость. В юности они могут сойти за привлекательных дурнушек, но, народив, детей, становятся попросту отталкивающими. Нечистоплотность мужчин и женщин не поддается описанию, и тот, кто не видел волос цыганской матроны, едва ли поймет, что это такое, даже вообразив себе жесткую, засаленную и запыленную конскую гриву. В крупных городах Андалусии иные молоденькие цыганки, более миловидные, чем другие, несколько больше заботятся о своей внешности и за деньги исполняют пляски, весьма похожие на те, что запрещаются у нас на публичных балах во время карнавала. Английский миссионер мистер Борроу, автор двух интереснейших сочинений об испанских цыганах, которых он вознамерился обратить в истинную веру на средства Библейского общества, утверждает, будто не было случая, чтобы *хитана* проявила слабость к иноплеменнику. Мне кажется, что его похвалы целомудрию цыганок сильно преувеличены. Действительно, большинство испанских цыганок на-

ходятся в положении овидиевой дурнушки: *Casta quam nemo rogavit*¹⁰⁰. Хорошенькие, как и все испанки, весьма разборчивы в выборе любовников. Им надо понравиться, их благосклонность надо заслужить. В доказательство добродетели цыганок мистер Борроу приводит пример, который делает честь его собственной добродетели, а главное, его наивности. Некий знакомый ему человек сомнительной нравственности, утверждает он, тщетно предлагал несколько унций золота хорошенькой *хитане*. Андалусец, которому я рассказал этот случай, заметил, что этот безнравственный человек имел бы больше успеха, показав цыганке три-четыре пиастра, и что предлагать ей золото – способ столь же неубедительный, как и обещать миллион или два трактирной служанке. Неоспоримо, однако, что цыганки на редкость преданы своим мужьям. Нет такой опасности, таких лишений, на которые они не пошли бы, дабы вызволить мужа из беды. Одно из названий, которое присвоили себе цыгане, а именно, *гоме́*, или женатые люди, свидетельствует, по-моему, об их уважении к супружеству. В общем, можно сказать, что основная добродетель цыган – патриотизм, если можно именовать так их верность соплеменникам, их готовность помогать друг другу и нерушимое соблюдение тайны в иных неблагоприятных делах.

Впрочем, нечто подобное наблюдается во всех тайных обществах, находящихся вне закона.

¹⁰⁰ Девственница, которой никто не пожелал (*лат.*). (Прим. авт.)

Несколько месяцев тому назад я побывал в таборе, расположившемся в Вогезах. В шатре у старейшей в роде цыганки лежал смертельно больной цыган, человек чужой ее семейству. Несмотря на хороший уход в больнице, он ушел оттуда, чтобы умереть среди соплеменников. Он находился у своих хозяев уже более трех месяцев, и они относились к нему много лучше, чем к сыновьям и зятям, жившим под одним и тем же кровом. У него было мягкое ложе из соломы и мха с довольно чистыми простынями, тогда как остальные члены семьи – их было одиннадцать – спали на голых досках трех футов длиной. Таково гостеприимство цыган. Та же старуха, столь сердечно относившаяся к своему гостю, говорила мне при больном: *Singó, singó, homte hi mulo*. «Скоро, скоро ему суждено умереть». Впрочем, жизнь цыган так убога, что упоминание о близкой смерти несколько их не пугает.

Полное равнодушие к религии – одна из примечательных особенностей цыган. Не то чтобы они были вольнодумцами или скептиками. Отнюдь нет: безбожниками они никогда себя не считали; они придерживаются вероисповедания той страны, где живут, но меняют его вместе с переменной отечества. Им одинаково чужды и суеверия, заменяющие религиозное чувство всем первобытным народам. Да и откуда было взяться суеверию у людей, которые кормятся за счет чужой легковёрности? Я убедился, впрочем, что испанские цыгане до странности боятся прикосновения к мертвому телу. Мало кто из них согласится даже за деньги отнести покойника на

кладбище.

Я уже говорил, что большинство цыганок занимаются гаданием, и хотя гадают они превосходно, главным источником дохода служит им торговля талисманами и приворотными зельями. У них имеются не только лапки жаб для удержания неверных сердец или толченый магнит для пробуждения любви в сердцах бесчувственных; в случае надобности они прибегают к могущественным заклинаниям, заставляя самого дьявола приходить им на помощь. В прошлом году одна знакомая испанка рассказала мне такую историю: она шла как-то, грустная и озабоченная, по улице Алькалá; сидевшая на тротуаре цыганка окликнула ее: «Красавица, ваш любовник изменил вам». Это была сушая правда. «Хотите, я заставлю его вернуться?» Легко понять, с какой радостью было принято это предложение и как велико было доверие, внушенное особой, которая с одного взгляда угадывала сокровенные тайны сердца. Из-за невозможности заняться магией на самой людной улице Мадрида свидание решили отложить до следующего дня. «Нет ничего проще, чем повергнуть изменщика к вашим ногам, – сказала *хитана*. – У вас, верно, найдется платок, шарф или мантилья, подаренные им?» Ей вручают шелковый шарф. «Теперь зашейте малиновым шелком в один угол шарфа пиастр, в другой – полпиастра, сюда – песету, туда – два реала. А посередине надо зашить золотой. Лучше всего дублон». Дама зашивает дублон и все прочее. «Хорошо, отдайте мне шарф, и ровно в полночь я отнесу его

в Кампо Санто. Пойдемте вместе со мной, если вам хочется видеть настоящую чертовщину. Обещаю, не позже завтрашнего дня вы свидитесь со своим любимым». Цыганка отправилась одна в Кампо Санто: дама слишком боялась чертей, чтобы сопровождать ее. Предоставляю вам догадаться, обрела или нет покинутая женщина свой шарф и своего неверного любовника.

Несмотря на бедность и вызываемую ими неприязнь, цыгане пользуются известным уважением у людей малообразованных и очень кичатся этим. Они чувствуют свое умственное превосходство и открыто презирают народ, оказавший им гостеприимство. «Нечестивцы глупы, – говорила мне одна вогезская цыганка, – надуть их ровно ничего не стоит. Давеча какая-то крестьянка подзывает меня, захожу к ней. У нее дымит печь, и она просит меня поворожить, чтобы наладить тягу. Прежде всего я прошу дать мне большой кусок сала. Затем начинаю бормотать на *роммани*: «Ты дура, душой родилась и душой умрешь...» А подойдя к двери, говорю по-немецки: «Верное средство, чтобы печь у тебя не дымила, – это ее не топить». И пускаюсь наутек.

История цыган все еще представляет собой загадку. Известно, правда, что малочисленные их толпы впервые появились в Восточной Европе в начале XV века; однако мы не знаем, откуда и почему они пришли в Европу, и, самое поразительное, нам неизвестно, каким образом они наводнили за короткое время несколько областей, весьма отдаленных

одна от другой. У самих цыган не сохранилось преданий об их первоначальной родине, и если они чаще всего называют своей колыбелью Египет, то лишь потому, что поверили ходившей о них стародавней легенде.

Большинство ориенталистов, изучавших язык цыган, считают их выходцами из Индии, ибо многие корни и грамматические формы *роммани* попадают в наречиях, происшедших от санскрита. За время своих долгих скитаний цыгане усвоили, понятно, немало иностранных слов. Так, во всех диалектах *роммани* встречается ряд греческих слов. Например: *cocal* – кость, от *χοχᾶλόη*; *petalli* – подкова, от *πεταλον*; *cafi* – гвоздь, от *χαρσι* и т.п. В настоящее время у цыган почти столько же диалектов, сколько разрозненных орд – в их племени. Они лучше говорят на языке той страны, где живут, чем на своем собственном, и прибегают к последнему лишь для того, чтобы свободно разговаривать при посторонних. Сравнив диалекты немецких и испанских цыган, разобщенных между собой на протяжении столетий, мы обнаружим в них огромное количество одних и тех же слов. И все же изначальный язык цыган претерпел большие, хотя и разные по степени, изменения под влиянием языков более культурных, которыми вынуждены были пользоваться эти кочевники. Немецкий, с одной стороны, испанский – с другой, настолько исказили самую суть *роммани*, что шварцвальдский цыган не понял бы своего андалусского собрата, хотя, обменявшись несколькими фразами, они признали бы,

что говорят на диалектах одного и того же языка. Несколько наиболее употребительных слов свойственны, как мне кажется, всем цыганским диалектам. В словарях, с которыми мне довелось познакомиться, *pani* значит вода, *manro* – хлеб, *mâs* – мясо, *lon* – соль.

Числительные почти идентичны во всех странах. Немецкий диалект, сохранивший немало изначальных грамматических форм, кажется мне гораздо чище диалекта испанского, перенявшего грамматические формы кастильского наречия. И все же некоторые его слова составляют исключение, свидетельствуя о древней общности обоих диалектов. В немецком диалекте прошедшее время образуется присоединением окончания *iut* к повелительному наклонению, иными словами, к корню глагола. В испанском *роммани* все глаголы спрягаются по образцу кастильских глаголов первого спряжения. Так, согласно правилам, глагол *jamar* (есть) должен дать в прошедшем времени *jame'* (я ел), глагол *lillar* (брать) – *lille* (я брал). Однако старики цыгане говорят: *jayon*, *lillon*. Я не знаю других глаголов, в которых сохранилась бы эта древняя форма.

Излагая на этих страницах свои более чем скромные познания в языке *роммани*, я позволю себе привести несколько арготических слов, которые французские воры позаимствовали у цыган. Просвещенная публика узнала из *Парижских тайн*, что *chourin* означает нож. Это чистейший *роммани*; *tchouri* – одно из слов, встречающихся во всех цыганских

диалектах. Г-н Видок называет лошадь *gres*; это опять-таки цыганское слово *gras*, *gre*, *graste*, *gris*. Упомянем также слово *romanichel*, под которым на парижском арго подразумеваются цыгане. Это не что иное, как искаженное словосочетание *rommané tchave* – цыганские парни. Но предметом моей гордости служит этимология существительного *frimousse* – личико, мордашка, которое все школьники употребляют или, точнее, употребляли в мое время. Прежде всего обратим внимание на то, что в своем любопытном словаре (1640 г.) Уден писал не *frimousse*, а *firlimouse*. Между тем *firla*, *fila* на *роммани* – это лицо; то же значение имеет и *tui*, полностью соответствующее латинскому *os*. Некий цыганский ученый-пурист сразу понял словосочетание *firlamui*, и, по-моему, оно соответствует духу его языка.

Всего сказанного вполне достаточно, чтобы у читателей *Кармен* создалось выгодное мнение о моих исследованиях в области *роммани*. Под конец приведу цыганскую поговорку, которая будет здесь весьма кстати: *En retudi panda nasti abela tacha*: в наглухо закрытый рот мухе заказан ход.

Il Vicolo di madama Lucrezia¹⁰¹

Мне было двадцать три года, когда я отправился в Рим. Отец мой дал мне десяток рекомендательных писем, из которых одно, не менее чем на четырех страницах, было запечатано. На конверте было надписано: «Маркизе Альдобранди».

– Ты мне напишешь, – сказал мне отец, – по-прежнему ли маркиза красавица.

Я с детства помнил висевшую над камином в его кабинете миниатюру, изображавшую очень красивую женщину с напудренными волосами, в венке из плюща, с тигровой шкурой через плечо. На фоне можно было прочесть: «Roma, 18**»¹⁰². Наряд этой дамы казался мне странным, и я не раз спрашивал, кто она такая. Мне отвечали:

– Вакханка.

Но ответ этот меня не удовлетворял; я даже подозревал, что от меня что-то скрывают, так как при моем невинном вопросе матушка поджимала губы, а отец принимал серьезный вид.

На этот раз, передавая мне запечатанное письмо, он украдкой взглянул на портрет. Я невольно сделал то же са-

¹⁰¹ Переулок госпожи Лукреции (*ит.*).

¹⁰² «Рим, 18..» (*ит.*).

мое, и мне пришло в голову, не является ли именно эта пудренная вакханка маркизой Альдобранди. Так как я уже начал кое-что понимать, то я сделал немаловажные выводы из гримасы моей матушки и взгляда, брошенного отцом.

По прибытии моем в Рим первым письмом, которое я доставил по адресу, было письмо к маркизе. Она жила в прекрасном палаццо поблизости от площади Св. Марка.

Я передал письмо и визитную карточку слуге в желтой лифрее, который ввел меня в просторную гостиную, довольно плохо обставленную, темную и унылую. Но во всех палаццо Рима находятся картины больших мастеров. И в этой гостиной их было немало, причем несколько – весьма замечательных.

Прежде всего я заметил женский портрет, как мне показалось, работы Леонардо да Винчи. По богатству рамы, по тому, что он стоял на подставке красного дерева, видно было, что это – украшение коллекции. Маркиза не появлялась, и у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть картину. Я даже поднес ее к окну, чтобы взглянуть на нее при более выгодном освещении. Это был, очевидно, портрет с натуры, а не фантазия, потому что такое лицо едва ли можно придумать: прекрасная женщина, с несколько полными губами, с почти сросшимися бровями, со взглядом одновременно надменным и ласковым. На заднем фоне был изображен ее герб с герцогской короной. Но больше всего меня поразило ее наряд: исключая пудру на волосах, он был совершенно такой

же, как у вакханки моего отца.

Я еще держал портрет в руках, когда вошла маркиза.

– Совсем как отец! – воскликнула она, подходя ко мне. – Ах, эти французы! Не успел приехать, как уже завладел «Госпожой Лукрецией».

Я поспешил извиниться за свою нескромность и осыпал похвалами шедевр Леонардо, который я осмелился тронуть с места.

– Это действительно Леонардо, – сказала маркиза, – это портрет слишком знаменитой Лукреции Борджа. Из всех моих картин ваш отец больше всего восхищался этой... Но, боже мой, какое сходство! Я будто вижу вашего отца, каким он был двадцать пять лет тому назад. Как он поживает? Что подельывает? Не соберется ли он как-нибудь в Рим проведать нас?

Хотя на маркизе не было ни пудры, ни тигровой шкуры, я с первого же взгляда, силою вдохновения, узнал в ней вакханку моего отца. Двадцать пять лет, прошедшие с того времени, не могли уничтожить всех следов ее красоты. Только выражение лица изменилось, равно как и платье. Одетая она была в черное, а тройной подбородок, важная улыбка, торжественный и просветленный вид ясно давали понять, что она ударилась в набожность.

Впрочем, она приняла меня как нельзя более радушно. Без лишних слов она предоставила в мое распоряжение свой дом, свой кошелек и своих друзей, в числе которых она на-

звала нескольких кардиналов.

– Смотрите на меня, – сказала она, – как на свою мать.

Она скромно опустила глаза.

– Ваш батюшка поручает мне присматривать за вами и давать вам советы.

И в доказательство того, что она не считает свои обязанности синекурой, она тотчас же начала предостерегать меня от опасностей, какие могут встретиться в Риме на пути молодого человека моего возраста, и умоляла меня избегать их. Мне следовало остерегаться дурной компании, особенно артистов, и водиться исключительно с людьми, которых она мне укажет. Одним словом, я выслушал форменную проповедь. Я отвечал почтительно, с подобающим лицемерием.

Когда я встал, чтобы уходить, она мне сказала:

– Я жалею, что мой сын, маркиз, в данный момент не здесь, а в Романье, в нашем имении, но я вас познакомлю со вторым моим сыном, Оттавио, который скоро будет монсеньором. Надеюсь, что он вам понравится и вы подружитесь, как этому и следует быть...

Она поспешно добавила:

– Потому что вы почти одного возраста, и он – юноша тихий и благоразумный, вроде вас.

Она тотчас же послала за доном Оттавио. Я увидел высокого молодого человека, бледного, меланхолического вида, с опущенными глазами, в котором сразу чувствовался святоша.

Не дав ему времени сказать что-либо, маркиза от его имени высказала готовность всегда и во всем служить мне. Он подтверждал глубокими поклонами каждую фразу своей матери, и мы условились, что завтра же он заедет за мною, чтобы показать город, а потом отвезет меня к матери, чтобы пообедать запросто в палаццо Альдобранди.

Не успел я пройти и двадцати шагов по улице, как позади меня раздался повелительный окрик:

– Куда это вы идете один в такой час, дон Оттавио?

Я обернулся и увидел толстого аббата, который, вытаращив глаза, осматривал меня с головы до ног.

– Я не дон Оттавио, – сказал я ему.

Аббат, поклонившись мне чуть не до земли, рассыпался в извинениях, и мгновение спустя я увидел, что он вошел в палаццо Альдобранди. Я продолжал свой путь, не особенно польщенный тем, что меня приняли за этого будущего монсеньора.

Несмотря на предупреждение маркизы, а может быть, как раз вследствие этого предупреждения, я поспешил разыскать квартиру одного знакомого мне художника и провел в его мастерской целый час, рассуждая о дозволенных и недозволенных средствах развлечения, которые мог бы мне доставить Рим. Я посвятил его и в свои отношения к семейству Альдобранди.

Маркиза, сообщил он мне, была когда-то очень легкомысленной женщиной, но потом, увидев, что время побед для

нее прошло, ударились в ханжество. Старший сын ее – грубое существо; он только и делает, что охотится да собирает деньги с арендаторов в своих огромных поместьях. Теперь хотят задурить второго сына, дон Оттавио, из которого намереваются сделать кардинала. Пока что он предоставлен иезуитам. Он никогда не выходит из дому один. Ему запрещено смотреть на женщин и делать хоть один шаг без того, чтобы по пятам за ним не следовал аббат, воспитавший его для служения богу. Аббат этот был прежде последним *amico*¹⁰³ маркизы, а теперь управляет всем в ее доме, пользуясь властью почти деспотической.

На следующий день дон Оттавио в сопровождении аббата Негрони – того самого, который накануне принял меня за своего воспитанника, – заехал за мною и предложил свои услуги в качестве чичероне.

Первым памятником, который мы осмотрели, была какая-то церковь. По примеру своего аббата дон Оттавио преклонил колени, ударил себя в грудь и принялся без конца креститься. Поднявшись, он показал мне фрески и статуи, о которых высказался с толком и хорошим вкусом. Это меня приятно удивило. Мы начали беседовать, и разговор его мне понравился. Некоторое время мы говорили по-итальянски. Вдруг он обратился ко мне по-французски:

– Мой наставник не понимает ни слова на вашем языке. Давайте говорить по-французски: так мы будем чувствовать

¹⁰³ Друг, здесь – возлюбленный (*am.*).

себя свободнее.

От перемены языка молодой человек словно переродился. Ничто в его словах не напоминало больше священника. Мне казалось, что я разговариваю с каким-нибудь нашим либералом из провинции. Но от меня не ускользнуло, что он продолжал говорить все тем же монотонным голосом, часто до крайности не соответствовавшим живости его выражений. Очевидно, это был заученный прием, имевший целью обмануть Негрони, который время от времени просил объяснить ему, о чем мы говорим. Разумеется, наши переводы были чрезвычайно свободными.

Мимо нас прошел молодой человек в фиолетовых чулках.
– Вот, – сказал мне дон Оттавио, – наши нынешние патриции. Гнусная ливрея! Увы, через несколько месяцев и я ее надену.

Помолчав, он продолжал:

– Какое счастье жить в такой стране, как ваша. Будь я французом, может быть, я стал бы когда-нибудь депутатом!

Это благородное честолюбие страшно рассмешило меня. Аббат заметил это, я должен был объяснить ему, что разговор зашел у нас об ошибке одного археолога, принявшего за антик статую Бернини.

К обеду мы вернулись в палаццо Альдобранди. Почти сразу же после кофе маркиза попросила у меня извинения за сына, который должен был удалиться к себе в комнату для исполнения некоторых религиозных обязанностей. Я остал-

ся с нею и аббатом Негрони, который, развалившись в большом кресле, спал сном праведника.

Между тем маркиза стала подробнейшим образом спрашивать меня об отце, о Париже, о моей прошлой жизни, о моих планах на будущее. Она показалась мне любезной и доброй, но слишком уж любопытной, а главное – слишком озабоченной спасением моей души. Впрочем, она превосходно говорила по-итальянски, и беседа с нею была для меня отличным уроком произношения, который я решил повторить.

Я часто заходил к ней. Почти ежедневно по утрам я осматривал древности вместе с ее сыном и неизбежным Негрони, а под вечер обедал у них в палаццо. Принимала у себя маркиза лишь очень немногих лиц, и то почти исключительно духовных.

Впрочем, однажды она познакомила меня с какою-то немкой, большой ее подругой, недавно обратившейся в католичество. Это была г-жа Штраленгейм, уже много лет жившая в Риме. Пока дамы беседовали между собою о каком-то знаменитом проповеднике, я рассматривал при свете лампы портрет Лукреции. Мне показалось уместным тоже вставить словечко.

– Что за глаза! – воскликнул я. – Можно подумать, что эти веки сейчас дрогнут.

При этой несколько претенциозной гиперболе, на которую я отважился, чтобы выставить себя знатоком в глазах г-

жи Штраленгейм, она задрожала от ужаса и спрятала лицо в платок.

– Что с вами, дорогая? – спросила маркиза.

– Ничего... Но этот господин только что сказал...

Ее засыпали вопросами, и, после того как она призналась, что моя фраза привела ей на память один страшный случай, ее заставили эту историю рассказать.

Вот она в двух словах.

У мужа г-жи Штраленгейм была сестра по имени Вильгельмина, просватанная за молодого человека из Вестфалии, Юлиуса Каценеленбогена, добровольца в дивизии генерала Клейста. Мне очень досадно, что приходится приводить такие варварские имена, но чудесные истории случаются только с людьми, имена которых трудно бывает произнести.

Юлиус был очаровательным юношей, преисполненным патриотизма и метафизики. Уходя на войну, он подарил Вильгельмине свой портрет, а Вильгельмина в обмен дала ему свой, который он всегда носил на груди. В Германии это очень принято.

13 сентября 1813 года, около пяти часов вечера, Вильгельмина, находившаяся в Касселе, вязала, сидя в гостиной вместе со своей матерью и золовкой. Во время работы она поглядывала на портрет своего жениха, стоявший перед нею на маленьком рабочем столике. Вдруг она страшно вскрикнула, схватилась за сердце и упала в обморок. Большого труда стоило привести ее в сознание. Как только к ней вернулась

способность речи, она воскликнула:

– Юлиус умер! Юлиус убит!

Она утверждала (и ужас, изображавшийся в ее чертах, достаточно подтверждал ее уверенность в этом), что она видела, как портрет закрыл глаза, и что в ту же минуту она почувствовала жгучую боль, словно раскаленное железо пронзило ей сердце.

Напрасно все старались ей доказать, что видение ее не имеет в себе ничего реального и что она не должна придавать ему никакого значения. Бедная девушка была безутешна; она провела ночь в слезах и на следующий день решила надеть траур, так как была уверена, что несчастье, ей возвещенное, уже произошло.

Два дня спустя было получено известие о кровопролитном сражении под Лейпцигом. Юлиус прислал своей невесте письмо, помеченное 13-м числом, три часа пополудни. Он не был ранен, отличился в бою и собирался вступить в Лейпциг, где рассчитывал провести ночь в главной квартире, вдали от всякой опасности. Письмо это, несмотря на его утешительный характер, не могло успокоить Вильгельмину, которая, заметив, что оно помечено тремя часами, продолжала упорно верить, что в пять часов ее возлюбленный умер.

Несчастливая не ошиблась. Вскоре узнали, что Юлиус, посланный с приказом, выехал из Лейпцига в половине пятого и в трех четвертях мили от города, по ту сторону Эльстера, был застрелен каким-то отставшим от неприятельской

армии солдатом, спрятавшимся во рву. Пуля, попавшая ему в сердце, пробила портрет Вильгельмины.

– Что же стало с несчастной девушкой? – спросил я у г-жи Штраленгейм.

– О, она тяжело заболела. Теперь она замужем за советником юстиции фон Вернером, и если вы попадете как-нибудь в Дессау, она покажет вам портрет Юлиуса.

– Все это козни дьявола, – произнес аббат, сквозь сон слушавший историю г-жи Штраленгейм. – Тот, кто заставляет вещать языческие оракулы, может, если ему заблагорассудится, привести в движение глаза на портрете. Всего двадцать лет тому назад в Тиволи одного англичанина задушила статуя.

– Статуя! – воскликнул я. – Как же это случилось?

– Некий милорд производил раскопки в Тиволи. Он нашел статую императрицы Агриппины, Мессалины... уж не помню, какой именно. Как бы то ни было, он велел доставить ее к себе в дом и все время глядел на нее и восхищался ею, так что влюбился в нее до безумия. Все эти господа протестанты и без того наполовину помешанные. Он звал ее своей женой, своей миледи, целовал ее, хотя она была мраморною. Он говорил, что статуя каждый вечер оживает, для того чтобы доставить ему удовольствие. Кончилось все это тем, что в одно прекрасное утро моего милорда нашли в постели мертвым. И поверите ли? Нашелся другой англичанин, который купил эту статую. Я бы ее пустил на известку.

Когда начинают говорить о сверхъестественном, трудно бывает остановиться. У каждого из нас нашлось что рассказать, я тоже вложил свою долю в эту коллекцию страшных сказок. Неудивительно, что к тому времени, как нужно было расходиться, мы все были порядочно взволнованы и прониклись уважением к нечистой силе.

Я отправился домой пешком и, чтобы выйти на улицу Корсо, свернул в извилистый переулок, по которому еще никогда не ходил. Прохожих не было видно. Тянулись ограды садов, и кое-где стояли ветхие домики, из которых ни один не был освещен. Пробыло полночь; погода была пасмурная. Я шел довольно быстро и прошел уже с пол-улицы, как вдруг над головой у меня раздался шорох, тихое «ш-ш», и в ту же минуту к моим ногам упала роза. Я поднял глаза и, несмотря на темноту, разглядел у окна женщину в белом, протянувшую ко мне руку. Нам, французам, везет в чужих землях, и отцы наши, покорители Европы, с детства воспитали нас в традициях, лестных для национальной гордости. Я свято верил, что стоит только немецкой, испанской или итальянской даме взглянуть на француза, чтобы тотчас в него влюбиться. Одним словом, в то время я целиком разделял предрассудки моей страны, да к тому же и эта роза ясно подтверждала мои мысли.

– Сударыня, – сказал я тихо, поднимая розу, – вы уронили цветок...

Но женщина уже исчезла, и окно закрылось без малейше-

го шума. Я поступил так, как поступил бы всякий на моем месте. Я отыскал ближайшую дверь (она была в двух шагах от окна) и стал дожидаться, когда ее откроют. Прошло пять минут; полная тишина. Я кашлянул, тихонько постучался; дверь не отворилась. Я стал ее рассматривать более внимательно, надеясь найти ключ или щеколду; к моему величайшему удивлению, я обнаружил на ней висячий замок.

«Ревнивец еще не вернулся домой!» – подумал я. Я поднял камешек и бросил его в окошко. Он стукнулся о деревянную ставню и упал к моим ногам. «Черт возьми! Что же, римские дамы воображают, что всякий носит с собой в кармане веревочную лестницу? Мне не говорили о таком обычае».

Я постоял еще несколько минут, все так же напрасно. Мне только почудилось раза два, что ставни слегка дрогнули, как будто изнутри хотели их приоткрыть, чтобы посмотреть на улицу. Через четверть часа мое терпение истощилось, я закурил сигару и пошел своей дорогой, постаравшись, однако, запомнить местоположение дома с замком на двери.

Обдумывая на следующий день это приключение, я пришел к следующему выводу: какая-то молодая римская дама, вероятно, очень красивая, заметив меня во время моих прогулок по городу, пленилась моими скромными достоинствами. То, что она выразила мне свой пыл только таинственным цветком, объяснялось либо тем, что ее удержала от большего честная стыдливость, либо тем, что ей помешало при-

сутствие какой-нибудь дуэньи, а может быть – проклятого опекуна, вроде Бартоло, приставленного к Розине. Я решил устроить форменную осаду дома, где обитала эта инфанта.

С этой благородной целью я вышел из дому, победоносно причесавшись. Я надел новый сюртук и желтые перчатки. В таком наряде, шляпа набекрень, увядшая роза в петлице, я направился к улице, названия которой я еще не знал, но которую нашел без труда. Дощечка над мадонной гласила, что зовется она *il vicolo di madama Lucrezia*.

Такое название меня удивило. Я сразу же вспомнил портрет Леонардо да Винчи и истории с таинственными предчувствиями и всякой чертовщиной, которые накануне мы рассказывали у маркизы. Затем я подумал о том, что существует любовь, предопределенная небом. Почему бы предмету моей любви не зваться Лукрецией? Почему бы ей не походить на Лукрецию из галереи Альдобранди?

Было светло, я находился в двух шагах от очаровательной особы, и никакая мрачная мысль не примешивалась к чувствам, которые я испытывал.

Я стоял напротив того дома. На нем значился № 13. Плохое предзнаменование... Увы, дом этот несколько не соответствовал представлению, которое я о нем себе составил, видя его ночью. Это отнюдь не было палаццо, совсем напротив. Я увидел ограду, потемневшую от времени и поросшую мхом, сквозь щели которой просовывались ветви запущенных плодовых деревьев. В углу сада возвышался маленький

двухэтажный домик с двумя окнами на улицу; оба они были закрыты старыми ставнями, снабженными с наружной стороны множеством железных полосок. На входной двери, очень низкой и украшенной стершимся гербом, как и вчера, висел огромный замок с цепью. На двери было написано мелом: «Дом продается или отдается внаем».

Однако я не ошибался. Дома с этой стороны улицы были столь редки, что невозможно было смешать этот дом с другим. Конечно, это был тот самый замок; и, что еще важнее, два лепестка розы, лежавшие на панели около самой двери, с точностью указывали то место, где накануне я получил от моей возлюбленной знак ее чувства, и в то же время свидетельствовали, что панель перед ее домом не подметалась.

Я обратился к каким-то беднякам, жившим по соседству, чтобы узнать, где обитает сторож этого таинственного жилища.

– Он здесь не живет, – был короткий ответ.

Мне показалось, что вопрос мой не понравился тем, кого я спрашивал, и это еще более подстрекнуло мое любопытство. Заходя по очереди во все двери, я наконец попал в какой-то темный подвал, где сидела старуха, которую можно было принять за колдунью, так как около нее был черный кот и она что-то варила в котле.

– Вам угодно осмотреть дом госпожи Лукреции? – спросила она. – Ключ у меня.

– Отлично. Покажите мне дом.

– Что же, вы хотите его снять? – спросила она, недоверчиво усмехаясь.

– Да, если он мне подойдет.

– Он не подойдет вам. Но, если вы мне дадите на чай, я вам его покажу, пожалуй.

– Охотно.

Заручившись моим обещанием, она проворно встала со скамейки, сняла со стены заржавленный ключ и повела меня к дому № 13.

– Почему дом этот называется домом госпожи Лукреции? – спросил я.

Старуха захихикала:

– Почему вы называетесь иностранцем? Не потому ли, что вы – иностранец?

– Хорошо, но кто была эта госпожа Лукреция? Какая-нибудь римская дама?

– Как! Вы приехали в Рим и никогда не слышали о госпоже Лукреции! Когда мы войдем, я вам расскажу ее историю. Но что за чертовщина еще с этим ключом? Я не знаю, что с ним, он не поворачивается. Попробуйте вы сами.

Действительно, надо полагать, что этот ключ и замок давненько не встречались между собой. Все же, после того как я выругался несколько раз и достаточно поскрипел зубами, мне удалось повернуть ключ. Но при этом я разорвал свои желтые перчатки и едва не вывихнул руку. Мы вошли в темный коридор, куда выходил ряд низеньких комнат.

Потолки, занятно разукрашенные, были покрыты паутиной, под которой с трудом можно было разобрать остатки позолоты. Запах плесени во всех комнатах ясно показывал, что в них давно никто не жил. Никакой мебели не было. Ключья старых кожаных обоев свисали с отсыревших стен. Судя по лепке некоторых консолей и по форме каминов, я решил, что дом был выстроен в XV веке и, надо думать, был когда-то обставлен с некоторым изяществом. Окна с мелким переплетом, в которых большая часть стекол была выбита, выходили в сад, где я заметил цветущий розовый куст, несколько плодовых деревьев и большое количество цветной капусты.

Обойдя все комнаты нижнего этажа, я стал подниматься во второй, где я видел накануне свою незнакомку. Старуха пыталась меня удержать, уверяя, что там нечего смотреть и что лестница в плохом состоянии. Но, видя мое упорство, она пошла за мною следом с явным неудовольствием. Комнаты в этом этаже были очень похожи на нижние, только они были не такими сырыми; потолки и окна тоже были в лучшем состоянии. В последней из комнат, куда я зашел, стояло широкое кресло, обитое черной кожей, и, странное дело, оно не было покрыто пылью. Я сел в него и, найдя, что в нем достаточно удобно слушать, попросил старуху рассказать мне о госпоже Лукреции. Но предварительно, чтобы освежить ее память, я дал ей несколько паоло. Она прокашлялась, высморкалась и начала так:

– В языческие времена был император Александр: у него

была дочь, прекрасная как ясный день, которую звали госпожа Лукреция. Да вот, взгляните!..

Я быстро обернулся. Старуха показывала мне на консоль, поддерживавшую главную балку зала. Она изображала грубо вылепленную сирену.

– Да, – продолжала старуха, – она любила повеселиться. А так как отцу это могло бы не понравиться, то она выстроила себе вот этот домик, где мы с вами находимся.

Каждую ночь спускалась она с Квиринала и приходила сюда развлекаться. Садилась у этого окна и, когда по улице проходил какой-нибудь красивый кавалер, вроде вас, сударь, зазывала его. Можете себе представить, как его здесь принимали! Но мужчины болтливы, некоторые из них по крайней мере, и своей болтовней могли бы ей повредить. И она принимала свои меры. Когда она прощалась со своим милым, на лестнице, по которой мы с вами подымались, уже стояли ее прислужники. Они живо с ним расправлялись, а потом зарывали в этих грядках цветной капусты. Вы не поверите, сколько костей выкопали в этом саду!

Долго она забавлялась таким образом. Но вот как-то раз вечером проходит под окном брат ее, Сикст Тарквиний. Она не узнала его. Зазывает к себе. Он подымается. Ночью ведь все кошки серы. И с ним случилось то же, что со всеми. Но он оставил у нее свой носовой платок, на котором было вышито его имя.

Как только узнала она, какое злое дело они совершили, на

нее напало отчаяние. Она живо сняла подвязку и повесилась вон на той балке. Вот хороший пример для молодежи!

Покуда старуха путала таким образом все эпохи, соединяя Тарквиниев с Борджа, я не сводил глаз с пола. Я заметил на нем несколько совершенно свежих розовых лепестков, которые навели меня на размышления.

– А кто ходит за садом? – спросил я старуху.

– Мой сын, сударь, садовник господина Ваноцци, у которого сад рядом. Господин Ваноцци все время проводит в Мареммах и почти не бывает в Риме. Потому-то и сад немножко запущен. Мой сын всегда с ним. Боюсь, что не скоро они вернутся, – прибавила она со вздохом.

– Он очень занят у господина Ваноцци?

– Ах, господин Ваноцци странный человек: прямо не поймешь, чем они занимаются... Боюсь, что не обходится тут без темных дел... Бедный мой сын!

Она сделала шаг к выходу, словно желая прекратить разговор.

– Значит, здесь никто не живет? – спросил я, останавливая ее.

– Ни живой души.

– А почему?

Она пожала плечами.

– Послушайте, – сказал я, протягивая ей пиастр, – скажите правду. Сюда приходит женщина?

– Женщина? Помилуй бог.

– Да, я вчера вечером видел ее, даже разговаривал с ней.

– Матерь божия! – воскликнула старуха, бросившись к лестнице. – Значит, это была госпожа Лукреция! Пойдемте скорей отсюда, мой добрый господин! Мне говорили, что она бродит тут по ночам, только я не хотела вам этого рассказывать, чтобы не повредить интересам моего хозяина: я думала, вы хотите снять этот дом.

Я не в силах был ее удержать. Она торопилась из дома, чтобы поскорей, как она уверяла, поставить свечку в ближайшей церкви.

Я тоже вышел и отпустил ее, потеряв надежду узнать от нее что-нибудь еще.

Само собой разумеется, в палаццо Альдобранди я ничего не рассказал о своем приключении: маркиза была слишком добродетельна для таких разговоров, а дон Оттавио настолько был занят политикой, что едва ли мог бы дать мне какой-нибудь совет в любовной интриге. Но я посетил своего приятеля художника, знавшего в Риме всю подноготную, и спросил его, что он обо всем этом думает.

– Я думаю, – отвечал он, – что вам явился призрак Лукреции Борджа. Какой ужасной опасности вы подвергались! Если она и при жизни была опасной женщиной, то какой же она стала после смерти! Страшно подумать.

– Нет, шутки в сторону, что бы это могло значить?

– Видно, что вы – атеист, философ и не верите в самые почтенные вещи. Отлично; в таком случае что вы скажете о

следующей гипотезе: предположим, что старуха предоставляет свой дом женщинам, способным зазывать к себе прохожих с улицы. Ведь бывают иногда такие порочные старухи, которые занимаются подобным ремеслом.

– Отлично, – возразил я, – но почему же в таком случае старуха не предложила мне своих услуг? Неужели у меня вид такого святоши? Это даже обидно. А потом, мой друг, вспомните, какая обстановка в этом доме. Надо дойти до последней крайности, чтобы удовлетвориться ею...

– Тогда это – привидение, не сомневайтесь в этом. Поймите, еще одна гипотеза: вы ошиблись домом. Черт возьми, дайте подумать: около сада? Маленькая низенькая дверь?.. Ну, так это моя добрая приятельница Розина. Года полтора тому назад она была украшением этой улицы. Правда, она с тех пор окривела, но это пустяк... Она еще очень недурна в профиль.

Но ни одно из этих объяснений меня не удовлетворило. Когда наступил вечер, я медленно прошел мимо дома Лукреции. Никаких признаков жизни. Прошел еще раз – опять ничего. Три или четыре вечера подряд, возвращаясь из палатцо Альдобранди, я караулил под окнами моей незнакомки без всякого успеха. Я начал уже забывать таинственную обительницу дома № 13, как вдруг, проходя однажды около полуночи по переулку, я явственно услышал женский смех за ставнями того окна, у которого появилась женщина, подарившая мне цветок. Я еще раз услышал женский смех и

не мог отогнать чувство некоторого ужаса, когда в ту же минуту увидел, как в другом конце улицы показалась группа кающихся в капюшонах, со свечами в руках, провожая на кладбище какого-то покойника. Когда они прошли мимо, я снова занял свой сторожевой пост под окном, но ничего уже больше не услышал. Я пробовал бросать камешки, даже звал несколько раз вполне отчетливо – никто не показывался. Разразившийся ливень заставил меня удалиться.

Мне стыдно признаться, сколько раз я останавливался около этого проклятого дома, не будучи в состоянии разрешить мучившую меня загадку. Случилось однажды так, что я проходил по переулку госпожи Лукреции с доном Оттавио и его неотлучным аббатом.

– Вот дом Лукреции, – сказал я.

Я заметил, что дон Оттавио изменился в лице.

– Да, – ответил он. – Согласно народному преданию, очень недостоверному, Лукреция Борджа избрала этот дом местом своих тайных развлечений. Если бы эти стены могли говорить, сколько ужасов они бы нам поведали! А между тем, друг мой, сравнивая тогдашние времена с нашими, я начинаю сожалеть о них. При Александре VI еще были римляне. Сейчас их больше нет. Цезарь Борджа был чудовище, но он был великий человек. Он хотел изгнать варваров из Италии, и, проживи его отец дольше, ему бы, может быть, удалось осуществить этот великий замысел. О, если бы небо послало нам тирана вроде Борджа и освободило нас от этих мелких

деспотов, которые превращают нас в тупых скотов.

Когда дон Оттавио пускался в область политики, остановить его было невозможно. Мы дошли до Пьяцца дель Пополо, а он еще не кончил своего панегирика просвещенному деспотизму. Про меня и мою Лукрецию не было уже и помину.

Однажды поздно вечером я пошел навестить маркизу. Она сказала мне, что ее сыну нездоровится, и попросила меня пройти к нему в комнату. Он лежал на кровати одетый и читал французскую газету, которую я утром переслал ему, тщательно запрятав ее в том «отцов церкви». С некоторых пор творения отцов церкви служили нам для подобных посылок, которые следовало скрывать от аббата и маркизы. В дни, когда приходила почта из Франции, мне присылали большой том ин-фолио. Я отсылал в обмен другой, в который вкладывал газету, полученную от секретаря посольства. Это внушало самое высокое представление о моем благочестии маркизе и ее духовнику, который иногда пытался вызвать меня на богословские собеседования.

Поболтав некоторое время с доном Оттавио, я заметил, что он был очень взволнован и что даже политика не могла поглотить его внимания. Я посоветовал ему лечь в постель и попрощался с ним. Было холодно, а плаща я не захватил с собой. Дон Оттавио стал упрашивать меня взять его плащ. Я согласился, но попросил его научить меня сложному искусству закутываться в плащ, как это делают истые римляне.

Завернувшись в плащ до самого носа, я вышел из палаццо Альдобранди. Не успел я сделать несколько шагов по тротуару площади Св. Марка, как какой-то человек из просто-народья, сидевший у ворот палаццо, подошел ко мне и сунул скомканную бумажку.

– Ради бога, прочтите, – сказал он.

Затем он пустился бежать со всех ног и скрылся.

Держа бумажку в руках, я стал искать места посветлее, чтобы прочитать ее. При свете лампадки, зажженной перед мадонной, я увидел, что это была записка, написанная карандашом, и, очевидно, дрожащей рукой. Я с трудом разобрал следующее:

«Не приходи сегодня вечером, иначе мы погибли! Известно все, кроме твоего имени. Ничто не сможет нас разлучить. Твоя Лукреция».

– Лукреция! – воскликнул я. – Опять Лукреция! Что за мистификация подо всем этим скрывается? «Не приходи». Но, милая моя, как найти к вам дорогу?

Погрузившись в глубокое раздумье по поводу этой записки, я машинально свернул в переулок госпожи Лукреции и вскоре очутился напротив дома № 13.

На улице, как и всегда, никого не было, и только звук моих шагов нарушал глубокую тишину, царившую кругом. Я остановился и посмотрел на окно, так хорошо мне знакомое.

Нет, я не ошибался: ставня начала приоткрываться. Наконец окно широко распахнулось. Мне показалось, что на темном фоне комнаты обрисовалась человеческая фигура.

– Лукреция, это вы? – спросил я вполголоса.

Мне не ответили, но я услышал какое-то шелканье, причины которого я сначала не понял.

– Лукреция, это вы? – снова спросил я немного громче.

В то же мгновение меня что-то страшно ударило в грудь, раздался выстрел, и я упал на мостовую. Хриплый голос мне крикнул:

– Вот тебе от госпожи Лукреции!

И ставня бесшумно затворилась.

Я тотчас же, шатаясь, поднялся и прежде всего стал себя ощупывать, думая найти большую дыру в животе. Плащ был пробит, платье тоже, но удар пули был ослаблен складками плаща, так что я отделался только контузией.

Мне пришло в голову, что за первым выстрелом может последовать второй, и я поскорей перебрался на ту сторону улицы, где находился негостеприимный дом, и начал красться вдоль стен, чтобы в меня не могли целиться.

Я шел как мог быстрее, едва переводя дух, как вдруг какой-то человек, которого я не заметил за своей спиной, взял меня за руку и с участием осведомился, не ранен ли я.

По голосу я узнал дона Оттавио. Как ни сильно я был удивлен, увидев его одного в такой час ночи на улице, расспрашивать было не время. В двух словах я сообщил ему,

что в меня стреляли из какого-то окна и что я только получил ушиб.

– Это было недоразумение! – воскликнул он. – Но я слышу, сюда идут люди. В состоянии ли вы идти? Я погиб, если нас с вами застанут вместе. Все-таки я не оставлю вас.

Он взял меня за руку и быстро повел. Мы шли, или, лучше сказать, бежали, куда мне позволяли силы; но вскоре я вынужден был присесть на уличную тумбу, чтобы перевести дыхание.

К счастью, мы находились неподалеку от какого-то большого дома, где давали бал. У подъезда его стояло множество карет. Дон Оттавио договорился с кучером одной из них, усадил меня в карету и отвез в мою гостиницу. Выпив большой стакан воды, который меня окончательно привел в себя, я рассказал дону Оттавио во всех подробностях, что произошло со мной у этого рокового дома, начиная с подаренной розы вплоть до свинцовой пули.

Он слушал меня, опустив голову и полузакрыв лицо рукой. Когда я показал ему полученную мной записку, он схватил ее, с жадностью прочел и снова воскликнул:

– Это недоразумение, ужасное недоразумение!

– Согласитесь, мой друг, – сказал я, – что оно крайне неприятно для меня, да и для вас тоже. Меня едва не убили, а ваш прекрасный плащ продырявили в десяти или двенадцати местах. Черт возьми! И ревнивы же ваши соотечественники.

Дон Оттавио пожал мне руки с огорченным видом и еще раз перечел записку, ничего не отвечая.

– Объясните же мне, что тут происходит, – сказал я ему. – Черт бы меня побрал, если я хоть что-нибудь понимаю.

Он пожал плечами.

– Скажите по крайней мере, что мне делать? – продолжал я. – К кому я должен обратиться в вашем святом городе, чтобы привлечь к ответственности этого господина, который подстреливает прохожих, даже не справляясь об их имени? Признаться, я был бы очень рад послать его на виселицу.

– Боже вас упаси! – вскричал он. – Вы не знаете этой страны. Не говорите никому ни слова о том, что с вами случилось. Иначе вы себя подвергнете большой опасности.

– Как! Подвергну себя опасности? Ну нет! Я очень рассчитываю получить реванш. Если бы еще я оскорбил этого негодяя, тогда другое дело... Но только за то, что я поднял розу... По совести, я не заслуживал пули.

– Предоставьте действовать мне, – сказал дон Оттавио. – Может быть, мне удастся разъяснить эту тайну. Но я убедительно прошу вас, во имя вашей дружбы ко мне, – не говорите об этом ни одной живой душе! Обещаете?

У него был такой печальный вид, и он так меня умолял, что у меня не хватило духа отказать ему, и я обещал ему все, о чем он просил. Он пылко поблагодарил меня, сам положил мне на грудь компресс с одеколоном, пожал мне руку и простился.

– Кстати, – спросил я его, когда он уже отворил дверь, чтобы выйти, – объясните мне, пожалуйста, как вы очутились как раз там, чтобы прийти мне на помощь?

– Я услышал ружейный выстрел, – ответил он не без смущения, – и тотчас же выбежал из дому, испугавшись, не случилось ли с вами какого несчастья.

И он быстро ушел, еще раз попросив меня держать все в тайне.

Наутро меня посетил хирург, присланный, без сомнения, доном Оттавио. Он прописал мне припарку, но не спрашивал о причине того, что к лилейному цвету моего лица примешались фиалковые тона. В Риме принято быть скромным, и я решил не отступать от общего правила.

Прошло несколько дней, а я все никак не мог свободно поговорить с доном Оттавио. Он был чем-то озабочен, еще более мрачен, чем обычно, а кроме того, казалось, избегал вопросов с моей стороны. В те редкие минуты, что я проводил с ним, он ни словом не обмолвился о странных обитателях *vicolo di madama Lucrezia*. Приближался срок его рукоположения, и я объяснял его меланхолию отвращением к профессии, которой он был вынужден отдаться.

Я готовился покинуть Рим и отправиться во Флоренцию. Когда я объявил о своем отъезде маркизе Альдобранди, дон Оттавио попросил меня под каким-то предлогом зайти к нему в комнату.

Там он взял меня за обе руки и сказал:

– Дорогой друг мой, если вы не окажете мне услуги, о которой я вас попрошу, я несомненно застрелюсь, потому что у меня нет другого способа выйти из тяжелого положения, в которое я попал. Я твердо решил никогда не облачаться в мерзкую одежду, которую меня заставляют надеть. Я хочу бежать из этой страны. Просьба моя к вам – взять меня с собой. Вы выдадите меня за вашего слугу. Достаточно простой приписки к вашему паспорту, чтобы облегчить мне бегство.

Сначала я пробовал отговорить его, указывая на то, какое огорчение он этим доставит матери; но так как он был непоколебим в своем решении, я в конце концов обещал взять его с собой, вписав его в мой паспорт.

– Это еще не все, – сказал он. – Мой отъезд зависит от успеха одного предприятия, в которое я замешан. Вы собираетесь ехать послезавтра. К этому дню, может быть, мне удастся успешно закончить мое дело, и тогда я буду к вашим услугам.

– Неужели вы настолько безумны, – спросил я не без некоторой тревоги, – что дали себя втянуть в какой-нибудь заговор?

– Нет, – ответил он, – дело идет о вопросе менее важном, чем судьба моей родины, однако достаточно важном для того, чтобы от успеха или неуспеха этого предприятия зависели моя жизнь и мое счастье. Сейчас я не могу вам больше ничего сказать. Через два дня вы все узнаете.

Я уже начал привыкать ко всяким тайнам и потому при-

нял это безропотно. Мы условились, что выедем в три часа утра и остановимся не раньше, чем вступив на территорию Тосканы.

Решив, что не стоит ложиться спать, если мы задумали выехать так рано, я в последний вечер, который мне оставалось провести в Риме, посетил дома, где я был принят. Я зашел и к маркизе, чтобы проститься с нею и пожать официально, для проформы, руку ее сыну. Я почувствовал, как его рука дрожала при рукопожатии. Он мне шепнул:

– В эту минуту моя жизнь разыгрывается в «орла или решку». В гостинице вас ждет письмо от меня. Если ровно в три часа меня у вас не будет, не ждите меня.

Меня поразило, как он осунулся, но я приписал это вполне понятному волнению в момент, когда он расставался, быть может, навсегда, со своей семьей.

Около часа пополудни я пошел домой. Мне захотелось еще раз пройти по *vicolo di madama Lucrezia*. Что-то белое свешивалось из окна, в котором предстали мне два столь различных видения. Я осторожно приблизился. Это была веревка с узлами. Означало ли это приглашение зайти проститься с синьорой? Похоже было на то, и искушение было сильное. Однако я не поддался ему, вспомнив обещание, данное дону Оттавио, а также, должен сказать, и нелюбезный прием, который несколько дней тому назад встретила гораздо менее дерзкая попытка с моей стороны.

Я прошел мимо, но удалялся очень медленно, сожалея,

что теряю последний случай проникнуть в тайну дома № 13. После каждого шага я оборачивался, всякий раз думая увидеть какую-нибудь человеческую фигуру, спускающуюся или поднимающуюся по этой веревке. Никто не показывался. Я дошел до конца переулка и уже выходил на Корсо.

– Прощайте, госпожа Лукреция! – сказал я, снимая шляпу и кланяясь дому, который еще был виден. – Ищите кого-нибудь другого, кто бы отомстил ревнивцу за то, что он держит вас взаперти.

Пробило два часа, когда я вернулся в свою гостиницу. Карета была уже во дворе, нагруженная моими вещами. Один из лакеев гостиницы передал мне письмо. Оно было от донна Оттавио. Так как оно показалось мне длинным, я подумал, что лучше прочесть его у себя в комнате, и попросил лакея мне посветить.

– Сударь, – сказал он, – ваш слуга, о котором вы нам говорили, тот, что должен с вами ехать...

– Так что же, он здесь?

– Нет еще...

– Он на почтовой станции, он пошел за лошадьми.

– Сударь, только что пришла дама, которая желает поговорить с вашим слугою. Она захотела непременно пройти к вам и поручила мне передать вашему слуге, как только он явится, что госпожа Лукреция находится в вашей комнате.

– В моей комнате? – вскричал я, хватаясь за перила лестницы.

– Да, сударь. И, по-видимому, она тоже едет, так как передала мне небольшой сверток; я положил его на крышу кареты.

Сердце у меня сильно забилося. Какой-то суеверный страх, смешанный с любопытством, овладел мною. Я поднялся по лестнице, осторожно шагая по ступенькам. На площадке второго этажа лакей, шедший впереди меня, оступился, и свеча, которую он нес в руке, упала и погасла. Он стал на все лады извиняться и пошел вниз, чтобы снова зажечь ее. Я между тем продолжал подниматься.

Уже я взялся за ручку моей двери. Я колебался. Какое новое видение предстанет мне? История «окровавленной монахини» не раз приходила мне на память, пока я шел в темноте. Может быть, и я нахожусь во власти дьявола, как дон Алонзо? Мне казалось, что лакей ужасно долго не идет.

Я открыл дверь. Слава богу! В моей спальне горел свет. Я быстро прошел маленькую гостиную перед спальней. С первого взгляда я убедился, что в спальне никого нет. Но сейчас же я услышал позади себя легкие шаги и шорох платья. Мне показалось, что у меня волосы встали дыбом. Я быстро обернулся.

Женщина, вся в белом, с черной мантильей на голове приближалась ко мне с раскрытыми объятиями.

– Наконец-то, мой возлюбленный! – воскликнула она, хватая меня за руку.

Ее рука была холодна как лед, а на лице – смертельная

бледность. Я отступил к стене.

– Пресвятая Дева, это не он!.. Ах, сударь, вы друг дон Оттавио?

Эти слова объяснили мне все. Молодая женщина, несмотря на свою бледность, отнюдь не походила на привидение. Она опускала глаза, чего привидения никогда не делают, и руки ее были сложены скромно у пояса: я понял, что мой друг дон Оттавио не такой уж тонкий политик, каким я его считал. Короче сказать, пора было похитить Лукрецию, и, к несчастью, во всем этом приключении на мою долю выпала только роль наперсника.

Через минуту явился дон Оттавио; он был переодет. Привели лошадей, и мы двинулись в путь. У Лукреции не было паспорта, но женщина, да еще красивая, не внушает подозрений. Однако один из жандармов стал придирааться. Я сказал ему, что он храбрец и, наверно, служил при великом Наполеоне. Он подтвердил это. Я подарил ему портрет этого великого человека в золотой рамке и сказал, что имею привычку брать с собою в путешествие, чтобы не было скучно, какую-нибудь *amica*¹⁰⁴, но ввиду того, что я их меняю довольно часто, я считаю излишним прописывать их в своем паспорте.

– Эта, – прибавил я, – едет со мною до ближайшего города. Там, говорят, я могу найти других не хуже ее.

– Напрасно будете менять, – отвечал жандарм, почтительно закрывая дверцы кареты.

¹⁰⁴ Подруга (*ит.*).

Если вам угодно знать, сударыня, негодный дон Оттавио познакомился с этой прелестной особой, сестрой некоего Ваноччи, богатого земледельца, бывшего на плохом счету из-за его легких связей с либералами и очень серьезных – с контрабандистами. Дону Оттавио было отлично известно, что, если бы даже его семейство и не предназначало его для духовного поприща, оно никогда не позволило бы ему жениться на девушке столь неравного положения.

Любовь изобретательна. Ученику аббата Негрони удалось завязать тайные сношения со своей возлюбленной. Каждую ночь он ускользал из палаццо Альдобранди и, не уверенный в том, что сможет влезть с улицы через окно в дом Ваноччи, виделся со своей милой в доме госпожи Лукреции, дурная слава которого обеспечивала им безопасность. Маленькая калитка, прикрытая фиговым деревом, соединяла оба сада. Будучи молоды и влюблены, Лукреция и Оттавио не жаловались на недостаточность мебелировки, которая, как я уже говорил, сводилась к одному старому кожаному креслу.

Однажды вечером, поджидая дону Оттавио, Лукреция приняла меня за него и бросила мне розу, как я уже рассказывал. Правда, ростом и фигурой я был довольно похож на дону Оттавио, и сплетники, знавшие моего отца в Риме, говорили, что для этого были основания. Случилось, что проклятый брат узнал об этой интриге, но, несмотря на его угрозы, Лукреция не сказала ему имени ее соблазнителя. Вы уже знаете, какова была его месть и как я чуть было не расплатился

за всех. Излишне также рассказывать о том, как влюбленные ускользнули каждый из своего дома.

Заключение. Мы все трое добрались до Флоренции. Дон Оттавио обвенчался с Лукрецией и тотчас же уехал с нею в Париж. Отец мой принял его так же, как я был принят маркизой. Он взялся примирить его с матерью, и ему, хоть и не без труда, удалось этого достигнуть. Маркиз Альдобранди весьма кстати заболел болотной лихорадкой и умер. Дон Оттавио унаследовал его титул и состояние, и я был крестным отцом его первенца.

Голубая комната

Мадам де Ларюн

Молодой человек в волнении ходил по вокзальному залу. У него были синие очки, и, хотя он не был простужен, он поминутно подносил платок к носу. В левой руке он держал маленький черный саквояж, в котором находились, как я потом узнал, шелковый халат и шальвары.

Время от времени он подходил к выходной двери, вынимал карманные часы и проверял их по вокзальным. Поезд уходил только через час, но есть люди, которые всегда боятся опоздать. На таких поездах не ездят деловые люди: вагонов первого класса было мало. Час был не тот, когда биржевые маклеры, окончившие дела, едут обедать на дачу. Парижанин без труда узнал бы в пассажирах, которые начали собираться, фермеров или пригородных лавочников. Тем не менее всякий раз, как кто-нибудь входил в вокзал или экипаж останавливался перед входной дверью, у молодого человека в синих очках сердце расширялось, как пузырь, колени начинали дрожать, саквояж готов был выпасть из рук, а очки сваливались с носа, на котором, кстати сказать, они сидели совсем криво.

Но стало еще хуже, когда, после долгого ожидания, из боковой двери, единственного места, за которым он не наблю-

дал, показалась женщина, вся в черном, с густым вуалем на лице, держа в руках темный сафьяновый саквояж, в котором, как я впоследствии установил, находились чудесный капот и голубые атласные туфли. Женщина и молодой человек пошли друг другу навстречу, смотря направо и налево, но не прямо перед собой. Они сошлись, соединили руки и несколько минут стояли, задыхаясь и дрожа, охваченные тем острым волнением, за которое я отдал бы сто лет жизни философа.

Когда они обрели дар слова, молодая женщина (я забыл сказать, что она была молода и красива) произнесла:

– Леон, Леон, какое счастье! Я никогда бы вас не узнала в этих синих очках!

– Какое счастье! – ответил Леон. – Я бы никогда не узнал вас под этим черным вуалем!

– Какое счастье! – повторила она. – Займем скорее места. Вдруг поезд уйдет без нас! (Она крепко сжала ему руку.) Никто ничего не подозревает. В настоящее время я с Кларой и ее мужем еду к ним на дачу, где *завтра* должна с ними проститься. И вот уже час, как они уехали, – прибавила она, смеясь и опуская голову, – а завтра... проведя *последний вечер* с нею (она снова сжала его руку)... завтра утром она отвезет меня на станцию, где я встречу Урсулу, которую я послала вперед к тетке... О, у меня все предусмотрено! Возьмем билеты... Узнать нас невозможно! Ах, а вдруг в гостинице спросят наши фамилии? Я уже забыла...

– Господин и госпожа Дюрю.

– Ах, нет! Только не Дюрю! В пансионе был сапожник по фамилии Дюрю.

– Ну, тогда Домон?..

– Домон.

– Превосходно. Только у нас ничего не будут спрашивать. Раздался звонок, двери зала отворились, и молодая женщина, не поднимая вуали, устремилась со своим спутником к вагону первого класса. Второй звонок – и дверца купе захлопнулась за ними.

– Мы одни! – радостно закричали они.

Но почти в то же мгновение человек лет пятидесяти, одетый в черное, со скучающим и важным видом вошел в купе и расположился в углу. Паровоз дал свисток, и поезд тронулся.

Молодая пара, сев как можно дальше от неприятного своего соседа, начала говорить вполголоса, да еще вдобавок, из предосторожности, – по-английски.

– Сударь, – проговорил их спутник на том же языке, но с более чистым британским акцентом, – если у вас есть секреты, вам лучше было бы не говорить их при мне по-английски. Я англичанин. Мне очень жаль, что я вас стесняю, но в другом купе сидит только один мужчина, а у меня правило – никогда в дороге не садиться с одиноким мужчиной. А у него еще физиономия Иуды. Вот это могло бы его соблазнить. (Он указал на чемодан, брошенный им на подушку.) Впрочем, если я не засну, то буду читать.

Действительно, он честно постарался заснуть. Он открыл чемодан, вынул оттуда дорожную шапочку, надел ее на голову и просидел несколько минут с закрытыми глазами. Потом с недовольным видом открыл их, отыскал в чемодане очки и греческую книгу и принялся внимательно читать. Чтобы достать книгу, пришлось перерыть в чемодане множество мелких предметов, уложенных в беспорядке. Между другими вещами он извлек из недр чемодана довольно толстую пачку английских банковых билетов, положил их на диван перед собою и, прежде чем обратно уложить их, показал молодому человеку, спросив, сможет ли он разменять их в N.

– По всей вероятности. Ведь это на пути в Англию.

N. было место, куда ехала молодая пара. В N. есть довольно чистенькая гостиница, где останавливаются только по субботам вечером. Говорят, что там хорошие номера. Хозяин и прислуга нелюбопытны: они живут не так уж далеко от Парижа, чтобы страдать этим провинциальным недостатком. Молодой человек, которого я уже назвал Леоном, присмотрел эту гостиницу несколько дней тому назад, когда приезжал без синих очков, и его описание вызвало у его подруги желание побывать там.

А в тот день она находилась в таком настроении, что даже тюремные стены показались бы ей полными прелести, если бы ее туда заключили вместе с Леоном.

Между тем поезд все шел; англичанин читал свою греческую книгу, не оборачиваясь к спутникам, которые разгова-

ривали так тихо, как умеют шептаться только любовники. Читатель, быть может, не особенно удивится, если я ему открою, что они и были любовниками в полном смысле этого слова. Прискорбно то, что они не были повенчаны, но к этому имелись серьезные препятствия.

Поезд подошел к Н. Англичанин вышел первым. Покуда Леон помогал своей спутнице выйти из вагона так, чтобы не видно было ее ножек, какой-то человек выскочил на платформу из соседнего купе. Он был бледен, даже желт, с впалыми, налитыми кровью глазами, плохо выбрит – признак, по которому часто можно узнать большого преступника. Платье у него было чистое, но крайне изношенное. Его сюртук, когда-то черный, а теперь серый на спине и на локтях, был застегнут до самого верха, вероятно, для того, чтобы не видно было жилета, еще более вытертого. Он подошел к англичанину и смиренно начал:

– Uncle!..¹⁰⁵

– Leave me alone, you wretch!¹⁰⁶ – закричал англичанин, и серые глаза его загорелись гневом.

Он направился к выходу.

– Don't drive me to despair¹⁰⁷, – продолжал другой голосом жалобным и в то же время почти угрожающим.

– Присмотрите, пожалуйста, одну минуту за моими веща-

¹⁰⁵ Дядюшка (англ.).

¹⁰⁶ Оставь меня в покое, негодяй! (англ.)

¹⁰⁷ Не доводите меня до отчаяния (англ.).

ми, – сказал старик англичанин, бросая к ногам Леона свой чемодан.

Затем он схватил за руку человека, который к нему обратился, отвел или, вернее, толкнул его в угол, где, по его расчетам, их нельзя было слышать, и стал что-то говорить ему, казалось, очень резким тоном. Потом он вынул из кармана несколько бумажек, скомкал их и сунул в руку человека, который называл его дядей. Тот взял бумажки, не поблагодарив, и почти сейчас же исчез.

В N. только одна гостиница, и потому нет ничего удивительного, что через несколько минут туда сошлись все действующие лица этой правдивой истории. Во Франции всякий путешественник, который имеет счастье идти под руку с хорошо одетой дамой, может быть уверен, что во всех гостиницах ему отведут лучшую комнату; недаром всеми признано, что мы – самый учтивый народ в Европе.

Если комната, отведенная Леону, была лучшей в гостинице, то это не значит, что она была вполне хороша. В ней стояла широкая кровать орехового дерева с ситцевым пологом, на котором лиловой краской была изображена трагическая история Пирама и Фисбы. Стены были оклеены обоями с видом Неаполя и множеством фигур; к сожалению, шутники-постояльцы от нечего делать пририсовали усы и трубки всем мужским и женским фигурам, а небо и море были исписаны множеством глупостей в стихах и в прозе. На этом фоне висело несколько гравюр: «Луи-Филипп присягает кон-

ституции 1830 года», «Первая встреча Жюли и Сен-Пре», «Ожидание счастья» и «Сожаление» с картин Дюбюфа. Комната эта называлась голубой, так как два кресла, стоявшие по правую и по левую сторону камина, были обиты голубым утрехтским бархатом; но в течение уже многих лет на них были надеты коленкоровые серые чехлы с малиновыми кантиками.

Пока служанки хлопотали около вновь прибывшей дамы, предлагая ей свои услуги, Леон, сохранявший здравый смысл, несмотря на всю свою влюбленность, пошел на кухню заказать обед. Потребовалось все его красноречие и даже подкуп, чтобы добиться обещания, что обед им подадут в комнату; но представьте себе его ужас, когда он узнал, что в общей столовой, находившейся рядом с его комнатой, господа офицеры 3-го гусарского полка, пришедшие в Н. на смену господам офицерам 3-го егерского, собираются сегодня объединиться с этими последними за прощальным обедом, где будет царить полная непринужденность. Хозяин клялся всеми святыми, что, не считая природной веселости, свойственной французским военным, господа гусары и господа егеря известны всему городу как люди весьма благоразумные и добродетельные и что их соседство нисколько не потревожит вновь приехавшую даму, ибо господа офицеры имеют обыкновение вставать из-за стола еще до полуночи.

Когда Леон, весьма смущенный этим сообщением, несмотря на уверения хозяина, возвращался в голубую ком-

нату, он обратил внимание на то, что англичанин занял соседнюю с ним комнату. Дверь была открыта. Англичанин сидел за столом, на котором стояли стакан и бутылка, и смотрел на потолок с таким вниманием, будто считал разгуливающих там мух.

«Какое нам дело до соседей? – подумал Леон. – Англичанин скоро напьется, а гусары разойдутся до полуночи».

Войдя в голубую комнату, он первым делом проверил, есть ли задвижки и хорошо ли заперты двери, сообщающиеся с соседними комнатами. Со стороны англичанина дверь была двойная, а стена капитальная. Со стороны гусар стена была тоньше, но дверь запиралась на ключ и задвижку. В конце концов, это была более надежная защита от любопытных, чем каретные занавески. А ведь сколько людей, сидя в фиакре, считают себя отделенными от всего мира!

Положительно, самое пылкое воображение не может представить себе более полного счастья, чем блаженство двух молодых влюбленных, после долгого ожидания оказавшихся наедине, вдали от ревнивцев и любопытных, и получивших возможность досыта наговориться о перенесенных ими страданиях и вкусить наслаждение полной близости. Но дьявол всегда находит способ влить каплю горечи в чашу счастья. Джонсон сказал, – хотя и не первый, ибо он заимствовал эту мысль у одного греческого писателя, – что никто не может сказать: «Сегодня я буду счастлив». Истина эта, признанная в столь отдаленные времена величайшими фи-

лософами, до сих пор неизвестна еще большому количеству смертных, и в особенности большинству влюбленных.

Во время довольно посредственного обеда в своей голубой комнате, состоявшего из нескольких блюд, похищенных со стола гусар и егерей, Леон и его спутница очень страдали от разговоров, которые вели между собой военные в соседнем зале. Там говорили не о стратегии и не о тактике, и я не стану передавать содержание этой беседы.

Это был ряд нелепых историй, почти сплошь вольного содержания, и сопровождалась они громким смехом, к которому иногда трудно было не присоединиться и нашим влюбленным. Подруга Леона не была чересчур чопорной, но есть вещи, которые неприятно слышать даже наедине с любимым человеком. Положение делалось все более затруднительным. Леон счел нужным спуститься на кухню и попросить хозяйку передать обедающим, что в соседней комнате находится больная женщина, которая надеется, что учтивость побудит их шуметь не так сильно.

Метрдотель, как всегда при парадных обедах, совсем захлопотался и не знал, кому отвечать. В ту минуту, когда Леон давал ему поручение к офицерам, лакей требовал от него бутылку шампанского для гусар, а горничная – портвейну для англичанина.

– Я ему сказала, что у нас нет портвейна, – прибавила она.

– Дура! У нас есть все вина. Я найду ему портвейн! Принеси мне бутылку сладкой настойки, бутылку красного в пят-

надцать су и графин водки.

Сфабриковав в одну минуту портвейн, хозяин вошел в общий зал и исполнил поручение Леона. В первое мгновение его слова возбудили страшную бурю. Наконец какой-то бас, покрывавший все голоса, спросил, какого рода женщина находится по соседству. Наступило молчание. Хозяин отвечал:

– Право, не знаю, как вам сказать. Она очень мила и застенчива. Мари-Жанна говорит, что у нее обручальное кольцо на пальце. Очень может быть, что это новобрачная совершает свадебную поездку, как часто случается.

– Новобрачная! – закричали сразу сорок голосов. – Пусть она придет чокнуться с нами! Мы выпьем за ее здоровье и поучим молодого его супружеским обязанностям.

При этих словах страшно зазвенели шпоры, и наши влюбленные в ужасе подумали, что сейчас их комнату возьмут приступом. Но вдруг раздался голос, водворивший тишину. Очевидно, говорил начальник. Он упрекнул офицеров в недостатке вежливости и приказал им занять свои места, выражаться прилично и не кричать. Он еще что-то прибавил, но так тихо, что в голубой комнате не было слышно. Слова его были выслушаны почтительно, но возбудили сдержанный смех. С этой минуты в зале воцарилась относительная тишина, и наши любовники, благословляя спасительную власть дисциплины, начали беседовать более непринужденно. Но после стольких треволнений требовалось известное время, чтобы вновь обрести те нежные эмоции, которые бы-

ли заметно нарушены тревогою, дорожными неудобствами и особенно грубым весельем соседей. Однако в их возрасте этого нетрудно достичь, и вскоре они забыли о всех невзгодах своего рискованного путешествия и все мысли устремили к главной его цели.

Они считали, что с гусарами заключен мир; увы, это было только перемирие. В ту минуту, когда они меньше всего ожидали этого, когда они были за тысячу лье от подлунного мира, вдруг двадцать четыре трубы в сопровождении нескольких тромбонов заиграли известную песню французских солдат: «Победа за нами!» Кто бы выдержал подобную бурю? Бедных любовников очень стоило пожалеть.

.....

Впрочем, жалеть их можно было и не очень, так как в конце концов офицеры покинули столовую и, продефилировав мимо голубой комнаты, один за другим, с громким бряцанием сабель и шпор, прокричали по очереди:

– Доброй ночи, молодая!

Потом шум затих. Впрочем, ошибаюсь: англичанин вышел в коридор и крикнул:

– Человек, принесите мне еще бутылку такого же портвейна.

В гостинице городка N. водворилось спокойствие. Ночь была теплая, светила полная луна. С незапамятных времен

любовники с удовольствием смотрят на спутницу нашей планеты. Леон и его подруга растворили окно, выходящее в маленький садик, и наслаждались свежим воздухом, напоенным запахом клематисов. Но недолго им пришлось посидеть у окна. Какой-то человек ходил по саду взад и вперед, опустив голову, скрестив руки, с сигарой во рту. Леону показалось, что это племянник англичанина, любителя портвейна.

.....

Я не люблю вдаваться в излишние подробности и не считаю себя обязанным рассказывать читателю то, что он легко может вообразить; не стану поэтому излагать час за часом все, что произошло в гостинице городка N. Скажу только, что свечка, поставленная на нетопленном камине в голубой комнате, наполовину выгорела, когда в комнате англичанина, где до сих пор было тихо, раздался странный звук, какой мог бы произвести тяжелый предмет при падении. За этим звуком последовал не менее странный треск, затем приглушенный крик и несколько неразборчивых слов, похожих на проклятие. Юные постояльцы голубой комнаты вздрогнули. Может быть, это их внезапно разбудило. На них обоих звук этот, который они не могли себе объяснить, произвел почти зловещее впечатление.

– Это наш англичанин во сне, – сказал Леон, пытаясь улыбнуться.

Он хотел успокоить свою спутницу, но на него тоже напала невольная дрожь. Через две или три минуты кто-то открыл дверь в коридор, казалось, с большой осторожностью, потом она тихонько снова закрылась. Кто-то шел медленным, неуверенным шагом, словно хотел скрыться незамеченным.

– Проклятая гостиница! – воскликнул Леон.

– Здесь как в раю! – ответила молодая женщина, кладя голову на его плечо. – Я смертельно хочу спать!..

Она вздохнула и почти сейчас же опять заснула.

Один знаменитый моралист сказал, что люди перестают болтать, когда им не о чем больше просить. Поэтому нет ничего удивительного, что Леон не стал делать никаких попыток возобновить разговор или рассуждать относительно звуков в гостинице городка N. Но помимо воли все это его тревожило, а в памяти возникало многое такое, на что в другом состоянии духа он не обратил бы ни малейшего внимания. Ему вспомнилась зловещая фигура племянника англичанина. Какая ненависть была у него во взгляде, когда он смотрел на дядю, меж тем как разговаривал он с ним подобострастно, вероятно, потому, что просил денег!

«Что может быть легче для молодого и крепкого человека, доведенного к тому же до отчаяния, как влезть из сада в окно? К тому же он, видимо, тоже остановился в этой гостинице, раз ночью прогуливался по саду. Может быть... да же наверно... несомненно ему было известно, что в черном

чемодане находится толстая пачка банковских билетов... А этот глухой удар, похожий на удар дубины по лысому черепу!.. Этот подавленный крик!.. Это ужасное проклятие! И затем шаги! У племянника – лицо убийцы... Но как можно совершить убийство в гостинице, полной офицеров? Конечно, дверь у этого англичанина, как у человека осторожного, была заперта на задвижку; ведь он знал, что этот негодяй находится поблизости. Он, видимо, не доверял ему, если не хотел разговаривать с ним, имея в руках свой чемодан... Но зачем предаваться таким ужасным мыслям в минуту полного счастья?»

Вот что проносилось у Леона в голове. Будучи во власти этих мыслей, в которых я не стану разбираться подробнее, – для него самого они были смутными, как сонные видения, – он машинально остановил свой взгляд на двери, соединяющей голубую комнату с комнатой англичанина.

Во Франции двери закрываются неплотно. В голубой комнате между дверью и полом была щель, по крайней мере, в два сантиметра. Вдруг в этой щели, едва освещенной отблеском паркета, показалось что-то темное, плоское, похожее на лезвие ножа, так как край, озаренный светом свечи, представлял собою тонкую, очень блестящую линию. Оно медленно ползло по направлению к голубой атласной туфельке, небрежно брошенной неподалеку от этой двери. Может быть, это какое-нибудь насекомое вроде сороконожки?.. Нет, это не насекомое. Оно не имело определенной фор-

мы... Две-три темные полоски, каждая с блестящей линией по краю, проникли в комнату. Движение их ускоряется вследствие покатости пола... Они подвигаются все быстрее, сейчас они доберутся до тuffельки. Сомнений быть не может! Это – жидкость, и жидкость эта (теперь при свечке ясно виден ее цвет) не что иное, как кровь. И покуда Леон с ужасом, не шевелясь, смотрел на эти ужасные струйки, молодая женщина продолжала спокойно спать, и ровное дыхание ее согревало шею и плечо ее любовника.

.....

Из того, что Леон сейчас же по приезде в гостиницу города N. позаботился заказать обед, можно заключить, что он был достаточно рассудителен, умен и даже предусмотрителен. И на этот раз он не опровергнул представления, которое можно было бы о нем составить. Он не пошевелился, но напряг все силы своего ума, чтобы предотвратить ужасное несчастье, которое ему угрожало.

Боюсь, что большинство моих читателей и особенно читательниц, исполненных героических чувств, осудят такое поведение, такое бездействие Леона при данных обстоятельствах. Мне скажут, что он должен был броситься в комнату англичанина и задержать убийцу или, по крайней мере, поднять трезвон, чтобы разбудить прислугу гостиницы. На это я прежде всего отвечу, что во французских гостиницах шну-

рок от звонка служит исключительно для украшения комнаты и не связан ни с каким металлическим аппаратом. Почти-точно, но твердо добавлю, что если нехорошо предоставить англичанину умирать по соседству с вами, то не особенно похвально и жертвовать для него женщиной, которая спит, положив голову вам на плечо. Что бы произошло, если бы Леон поднял шум и разбудил всю гостиницу? Сейчас же появились бы жандармы и прокурор со своим писцом. Люди эти по своей профессии настолько любопытны, что, прежде чем приступить к расследованию дела, они задали бы Леону ряд вопросов: «Как ваша фамилия? Ваши документы? Кто эта женщина? Почему вы оказались с нею в голубой комнате? Вы должны явиться в суд, чтобы показать, что такого-то числа такого-то месяца в такой-то час ночи вы были свидетелем такого-то происшествия».

Именно эта мысль о прокуроре и жандармах прежде всего пришла в голову Леону. В жизни бывают иногда случаи, когда не знаешь, как тебе следует поступить. Что лучше: оставить ли без помощи незнакомого тебе путешественника, которого режут, или покрыть позором и потерять любимую женщину? Неприятно, когда приходится разрешать подобную задачу. Бьюсь об заклад, что она любого поставит в тупик.

Леон поступил так, как, вероятно, большинство людей поступило бы на его месте: он не шевельнулся. Не отводя глаз от голубой туфли и красного ручейка, который почти касал-

ся ее, он долго пребывал в каком-то оцепенении, его виски покрылись холодным потом, а сердце билось так сильно, что готово было разорваться. Вихрь мыслей, образов странных и ужасных преследовал его, а внутренний голос твердил непрерывно: «Через час все откроется, и это – твоя вина».

Но, неотступно повторяя: «Как выйти из этой переделки?», в конце концов находишь луч надежды. Леон подумал: «Если мы уедем из этой проклятой гостиницы до того, как станет известно, что произошло в соседней комнате, мы можем, пожалуй, замести наш след. Здесь нас никто не знает; меня видели только в синих очках, а ее – только под вуалью. Мы в двух шагах от вокзала, и через час мы будем очень далеко от N.». Перед тем как предпринять эту поездку, он внимательно изучил расписание поездов и теперь вспомнил, что есть восьмичасовой поезд на Париж. А там они сразу затеряются в этом огромном городе, где скрывается столько преступников. Кто же там найдет двух невинных? Но, может быть, кто-нибудь войдет в комнату англичанина раньше восьми часов? Вот в чем вопрос.

Убедившись, что другого выхода нет, он сделал отчаянное усилие, чтобы сбросить с себя оцепенение, в котором он так долго уже находился; но как только он пошевелился, его юная спутница проснулась и страстно его поцеловала. Прикоснувшись к его ледяной щеке, она вскрикнула:

– Что с вами? Ваш лоб холоден, как мрамор!

– Ничего, – ответил он неуверенно, – мне показалось, что

в соседней комнате какой-то шум...

Он высвободился из ее объятий и прежде всего отодвинул голубую туфлю и заставил креслом дверь в соседнюю комнату, чтобы скрыть от своей подруги ужасную жидкость, которая перестала течь и образовала довольно большую лужу на полу. Потом приоткрыл дверь в коридор, прислушался, решил даже подойти к двери англичанина. Она была заперта. В гостинице уже началось движение. Рассветало. Конюхи на дворе чистили лошадей; с третьего этажа по лестнице спускался какой-то офицер, звеня шпорами: он шел наблюдать за интересной операцией, которую лошади любят больше, чем люди, и для которой существует специальное название: «засыпать корм».

Леон вернулся в голубую комнату и со всеми предосторожностями, которые может подсказать любовь, прибегая к массе обиняков и смягченных выражений, изложил своей спутнице положение, в каком они очутились.

Опасно оставаться, опасно и слишком поспешно уезжать. Но еще опаснее дожидаться в гостинице, пока раскроется катастрофа в соседней комнате. Нечего и говорить, что сообщение это произвело ужасное впечатление. Слезы, нелепейшие планы; сколько раз несчастные бросались друг другу в объятия со словами: «Прости меня, прости меня!» Каждый считал себя главным виновником. Они поклялись умереть вместе, так как молодой человек не сомневался, что правосудие признает их виновными в убийстве англичанина. И так

как они не были уверены, что им позволят поцеловаться на эшафоте, они стали целоваться наперед, сжимая друг друга в объятиях и заливаясь слезами.

Наконец, наговорив множество бессмыслиц, нежных и душераздираательных слов, они признали, среди тысяч поцелуев, что план, придуманный Леоном, то есть отъезд восьмичасовым поездом, действительно был единственно выполнимым и наилучшим. Но оставалось еще переждать два томительных часа. При каждом звуке шагов по коридору они дрожали всем телом. Каждый скрип сапог, казалось, возвещал прибытие имперского прокурора.

Свой легкий багаж они уложили во мгновение ока. Молодая женщина хотела сжечь в камине голубую туфлю, но Леон поднял ее, вытер о постельный коврик, поцеловал и спрятал себе в карман. Он удивился, что от нее пахнет ванилью; его спутница душилась «Букетом императрицы Евгении».

В гостинице уже все проснулись. Слышно было, как смеются лакеи, поют служанки, солдаты чистят мундиры своих офицеров. Леон хотел заставить свою подругу выпить чашку кофе с молоком, но она объявила, что у нее так сдавило горло, что если она сделает хоть глоток, то умрет.

Леон вооружился своими синими очками и пошел вниз расплачиваться по счету. Хозяин извинился перед ним за вчерашний шум, который он до сих пор не мог себе объяснить, так как господа офицеры обыкновенно бывают очень тихие. Леон стал уверять, что он ничего не слышал и пре-

восходно выспался.

– Зато ваш сосед с другой стороны, – продолжал хозяин, – едва ли вас беспокоил. Он никогда не шумит. Бьюсь об заклад, что он и теперь еще спит как святой.

Леон оперся на конторку, чтобы не упасть, а молодая женщина, которая пришла вместе с ним, судорожно уцепилась за его руку и туже затянула вуаль.

– Это милорд, – продолжал безжалостный хозяин. – Ему подавай все самое лучшее. Да, это очень достойный человек. Но не все англичане на него похожи. У нас тут остановился один, прямо скаред. Все ему слишком дорого: и комната, и стол... За билет английского банка в пять фунтов стерлингов он захотел сто двадцать пять франков... Хорошо еще, если бумажка не фальшивая!.. Да вот, вы должны понимать в этом толк: я слышал, как вы говорили по-английски... Хорошая бумажка?

С этими словами он протянул ему пятифунтовый банкнот. На одном углу было маленькое красное пятнышко, происхождение которого Леону стало сразу ясно.

– Я думаю, он вполне хорош, – ответил он сдавленным голосом.

– О, у вас времени много, – продолжал хозяин. – Поезд уходит только в восемь, да еще всегда опаздывает. Присядьте, пожалуйста, сударыня. Вы утомились, как видно...

В эту минуту вошла толстая служанка.

– Скорее горячей воды, – сказала она, – для чая милорда!

Подайте также губку! У него разбилась бутылка с вином и залила всю комнату.

При этих словах Леон упал на стул; спутница его – также. Им обоим так хотелось расхохотаться, что они едва сдержались.

Молодая женщина радостно пожала руку своему спутнику.

– Знаете что, – обратился Леон к хозяину, – мы поедем двухчасовым поездом. Приготовьте нам к двенадцати завтрак поплотнее.

Локис (Рукопись профессора Виттенбаха)

I

– Будьте добры, Теодор, – сказал профессор Виттенбах, – дайте мне тетрадку в пергаментном переплете со второй полки, над письменным столом, – нет, не эту, а маленькую, в восьмушку. Я собрал в нее все заметки из своего дневника за 1866 год, по крайней мере, все то, что относится к графу Шемету.

Профессор надел очки и среди глубокого молчания прочел следующее:

ЛОКИС

с литовской пословицей в качестве эпитафии:

Miszka su Lokiu
Abu du tokiu¹⁰⁸.

Когда в Лондоне появился первый перевод на литовский язык Священного Писания, я поместил в *Кенигсбергской на-*

¹⁰⁸ Два сапога – пара; дословно: Мишка и Локис одно и то же, *Michaelium cum Lokide, ambo (duo) ipsissimi*.

учно-литературной газете статью, в которой, отдавая должное работе ученого переводчика и благочестивым намерениям Библейского общества, я счел долгом отметить некоторые небольшие погрешности, а кроме того, указал, что перевод этот может быть пригоден для одной только части литовского народа. Действительно, диалект, который применил переводчик, лишь с большим трудом понимается жителями областей, говорящих на жемайтском языке, в просторечии именуемом жмудским. Я имею в виду Самогитский палатинат, язык которого, может быть, еще более приближается к санскриту, чем верхнелитовский. Замечание это, несмотря на яростную критику со стороны одного весьма известного профессора Дерптского университета, открыло глаза почтенным членам совета Библейского общества, которое не замедлило прислать мне лестное предложение принять на себя руководство изданием Евангелия от Матфея на самогитском наречии. В то время я был слишком занят изысканиями в области зауральских языков, чтобы предпринять работу в более широком масштабе, которая охватила бы все четыре Евангелия. Итак, отложив женитьбу на Гертруде Вебер, невесте моей, я отправился в Ковно с намерением собрать все лингвистические памятники жмудского языка, печатные и рукописные, какие только мне удалось бы достать, не пренебрегая, разумеется, также и народными песнями – *dainos*, равно как и сказками и легендами – *pasakos*. Все это должно было дать мне материалы для составления жмудско-

го словаря – работа, которая необходимо должна была предшествовать самому переводу.

Я имел с собой рекомендательное письмо к молодому графу Михаилу Шемету, отец которого, как меня уверяли, обладал знаменитым *Catechismus Samogiticus* отца Лавицкого, книгой столь редкой, что самое существование ее оспаривалось упомянутым мною выше дерптским профессором. В его библиотеке, согласно собранным мною сведениям, находилось старинное собрание *dainos*, а также поэтических памятников на древнепрусском языке. Я написал письмо графу Шемету, чтобы объяснить цель моего посещения, и получил от него крайне любезное приглашение провести в его замке Мединтильтас столько времени, сколько потребно будет для моих разысканий. Письмо свое он заканчивал уверением, изложенным в самой приветливой форме, что сам он может похвалиться умением говорить по-жмудски не хуже его крестьян и что он был бы счастлив присоединить и свои старания к моим в предприятии, которое он называл *великим* и увлекательным. Подобно некоторым другим из наиболее богатых землевладельцев в Литве, он исповедовал евангелическое вероучение, священнослужителем которого я имею честь состоять. Меня предупреждали, что граф не лишен некоторых странностей, но, впрочем, весьма гостеприимный хозяин, любитель наук и искусств и особенно внимателен к лицам, которые ими занимаются. Итак, я отправился в Мединтильтас.

У подъезда замка меня встретил графский управитель, который тотчас же проводил меня в приготовленную для меня комнату.

— Его сиятельство, — сказал он мне, — крайне сожалеет, что не может сегодня отобедать вместе с господином профессором. У него один из приступов мигрени, которой он, к сожалению, часто болеет. Если господину профессору не угодно откушать у себя в комнате, он может пообедать с господином Фребером, доктором графини. Обед — через час; к столу не переодеваются. Если господину профессору что-нибудь понадобится, вот звонок.

И он удалился, отвесив глубокий поклон.

Моя комната была просторна, хорошо обставлена, украшена зеркалами и позолотой. С одной стороны окна выходили на замковый сад или, лучше сказать, парк, с другой — на широкий парадный двор. Несмотря на предупреждение, что к столу не переодеваются, я счел необходимым вынуть из чемодана свой черный фрак. Оставшись в одном жилете, я занялся разборкой своего легкого багажа, как вдруг стук колес привлек меня к окну, выходящему на двор. Туда только что въехала прекрасная коляска. В ней сидели дама в черном, какой-то господин и еще одна женщина, одетая как литовская крестьянка, столь рослая и крупная на вид, что я сначала готов был принять ее за переодетого мужчину. Она вышла первой; две другие женщины, по виду не менее крепкие, стояли уже на крыльце. Господин наклонился к даме в

черном и, к крайнему моему удивлению, отстегнул широкий ремень, которым она была прикреплена к своему месту в коляске. Я заметил, что волосы у этой дамы, длинные и седые, были растрепаны, а широко раскрытые глаза – безжизненны: ее можно было принять за восковую фигуру. Отвязав свою спутницу, господин снял перед ней шляпу и весьма почтительно сказал ей несколько слов, но она, по-видимому, не обратила на них ни малейшего внимания. Тогда он повернулся к служанкам и едва заметно кивнул им головой. Три женщины тотчас же схватили даму в черном и, несмотря на то что она изо всех сил цеплялась за коляску, подняли ее, как перышко, и внесли в дом. Кучка домово́й челяди наблюдала эту сцену и, казалось, не видела в ней ничего необыкновенного.

Человек, руководивший всеми этими действиями, вынул часы и спросил, скоро ли будет обед.

– Через четверть часа, господин доктор, – ответили ему.

Мне нетрудно было догадаться, что передо мною был доктор Фребер, а дама в черном была графиня. По ее возрасту я заключил, что она приходится матерью графу Шемету, а предосторожности, принятые по отношению к ней, указывали достаточно ясно, что рассудок ее был поврежден.

Через несколько минут доктор вошел в мою комнату.

– Графу нездоровится, – сказал он мне, – и потому я должен сам представиться господину профессору. Доктор Фребер, к вашим услугам. Мне чрезвычайно приятно

лично познакомиться с ученым, заслуги которого известны всем читателям *Кенигсбергской научно-литературной газеты*. Угодно вам будет, чтобы подавали на стол?

Я ответил любезностью на любезность, прибавив, что, если время садиться за стол, я готов.

Когда мы вошли в столовую, дворецкий, по северному обычаю, поднес нам серебряный поднос, уставленный водками и солеными, очень острыми закусками для возбуждения аппетита.

– Разрешите мне в качестве врача, господин профессор, – обратился ко мне доктор, – рекомендовать вам стаканчик вот этой *старки* сорокалетней выдержки. Попробуйте: настоящий коньяк на вкус. Это всем водкам водка. Возьмите дронт-хеймский анчоус; ничто так не прочищает и не расширяет пищевод, а ведь это один из важнейших органов нашего тела... А теперь – за стол. Отчего бы нам не разговаривать по-немецки? Вы из Кенигсберга, а я хоть и из Мемеля, но учился в Йене. Таким образом, мы не будем стеснены, так как прислуга, знающая только по-польски и по-русски, не будет нас понимать.

Сначала мы ели молча; но после первого стакана мадеры я спросил у доктора, часто ли с графом случаются болезненные припадки, лишившие нас сегодня его общества.

– И да и нет, – ответил доктор, – это зависит от того, куда он ездит.

– Как так?

– Если, например, он ездит по Россиенской дороге, он всегда возвращается с мигренью и в плохом настроении.

– Мне случалось ездить в Россиены, и со мной ничего подобного не бывало.

– Это, господин профессор, объясняется тем, что вы не влюблены, – ответил мне доктор со смехом.

Я вздохнул, вспомнив о Гертруде Вебер.

– Значит, – сказал я, – невеста графа живет в Россиенах?

– Да, в окрестностях. Невеста?.. Не знаю, невеста ли. Злостная кокетка! Она доведет его до того, что он потеряет рассудок, как его мать.

– А в самом деле, кажется, графиня... не совсем здорова?

– Она сумасшедшая, дорогой профессор, сумасшедшая. И я тоже сумасшедший, что поехал сюда.

– Будем надеяться, что ваш уход за нею вернет ей рассудок.

Доктор покачал головой, рассматривая на свет стакан бордо, который он держал в руке.

– Надо вам сказать, господин профессор, я состоял военным хирургом при Калужском полку. Под Севастополем нам приходилось день и ночь отнимать руки и ноги. Я не говорю уже о бомбах, которые летали над нами, как мухи над падалью. Так вот, несмотря на дурную квартиру и скверную пищу, я тогда не скучал так, как здесь сейчас, где я ем и пью как нельзя лучше, живу как князь и жалованье мне платят словно лейб-медику... Но свобода, мой дорогой профессор, – вот

чего мне недостает. С этой чертовкой я ни на минуту не принадлежу себе!

– И давно она на вашем попечении?

– Почти два года. Но с ума она сошла по меньшей мере двадцать семь лет тому назад, еще до рождения графа. Разве вам не рассказывали об этом в Россиенах или в Ковно? Ну так послушайте. Это редкий случай. Я хочу поместить о нем статью в *Санкт-Петербургском медицинском журнале*. Она помешалась от страха...

– От страха? Как это могло быть?

– От страха, который она испытала. Она из рода Кейстутов. О, в семье наших хозяев не терпят неравных браков! Мы ведь ведем свой род от Гедемина!.. Так вот, господин профессор, через два или три дня после свадьбы, которую отпраздновали в этом замке, где мы с вами обедаем (ваше здоровье!), граф, отец нынешнего, отправился на охоту. Наши литовские дамы – амазонки, как вам известно. Графиня тоже едет на охоту... Она опережает ловчих или отстает от них, я уж не знаю в точности... Но только вдруг граф видит, что во весь опор скачет казачок графини, мальчик лет двенадцати-четырнадцати. «Ваше сиятельство, – кричит он, – медведь утащил графиню!» – «Где?» – спрашивает граф. «Вон там», – отвечает казачок. Все мчатся к указанному месту; графини нет! Тут лежит ее задушенная лошадь, там – шубка графини, разорванная в клочья. Ищут, обшаривают весь лес. Наконец какой-то ловчий кричит: «Вон медведь!» И правда,

через поляну шел медведь, волоча графиню. Наверно, он хотел затащить ее в чащу и там пожрать без помехи. Ведь эти животные – лакомки; они, как монахи, любят пообедать спокойно. Граф, всего два дня как повенчанный, поступил как рыцарь: он хотел броситься на медведя с охотничьим ножом, но, дорогой мой профессор, литовский медведь не олень, он не дастся простому ножу. К счастью, графский зарядчик, порядочный негодяй, к тому же напившийся в тот день до того, что зайца от козла не отличил бы, на расстоянии более ста шагов выстрелил из своего карабина, нисколько не думая, в кого попадет пуля: в зверя или в женщину...

– И уложил медведя?

– Наповал. Только пьяницам удаются такие выстрелы. Бывают, впрочем, и заговоренные пули, господин профессор. У нас тут есть колдуны, которые продают их по сходной цене... Графиня была вся покрыта ссадинами, без сознания, разумеется; одна нога у нее была сломана. Ее привезли домой, она пришла в себя, но рассудок ее покинул. Ее отвезли в Санкт-Петербург. Созвали консультацию – четыре доктора, увешанные орденами. Они говорят: «Графиня – в положении; весьма вероятно, что разрешение от бремени повлечет за собою благоприятный перелом». Предписывали свежий воздух, жизнь в деревне, сыворотку, кодеин... Каждый получил по сто рублей. Через девять месяцев графиня родила здорового мальчика... Но где же благоприятный перелом? Как бы не так!.. Буйство ее удвоилось. Граф показыва-

ет ей ребенка. Это всегда производит неотразимое впечатление... в романах. «Убейте его! Убейте зверя!» – кричит она. Чуть голову ему не свернула. И с тех пор чередуются – то идиотическое слабоумие, то буйное помешательство. Сильная склонность к самоубийству. Приходится ее привязывать, чтобы вывозить на свежий воздух. Необходимо иметь трех здоровенных служанок, чтобы держать ее. А между тем, заметьте, пожалуйста, профессор, следующее обстоятельство. Никакими уговорами я не мог добиться от нее повинования; есть только одно средство ее успокоить. Стоит пригрозить, что ей обстригут волосы... Вероятно, в молодости у нее были чудные косы. Кокетство – вот единственное человеческое чувство, которое у нее осталось. Правда, забавно? Если бы мне представили право поступать с ней по моему благоусмотрению, может быть, я и нашел бы средство излечить ее.

– Какое же?

– Побои. Я этим вылечил десятка с два баб в одной деревне, где появилось это ужасное русское сумасшествие – *кликушество*¹⁰⁹; одна начинает выкликать, за ней – другая, через три дня все бабы в деревне – *кликуши*. Только побоями я их и вылечил. (Возьмите рябчика, они очень нежны.) Граф так и не позволил мне попробовать.

– Как? Вы думали, что он согласится на такой отвратительный способ лечения?

¹⁰⁹ По-русски сумасшедших называют кликушами – от слова «клик»: вопль, вой.

– Ну, ведь он почти не знает своей матери, а потом – это было бы для ее же блага. Но, признайтесь, господин профессор, вы никогда не поверили бы, что от страха можно сойти с ума?

– Положение графини было ужасно... Очутиться в лапах такого свирепого зверя!

– А сын – не в мамашу. Около года тому назад он попал совершенно в такое же положение и благодаря своему хладнокровию вышел из него невредимым.

– Из когтей медведя?

– Медведицы, притом такой огромной, каких давно не видывали. Граф бросился на нее с рогатиной. Не тут-то было; ударом лапы она откинула рогатину, схватила графа и повалила его на землю так же легко, как я опрокинул бы эту бутылку. Но, не будь глуп, он притворился мертвым... Медведица понюхала его, понюхала, а потом, вместо того чтобы растерзать, лизнула. У него хватило присутствия духа не шелохнуться – и она пошла прочь своей дорогой.

– Медведица приняла его за мертвого. Говорят, что эти звери не трогают трупов.

– Нужно этому верить на слово и воздерживаться от проверки на личном опыте; но, кстати, о страхе, позвольте мне рассказать одну севастопольскую историйку. Мы сидели впятером или вшестером за кувшином пива, позади походного лазарета славного пятого батальона. Караульный кричит: «Бомба!» Все мы бросились плашмя наземь... впрочем,

не все: один из нас по имени... ну, да ни к чему его называть... один молодой офицер, только что к нам прибывший, остался на ногах, с полным стаканом в руке, как раз в тот момент, когда бомба разорвалась. Она оторвала голову моему приятелю, бедному Андрею Сперанскому, славному малому, и разбила кувшин: к счастью, он был почти уже пуст. После взрыва мы поднялись и увидели в дыму нашего товарища, который допивал последний глоток пива как ни в чем не бывало. Мы сочли его за героя. На следующий день я встречаю капитана Гедеонова, только что выписавшегося из лазарета. Он говорит мне: «Я обедаю сегодня с вами, чтобы отпраздновать свой выход из лазарета, ставлю шампанское». Мы садимся за стол. И молодой офицер, что пил пиво, тоже с нами. Он не знал, что будет шампанское. Около него откупоривают бутылку... Паф! Пробка летит прямо ему в висок. Он вскрикивает и падает в обморок. Поверьте, что этот смельчак и в первом случае страшно перепугался, а если продолжал тянуть пиво, вместо того чтобы спрятаться, то потому, что потерял голову и продолжал делать чисто автоматические движения, в которых не отдавал себя отчета. В самом деле, господин профессор, машина, называемая человеком...

– Господин доктор, – сказал вошедший в залу слуга. – Жданова говорит, что ее сиятельство не желают кушать.

– Черт бы ее подрал! – заворчал доктор. – Иду... Сейчас я накормлю мою чертовку, господин профессор, а потом, если вы ничего не имеете против, мы могли бы сыграть с вами в

преферанс или дурачка.

Я выразил ему свое сожаление по поводу того, что не умею играть в карты, и, когда он отправился к своей больной, я прошел к себе в комнату и стал писать письмо мадемуазель Гертруде.

II

Ночь была теплая, и я оставил открытым окно, выходящее в парк. Написав письмо и не чувствуя еще никакой охоты спать, я стал снова пересматривать литовские неправильные глаголы, стараясь в санскрите найти причины их различных неправильностей. Я с головой ушел в эту работу, когда вдруг заметил, что кто-то с силой потряс одно из деревьев около моего окна. Послышался треск сухих веток, и мне почудилось, будто какое-то очень тяжелое животное пытается взобраться на дерево. Под живым впечатлением рассказов доктора о медведях я поднялся не без некоторой тревоги и в нескольких шагах от окна, в листве дерева, увидел человеческое лицо, ярко освещенное моей лампой. Явление это продолжалось один момент, но необыкновенный блеск глаз, с которыми встретился мой взгляд, порастил меня несказанно. Я невольно откинулся назад, потом подбежал к окну и строго спросил непрошеного гостя, что ему нужно. Но он тем временем уже начал торопливо спускаться с дерева; ухватившись за толстую ветку, он повис на мгновение в воздухе, затем соскочил на землю и тотчас же скрылся. Я позвонил; вошел слуга. Я рассказал ему о случившемся.

– Господину профессору, наверно, почудилось.

– Нет, я уверен в том, что говорю, – возразил я. – Боюсь, не забрался ли в парк вор.

– Этого не может быть, сударь.

– Тогда это кто-нибудь из обитателей замка?

Слуга широко раскрыл глаза и ничего не ответил. Наконец он спросил, не будет ли каких приказаний. Я велел ему затворить окно и лег в постель.

Спал я очень крепко и не видел во сне ни воров, ни медведей. Я заканчивал свой утренний туалет, когда в дверь постучали. Отворив дверь, я увидел перед собой рослого и красивого молодого человека в бухарском халате, с длинной турецкой трубкой в руке.

– Я пришел извиниться, господин профессор, – сказал он, – за плохой прием, оказанный мною такому почтенному гостю. Я – граф Шемет.

Я поспешил ответить, что, напротив, могу только поблагодарить его почтительнейшим образом за его великолепное гостеприимство, и спросил, избавился ли он от своей мигрени.

– Почти что, – ответил он и прибавил с печальным выражением лица: – До следующего приступа. Прилично ли вас здесь устроили? Не забывайте, что вы находитесь в варварской стране. В Самогитии не приходится быть очень требовательным.

Я уверил его, что чувствую себя превосходно. Разговаривая с ним, я не мог удержаться, чтобы не рассматривать его с несколько беззастенчивым любопытством. В его взгляде было что-то странное, невольно напомнившее мне взгляд чело-

века, которого я накануне видел на дереве.

«Но может ли это быть, – думал я, – чтобы граф Шемет лазил ночью по деревьям?»

У него был высокий, хорошо развитый, хотя несколько узкий лоб. Черты лица были совершенно правильны, только глаза были слишком близко посажены один к другому, так что, как мне казалось, между их слезными железами не поместился бы еще один глаз, как того требует канон греческой скульптуры. Взгляд у него был пронизательный. Наши глаза помимо нашей воли несколько раз встречались, и мы оба неизменно отводили их в сторону с некоторым смущением. Вдруг граф, расхохотавшись, воскликнул:

– Да, вы меня узнали!

– Узнал?

– Конечно! Вчера вы поймали меня на большой шалости.

– О, господин граф!..

– Целый день я сидел, не выходя, у себя в кабинете с головною болью. Вечером мне стало лучше, и я вышел пройтись по саду. Я увидел свет в ваших окнах и не мог сдержать своего любопытства... Конечно, я должен был бы сказать, кто я, и представиться вам, но положение было такое смешное... Мне стало стыдно, и я удрал... Вы не сердитесь, что я помешал вам работать?

Своим словам он хотел придать шуточный характер; но он краснел, и, очевидно, ему было неловко. Я постарался, как мог, убедить его, что не сохранил ни малейшего неприятно-

го впечатления от этой первой нашей встречи, и, чтобы переменить разговор, спросил, правда ли, что у него есть «Самогитский катехизис» отца Лавицкого.

– Возможно. По правде сказать, я не очень хорошо знаю отцовскую библиотеку. Он любил старинные книги и всякие редкости. А я читаю только современные произведения. Но мы поищем, господин профессор. Итак, вы хотите, чтобы мы читали Евангелие по-жмудски?

– А разве вы, господин граф, не считаете, что перевод Священного Писания на местный язык крайне желателен?

– Разумеется. Однако разрешите мне маленькое замечание: среди людей, знающих только жмудский язык, не найдется ни одного грамотного.

– Может быть, но позвольте возразить вам, ваше сиятельство, что главным препятствием к распространению грамотности является именно отсутствие книг. Когда у самогитских крестьян будет печатная книга, они захотят ее прочесть и научатся грамоте. Это уже случалось со многими дикими народами... я, конечно, отнюдь не хочу применять это наименование к здешним жителям... К тому же, – прибавил я, – разве не прискорбно, что иной раз целый язык исчезает, не оставив после себя никаких следов? Вот уже тридцать лет, как прусский язык стал мертвым языком. А недавно умер последний человек, говоривший по-корнийски...

– Печально! – прервал меня граф. – Александр Гумбольдт рассказывал моему отцу, что он видел в Америке попугая,

который один только знал несколько слов на языке племени, ныне поголовно вымершего от оспы. Вы разрешите подать чай сюда?

Пока мы пили чай, разговор шел о жмудском языке.

Граф не одобрял способа, каким немцы напечатали литовские книги. И он был прав.

– Ваш алфавит, – говорил он, – не подходит для нашего языка. У вас нет ни нашего *ж*, ни нашего *л*, ни нашего *ы*, ни нашего *ё*. У меня есть собрание дайн, напечатанных в прошлом году в Кенигсберге, и я с большим трудом угадываю слова – так странно они изображены.

– Ваше сиятельство, конечно, имеет в виду дайны, изданные Лесснером?

– Да. Довольно посредственная поэзия, не правда ли?

– Пожалуй, он мог бы найти что-нибудь и получше. Согласен, что сборник этот, в том виде, как он есть, представляет интерес чисто филологический. Но я уверен, что если хорошенько поискать, то можно найти и более благоуханные цветы вашей народной поэзии.

– Увы, я очень сомневаюсь в этом, несмотря на весь мой патриотизм.

– Несколько недель тому назад я достал в Вильне действительно превосходную балладу, притом исторического содержания... Ее поэтические достоинства замечательны... Вы разрешите мне ее прочесть вам? Она при мне.

– Пожалуйста.

Он попросил у меня позволения курить и глубже уселся в кресло.

– Я чувствую поэзию, только когда курю, – сказал он.

– Баллада называется «Три сына Будрыса».

– «Три сына Будрыса»? – переспросил граф с некоторым удивлением.

– Да. Будрыс, как ваше сиятельство знает лучше меня, – лицо историческое.

Граф пристально посмотрел на меня своим странным взглядом. В нем было что-то непередаваемое, какая-то смесь робости и дикости, производившая на человека непривычного почти тягостное впечатление. Чтобы избежать его, я поспешил начать чтение.

Три сына Будрыса

Старый Будрыс на дворе своего замка кличет троих сыновей своих, кровных литовцев, как и он. Говорит им:

– Дети, давайте корм вашим боевым коням, седла готовьте, точите сабли да копыя.

Слышно, что в Вильне войну объявили на три стороны солнца. Ольгерд пойдет на русских, Скиргелло – на соседей наших, поляков, Кейстут ударит на тевтонов¹¹⁰.

Вы молоды, сильны и смелы: идите воевать. Да

¹¹⁰ Рыцарей Тевтонского ордена.

хранят вас литовские боги! На этот раз я не пойду на войну, но дам вам совет: трое вас, и три перед вами дороги.

Один из вас пусть идет с Ольгердом на Русь, к Ильменю-озеру, под стены Новгорода. Там полным-полно горностаевых шкур и узорных тканей. Рублей у купцов – что льду на реке.

Второй пусть идет с Кейстуовой конною ратью. Кроши крестоносцев-разбойников! Янтаря там – что морского песку, сукна там горят и блестят, других таких не найти. У попов на ризах рубины.

Третий за Неман пусть отправляется вместе со Скиргелло. На том берегу – жалкие сохи да плуги. Зато наберет он там добрых коней, крепких щитов и сноху привезет мне. Польские девицы, детки, краше всех полонянок. Резвы, как кошки, белы, как сметана, под темною бровью блестят звездами очи.

Когда я был молод, полвека назад, я вывез из Польши красивую полоняночку, и сделалась она мне женою. Давно ее уж нет, а я все не могу посмотреть в ту сторону, не вспомнив о ней!

Благословил он молодцов, а те уже в седлах, с оружием в руках. Тронулись в путь. Осень проходит, следом за нею зима... Они все не возвращаются. Старый Будрыс уже думает, что они погибли.

Закрутились снежные вихри. Всадник приближается, черной буркой прикрывает драгоценную поклажу.

– Там мешок у тебя? – говорит Будрыс. – Полон,

наверно, новгородскими рублями?

– Нет, отец. Привез я тебе сноху из Польши.

В снежном облаке приближается всадник, бурка у него топорщится от драгоценной поклажи.

– Что это, сынок? Драгоценный янтарь?

– Нет, отец. Привез я тебе сноху из Польши.

Разыгралась снежная буря. Всадник скачет, под буркой драгоценную хоронит поклажу... Но еще не показал он добычи, как Будрыс уже гостей созывает на третью свадьбу.

– Bravo, господин профессор! – воскликнул граф. – Вы отлично произносите по-жмудски. Но кто вам сообщил эту прелестную дайну?

– Одна девица, с которой я имел честь познакомиться в Вильне у княгини Катажины Пац.

– А как зовут ее?

– Панна Ивинская.

– Панна Юлька! – воскликнул граф. – Ах, проказница! Как я сразу не догадался? Дорогой профессор, вы знаете жмудский и всякие ученые языки, вы прочитали все старые книги; но вас провела девочка, читавшая одни только романы. Она перевела нам на жмудский язык, и довольно правильно, одну из прелестных баллад Мицкевича, которой вы не читали, потому что она не старше меня. Если угодно, я могу показать вам ее по-польски, а если вы предпочитаете великолепный русский перевод, я вам дам Пушкина.

Признаться, я растерялся. Представляю себе радость

дерптского профессора, напечатай я как подлинную дайну эту балладу о сыновьях Будрыса.

Вместо того чтобы позабавиться моим смущением, граф с изысканной любезностью поспешил переменить тему разговора.

– Так что вы знакомы с панной Юлькой? – спросил он.

– Я имел честь быть ей представленным.

– Что вы о ней думаете? Говорите откровенно.

– Чрезвычайно милая барышня.

– Вы говорите это из любезности.

– Очень хорошенькая.

– Гм...

– Ну конечно! Какие у нее чудесные глаза!

– Н-да!..

– И кожа необыкновенной белизны!.. Я вспоминаю персидскую газель, где влюбленный воспевает нежную кожу своей возлюбленной. «Когда она пьет красное вино, – говорит он, – видно, как оно струится в ее горле». Когда я смотрел на панну Ивинскую, мне пришли на память эти стихи.

– Может быть, панна Юлька и представляет собою подобный феномен, но я не слишком уверен, есть ли у нее кровь в жилах... У нее нет сердца!.. Она бела как снег – и как снег холодна!

Он встал и молча принялся ходить по комнате – как мне показалось, для того, чтобы скрыть свое волнение. Вдруг он остановился.

– Простите, – сказал он, – мы говорили, кажется, о народной поэзии...

– Совершенно верно, граф.

– Нужно согласиться все-таки, что она очень мило перевела Мицкевича... «Резва, как кошка... бела, как сметана... блестят звездами очи...» Это ее собственный портрет. Вы согласны?

– Вполне согласен, господин граф.

– Что же касается до этой проделки... совершенно неуместной, разумеется... то ведь бедная девочка ужасно скучает у своей старой тетки. Она живет, как в монастыре.

– В Вильне она выезжала в свет. Я видел ее на полковом балу.

– Да, молодые офицеры – вот для нее подходящее общество. Посмеяться с одним, позлословить с другим, кокетничать со всеми... Не угодно ли вам посмотреть библиотеку моего отца, господин профессор?

Я последовал за ним в большую галерею, где находилось много книг в прекрасных переплетах; но, судя по пыли, покрывшей их обрезы, открывались они редко. Можете судить о моем восторге, когда одним из первых томов, вынутых мною из шкафа, оказался *Catechismus Samogiticus*. Я не мог сдержаться и испустил радостный крик. Вероятно, на нас действует какая-то таинственная сила притяжения, которую мы сами не сознаем... Граф взял книгу, небрежно перелистал ее и надписал на переднем чистом листе: «Господину

профессору Виттенбаху от Михаила Шемета». Не могу выразить словами, как я был восхищен и тронут подарком; я мысленно дал обещание, что после моей смерти драгоценная книга эта послужит украшением библиотеки университета, где я обучался.

– Смотрите на эту библиотеку как на ваш рабочий кабинет, – сказал мне граф, – здесь вам никто не будет мешать.

III

На следующий день после завтрака граф предложил мне прогуляться. Он собирался посетить со мной один *канас* (так называют литовцы могильные холмы, известные в России под названием курганов), весьма известный в округе, так как в древности у него сходились в некоторых торжественных случаях поэты и колдуны (это было тогда одно и то же).

– Могу предложить вам очень спокойную лошадь, – сказал граф. – К сожалению, туда нельзя проехать в коляске: дорога такая, что ее не выдержит ни один экипаж.

Я бы предпочел остаться в библиотеке и делать выписки, но, не считая себя вправе противоречить желаниям моего гостеприимного хозяина, я согласился. Лошади ждали нас у крыльца. Во дворе слуга держал собаку на сворке. Граф остановился на минуту и, обернувшись ко мне, спросил:

– Вы знаете толк в собаках, господин профессор?

– Очень мало, ваше сиятельство.

– Зоранский староста – у меня есть там земля – прислал мне этого спаниеля, о котором он рассказывает чудеса. Разрешите мне посмотреть его?

Он кликнул слугу, и тот подвел собаку. Это было великолепное животное. Собака уже привыкла к слуге и весело прыгала, живая как огонь. Но в нескольких шагах от графа она вдруг поджала хвост и стала пятиться, словно на нее на-

пал внезапный страх. Граф погладил ее, от чего она жалобно завывала. Посмотрев на нее с минуту глазом знатока, граф сказал:

– Думаю, будет хорошая собака. Взять ее на псарню!

И он вскочил на коня.

– Господин профессор, – обратился ко мне граф, когда мы выехали на въездную аллею замка, – вы, конечно, заметили, как испугалась меня собака. Я хотел, чтобы вы это видели своими глазами... В качестве ученого вы должны уметь разгадывать загадки. Почему животные меня боятся?

– Поистине, господин граф, вы мне оказываете много чести, принимая меня за Эдипа. Я просто скромный профессор сравнительного языкознания. Быть может...

– Заметьте, – прервал он меня, – что я никогда не бью ни лошадей, ни собак. Меня бы мучила совесть, если бы я ударил хлыстом бедное животное, не сознающее своих проступков. А между тем вы не поверите, какое отвращение внушаю я лошадям и собакам. Чтобы приручить их, мне требуется вдвое больше труда и времени, чем кому-либо другому. Например, лошадь, что под вами, – сколько времени бился я с ней, чтоб ее объездить. А теперь она кротка, как ягненок.

– Мне думается, господин граф, что животные – хорошие физиономисты и что они сразу замечают, любит ли их человек, которого они видят в первый раз, или нет. Я подозреваю, что вы цените животных только за ту пользу, которую можно извлечь из них. Между тем есть люди, от природы имеющие

пристрастие к определенным животным, и те это сразу замечают. У меня, например, с детства какая-то инстинктивная любовь к кошкам. Редко бывает, чтобы кошка убежала, если я хочу приласкать ее; и еще ни разу ни одна кошка меня не оцарапала.

– Весьма возможно, – сказал граф. – Действительно, у меня нет того, что называется пристрастием к животным... Они не лучше людей... Я вас везу, господин профессор, в лес, где сейчас в полном расцвете звериное царство, в *маточник*, великое лоно, великое горнило жизни. По нашим народным преданиям, никто еще не изведал его глубин, никто не мог проникнуть в сердцевину этих лесов и болот, исключая, конечно, господ поэтов и колдунов, которым нет преград. Там республика зверей или конституционная монархия – не сумею сказать, что из двух. Львы, медведи, лоси, зубры (наши бизоны) – все это зверье мирно живет вместе. Мамонт, сохранившийся там, пользуется особым уважением. Кажется, он у них председатель сейма. У них строжайший полицейский надзор, и если кто-нибудь провинится, его судят и подвергают изгнанию. Виновное животное попадает тогда из огня да в полымя. Оно принуждено бежать в человеческие области. И немногие это выносят¹¹¹.

– Прелюбопытное сказание! – воскликнул я. – Но, господин граф, вы упомянули о зубре. Действительно ли это благородное животное, которое описано Цезарем в его *Записках*

¹¹¹ См.: *Пан Тадеуши* Мицкевича и *Плененная Польша* Шарля Эдмона.

и на которое охотились меровингские короли в Компьенском лесу, еще водится, как я слышал, в Литве?

– Безусловно. Отец мой собственноручно убил одного зубра, конечно, с разрешения правительства. Вы могли видеть его голову в большом зале. Сам я не встречал зубров ни разу; думаю, что они чрезвычайно редки. Зато у нас тут полным-полно волков и медведей. Предвидя возможность встретиться с одним из этих господ, я взял с собой этот инструмент (он указал на ружье в черкесском чехле, висевшее у него за плечами), а у моего конюшего за седлом – двустволка.

Мы начали углубляться в чащу. Вскоре узкая тропинка, по которой мы ехали, пропала. Ежеминутно приходилось объезжать огромные деревья, низкие ветки которых преграждали нам путь. Некоторые из них, засохшие от старости, свалились на землю, образовав словно вал с колючими заграждениями, переправиться через который не представлялось возможности. Местами нам попадались глубокие болота, покрытые водяными лилиями и ряской. Дальше встречались лужайки, где трава сверкала как изумруд. Но горе тому, кто ступил бы на них, ибо богатая и обманчивая растительность их обыкновенно прикрывает топи, готовые поглотить навеки и коня, и всадника. Из-за трудной дороги мы должны были прервать беседу. Я изо всех сил старался не отставать от графа и удивлялся, с какою безошибочной точностью, без компаса, держал он правильное направление, которого сле-

довало держаться, чтобы добраться до *капаса*. Очевидно, он с давних пор охотился в этих дебрях.

Наконец мы увидели холм посреди обширной поляны. Он был довольно высок, окружен рвом, который еще можно было явственно различить, несмотря на кустарники и обвалы. По-видимому, здесь уже производились раскопки. На вершине я заметил остатки каменного строения; некоторые камни были обожжены. Большое количество золы, перемешанной с углем, и валявшиеся там и сям осколки грубой глиняной посуды свидетельствовали, что на вершине кургана в течение долгого времени поддерживали огонь. Если верить народным преданиям, некогда на *капасах* происходили человеческие жертвоприношения. Но ведь нет угасшей религии, которой бы не приписывали этих ужасных обрядов, и я сомневаюсь, чтобы подобное мнение о древних литовцах можно было подтвердить историческими свидетельствами.

Мы уже спускались с холма, собираясь сесть на наших лошадей, которых оставили по ту сторону рва, когда увидели, что навстречу нам идет какая-то старуха с клюкой и с корзинкой на руке.

– Добрые господа, – сказала она, поравнявшись с нами, – подайте милостыньку, Христа ради. Подайте на шкалик, чтобы согреть мое старое тело.

Граф бросил ей серебряную монету и спросил, что она делает в лесу, так далеко от всякого жилья. Вместо ответа она указала на корзину, полную грибов. Хотя мои познания в бо-

танике очень ограничены, все же мне показалось, что большая часть этих грибов была ядовитой породы.

– Надеюсь, матушка, – сказал я, – вы не собираетесь их есть?

– Эх, барин, – отвечала старуха с печальной улыбкой, – бедные люди едят, что бог пошлет.

– Вы не знаете наших литовских желудков, – заметил граф, – они луженые. Наши крестьяне едят все грибы, какие им попадаются, и чувствуют себя отлично.

– Скажите ей, чтоб она не ела хоть этого *agaricus necator*, который я вижу у нее в корзине! – воскликнул я.

И я протянул руку, чтобы выбросить один из самых ядовитых грибов; но старуха проворно отдернула корзину.

– Берегись, – сказала она голосом, полным ужаса, – они у меня под охраной... Пиркунс! Пиркунс!

Надо вам сказать, что «Пиркунс» – самогитское название божества, которое русские почитали под именем Перуна; это славянский Юпитер-громовержец. Меня удивило, что старуха призывает языческого бога, но еще больше изумился я, увидев, что грибы начали приподниматься. Черная змеиная голова показалась из-под них и высунулась из корзины, по крайней мере, на фут. Я отскочил в сторону, а граф сплюнул через плечо по суеверному обычаю славян, которые, подобно древним римлянам, верят, что таким способом можно отворотить влияние колдовских сил. Старуха поставила корзину на землю, присела около нее на корточки и, протянув руку

к змее, произнесла несколько непонятных слов, похожих на заклинание. С минуту змея оставалась недвижимой, затем обвилась вокруг костлявой руки старухи и исчезла в рукаве бараньего полушубка, который вместе с дырявой рубашкой составлял, по-видимому, весь костюм этой литовской Цирцеи. Старуха посмотрела на нас с торжествующей усмешкой, как фокусник, которому удалась ловкая проделка. В лице ее соединялось выражение хитрости и тупости, что нередко встречается у так называемых колдунов, по большей части одновременно и простофиль, и плутов.

– Вот, – сказал мне граф по-немецки, – образчик местного колорита; колдунья зачаровывает змею у подножия кургана в присутствии ученого профессора и невежественного литовского дворянина. Это могло бы послужить неплохим сюжетом для жанровой картины вашему соотечественнику Кнау-су... Хотите, чтобы она вам погадала? Прекрасный случай.

Я ответил, что ни в коем случае не стану поощрять подобное занятие.

– Лучше я спрошу ее, – добавил я, – не может ли она что-либо рассказать относительно любопытного поверья, о котором вы мне только что сообщили. Матушка, – обратился я к старухе, – не слыхала ли ты чего насчет уголка этого леса, где звери будто бы живут дружной семьей, не зная людской власти?

Старуха утвердительно кивнула головой и ответила со смехом, простоватым и вместе с тем лукавым:

– Я как раз оттуда иду. Звери лишились царя. Нобль, лев, помер; они будут выбирать нового царя. Поди попробуй – может, тебя выберут.

– Что ты, матушка, городишь? – воскликнул со смехом граф. – Знаешь ли ты, с кем говоришь? Ведь барин (как бы это сказать по-жмудски: «профессор»?)... барин – великий ученый, мудрец, *вайделот*¹¹².

Старуха внимательно на него посмотрела.

– Ошиблась, – сказала она, – это тебе надо идти туда. Тебя выберут царем, не его. Ты большой, здоровый, у тебя есть когти и зубы...

– Как вам нравятся эпиграммы, которыми она нас осыпает? – обратился ко мне граф. – А дорогу туда ты знаешь, бабушка? – спросил он у нее.

Она показала рукой куда-то в сторону леса.

– Вот как? – воскликнул граф. – А болота? Как же ты через них перебралась? Должен сказать вам, господин профессор, что в тех местах, куда она указывает, находится непролазное болото, целое озеро жидкой грязи, покрытое зеленой травой. В прошлом году раненный мною олень бросился в эту чертовскую топь. Я видел, как она медленно, медленно засасывала его... Минуты через две от него были видны только рога, а вскоре и они исчезли, да еще две мои собаки в придачу.

– Я ведь не тяжелая, – сказала старуха, хихикая.

– Тебе, я думаю, не стоит никакого труда перебираться

¹¹² Дурной перевод слова «профессор». Вайделоты были литовскими бардами.

через болота – верхом на помеле.

Злобный огонек мелькнул в глазах старухи.

– Добрый барин, – снова заговорила она тягучим и гнуса-вым голосом нищенки, – не дашь ли табачку покурить бедной старушке? Лучше бы тебе, – добавила она, понизив голос, – в болоте броду искать, чем ездить в Довгеллы.

– В Довгеллы? – вскричал граф, краснея. – Что ты хочешь сказать?

Я не мог не заметить, что это название произвело на него необычайное действие. Он явно смутился, опустил голову и, чтобы скрыть свое замешательство, долго возился, открывая свой кисет, привязанный к рукоятке охотничьего ножа.

– Нет, не ездь в Довгеллы, – повторила старуха. – Голубка белая не для тебя. Верно я говорю, Пиркунс?

В ту же минуту голова змеи вылезла из ворота старого полушубка и потянулась к уху своей госпожи. Наученная, без сомнения, таким штукам, гадина зашевелила челюстями, будто шептала что-то.

– Он говорит, что моя правда, – добавила старуха.

Граф сунул ей в руку горсть табаку.

– Ты знаешь, кто я такой? – спросил он.

– Нет, добрый барин.

– Я – помещик из Мединтильтаса. Приходи ко мне на этих днях. Я дам тебе табаку и водки.

Старуха поцеловала ему руку и быстрым шагом удалилась. Мы тотчас потеряли ее из виду. Граф оставался задум-

чивым, то завязывая, то развязывая шнурки своего кисета и не отдавая себе отчета в том, что делает.

– Господин профессор, – начал он после долгого молчания, – вы будете надо мной смеяться. Эта подлая старуха гораздо лучше знает меня, чем она уверяет, и дорога, которую она мне только что показала... В конце концов, тут нечему удивляться. Меня в этих краях решительно все знают. Мошенница не раз видела меня по дороге к замку Довгеллы... Там есть девушка-невеста; она и заключила, что я влюблен в нее... Ну, а потом какой-нибудь красавчик подкупил ее, чтобы она предсказала мне несчастье... Это совершенно очевидно. И все-таки... ее слова помимо моей воли меня волнуют. Они почти пугают меня... Вы смеетесь, и вы правы... Дело в том, что я хотел поехать в замок Довгеллы к обеду, а теперь колеблюсь... Нет, я совсем безумец. Решайте вы, профессор. Ехать нам или не ехать?

– Конечно, я воздержусь высказывать свое мнение, – ответил я со смехом. – В брачных делах я плохой советчик.

Мы подошли к лошадям. Граф ловко вскочил в седло и, отпустив поводья, воскликнул:

– Пусть лошадь за нас решает.

Лошадь без колебания тотчас же двинулась по узкой тропинке, которая после нескольких поворотов привела к мощеной дороге, а эта последняя шла уже прямо в Довгеллы. Через полчаса мы были у крыльца усадьбы.

На стук копыт наших лошадей хорошенькая белокурая го-

ловка выглянула из-за занавесок окна. Я узнал коварную переводчицу Мицкевича.

– Добро пожаловать, – сказала она. – Вы приехали как нельзя более кстати, граф Шемет. Мне только что прислали из Парижа новое платье. Вы меня не узнаете, такая я в нем красивая.

Занавески задернулись. Поднимаясь на крыльцо, граф проворчал сквозь зубы:

– Уверен, что эту обновку она надевает не для меня...

Он представил меня госпоже Довгелло, тетке панны Ивинской; она приняла меня чрезвычайно любезно и завела разговор о моих последних статьях в *Кенигсбергской научно-литературной газете*.

– Профессор приехал пожаловаться вам на панну Юлиану, сыгравшую с ним очень злую шутку, – сказал граф.

– Она еще ребенок, господин профессор; вы должны ее простить. Часто она приводит меня в отчаяние своими шалостями. Я в шестнадцать лет была рассудительнее, чем она в двадцать. Но в сущности она добрая девушка и с большими достоинствами. Прекрасная музыкантша, чудесно рисует цветы, говорит одинаково хорошо по-французски, по-немецки и по-итальянски... Вышивает...

– И пишет стихи по-жмудски! – добавил со смехом граф.

– На это она не способна! – воскликнула госпожа Довгелло.

Пришлось рассказать ей о проделке ее племянницы.

Госпожа Довгелло была образованна и знала древности своей родины. Беседа с нею доставила мне чрезвычайно большое удовольствие. Она усиленно читала наши немецкие журналы и имела весьма здравые представления о лингвистике. Признаюсь, время пролетело для меня незаметно, пока одевалась панна Ивинская, но графу Шемету оно показалось очень длинным; он то вставал, то снова садился, смотрел в окно или барабанил пальцами по стеклу, как человек, теряющий терпение.

Наконец через три четверти часа в сопровождении гувернантки-француженки появилась панна Юлиана. В своем новом платье, описание которого потребовало бы специальных знаний, которыми я не обладаю, она выступала с грацией и с некоторой гордостью.

– Ну что, разве я не хороша? – спросила она графа, медленно поворачиваясь, чтобы он мог видеть ее со всех сторон.

Сама она не глядела ни на графа, ни на меня; она глядела только на свое платье.

– Что это значит, Юлька? – сказала г-жа Довгелло. – Ты не здороваешься с господином профессором? А ведь он на тебя жалуется!

– Ах, господин профессор, – воскликнула девушка с очаровательной гримаской, – что же я такое сделала? Вы хотите наложить на меня епитимью?

– Мы сами на себя наложили бы епитимью, если бы лишили себя вашего общества, – ответил я ей. – Я совсем не

собираюсь жаловаться на вас; напротив, я в восторге от того, что благодаря вам узнал о новом и блестящем возрождении литовской музыки.

Она склонила голову и закрыла лицо руками, стараясь, однако, не испортить прическу.

– Простите, я больше не буду! – проговорила она тоном ребенка, который тайком полакомился вареньем.

– Нет, я не прощу вас, дорогая панна, – сказал я ей, – пока вы не исполните обещания, данного мне в Вильне у княгини Катажины Пац.

– Какого обещания? – спросила она, поднимая голову со смехом.

– Вы уже позабыли? Вы мне обещали, что, если мы встретимся в Самогитии, вы мне покажете какой-то народный танец, который вы очень расхваливали.

– А, *русалку*? Я чудесно ее танцую, и вот как раз подходящий кавалер.

Она подбежала к столу с нотами, порывисто перелистала какую-то тетрадку, поставила ее на пюпитр фортепиано и обратилась к своей гувернантке:

– Душенька, сыграйте это! *Allegro presto*¹¹³.

Не присаживаясь, она сама проиграла ригурнель, чтобы дать темп.

– Пойдите сюда, граф Михаил; как истый литовец, вы должны хорошо плясать *русалку*... Но только, слышите, из-

¹¹³ В быстром темпе (*ит.*).

вольте плясать ее по-деревенски!

Госпожа Довгелло пыталась протестовать, но напрасно. Граф и я, мы оба настаивали. Он имел свои причины, так как его роль в этом танце, как вы сейчас увидите, была из самых приятных. Разобрав несколько тактов, гувернантка объявила, что, пожалуй, справится с этим танцем, похожим на вальс, хотя и очень странный. Панна Ивинская, отодвинув стулья и стол, чтобы они ей не мешали, схватила своего кавалера за воротник и потащила на середину залы.

– Имейте в виду, господин профессор, что я изображаю русалку, с вашего позволения.

Она низко присела.

– Русалка – это водяная нимфа. В каждом из болот с черной водой, которыми славятся наши леса, есть своя русалка. Не подходите к ним близко, не то вынырнет русалка, еще прекраснее меня, если это возможно, и увлечет вас на дно, а там уж наверно загрызет вас...

– Да это настоящая сирена! – воскликнул я.

– Он, – продолжала панна Ивинская, указывая на графа Шемета, – молодой рыбак, простачок, который попался в мои когти, а я, чтобы продлить удовольствие, его зачаровываю, танцуя вокруг него... Да, но, чтобы все было по правилам, мне нужен *сарафан!* Какая досада!.. Уж вы извините меня за этот нехарактерный костюм, без местного колорита... Вдобавок еще и в туфельках! Невозможно танцевать *русалку* в туфельках... да еще на каблуках.

Она приподняла платье и, весьма грациозно тряхнув красивой маленькой ножкой, не без риска показать икры, отправила одну из туфель в дальний угол гостиной. За первой туфлей последовала вторая, и панна Ивинская осталась на паркете в шелковых чулках.

– Готово, – сказала она гувернантке.

И танец начался.

Русалка носится вокруг своего кавалера. Он простирает руки, чтобы схватить ее, но она пробегает под ними и ускользает. Все это прелестно, и музыка полна движения и очень своеобразна. Танец заканчивается тем, что, когда кавалер думает уже схватить русалку и поцеловать ее, она, сделав прыжок, хлопает его по плечу, и он падает к ее ногам как мертвый... Но граф придумал другой конец: он сжал проказницу в своих объятиях и поцеловал ее на самом деле. Панна Ивинская испустила легкий крик, густо покраснела и упала на диван, надувши губки, жалобно восклицая, что он сжал ее как настоящий медведь, каков он и есть. Я заметил, что такое сравнение не понравилось графу, так как напоминало ему о семейном несчастье; чело его омрачилось. Что касается меня, то я от души поблагодарил панну Ивинскую, расхвалив ее танец, который, на мой взгляд, имел совершенно античный характер и напоминал греческие священные пляски. Мою речь прервало появление слуги, возвестившего прибытие генерала и княгини Вельяминовых. Панна Ивинская прыгнула с дивана к своим туфелькам, поспешно всунула в

них ножки и побежала встречать княгиню, сделав перед гостьей один за другим два глубоких реверанса. Я заметил, что при каждом из них она ловко оправляла туфельки на ногах.

Генерал привез с собой двух адъютантов и, подобно нам, рассчитывал на приглашение к столу. Думаю, что во всякой другой стране хозяйка дома была бы немного смущена неожиданным посещением шести проголодавшихся гостей, но запасливость и гостеприимство в литовских семьях таковы, что наш обед не запоздал, кажется, и на полчаса. Только, пожалуй, слишком много было всяких пирогов, и горячих, и холодных.

IV

Обед прошел очень весело. Генерал сообщил нам чрезвычайно интересные подробности относительно кавказских языков, из коих одни принадлежат к *арийской*, а другие к *туранской* группе, хотя между различными тамошними народностями существует значительное сходство в нравах и обычаях. Да и меня самого заставили порассказать о своих путешествиях. Дело в том, что граф Шемет, расхвалив мое умение ездить верхом, заявил, что ему еще не доводилось встречать ни духовное лицо, ни профессора, который столь легко мог бы перенести такой большой путь, какой мы проделали сегодня. Я должен был объяснить, что, имея поручение от Библейского общества изучить наречие *чарруа*, я провел три с половиной года в Уругвайской республике, почти не слезая с лошади и живя в пампасах среди индейцев. Между прочим пришлось мне упомянуть и о том, как, проплутав однажды трое суток в этих бесконечных степях, не имея чем утолить голод и жажду, я должен был последовать примеру сопровождавших меня *гаучо*, а именно – вскрыть моей лошади жилу и пить ее кровь.

Все дамы вскрикнули от ужаса. Генерал заметил, что калмыки в подобных крайностях поступают так же. Граф спросил меня, как мне понравился этот напиток.

– Морально, – ответил я, – он вызвал во мне глубокое от-

вращение, но физически он мне очень помог, и ему я объяснил тем, что имею честь обедать сегодня здесь. Многие европейцы (я хочу сказать – белые), которые долго жили среди индейцев, к нему привыкают и даже входят во вкус. Мой дорогой друг дон Фруктуосо Ривера, президент Уругвайской республики, редко упускает случай полакомиться этим напитком. Я вспоминаю, как однажды, направляясь в полной парадной форме на конгресс, он проезжал мимо *ранчо*, где пускали кровь жеребенку. Он остановился, сошел с лошади и попросил *чупон*, то есть глоток крови, а после этого произнес одну из самых блестящих своих речей.

– Ваш президент – мерзкое чудовище! – воскликнула панна Ивинская.

– Простите, дорогая панна, – возразил я ей, – это человек отлично воспитанный и выдающегося ума. Он превосходно владеет несколькими индейскими наречиями, чрезвычайно трудными; в особенности это касается языка *чарруа*, в котором глагол имеет бесчисленное количество форм в зависимости от переходного или непереходного его употребления и даже в зависимости от социального положения разговаривающих лиц.

Я собирался провести некоторые любопытные подробности относительно спряжения в языке *чарруа*, но граф прервал меня, спросив, в каком месте следует делать надрез лошади, чтобы выпить ее крови.

– Ради бога, дорогой мой профессор, – воскликнула с при-

творным ужасом панна Ивинская, – не говорите ему! Он способен зарезать всю свою конюшню, а когда лошадей не хватит, съест нас самих.

После этой шутки дамы со смехом встали из-за стола, чтобы приготовить кофе и чай, покуда мы будем курить. Через четверть часа генерала потребовали в гостиную. Мы все хотели пойти вместе с ним, но нам было объявлено, что дамы требуют кавалеров поодиночке. Вскоре из гостиной донеслись до нас взрывы смеха и аплодисменты.

– Панна Юлька проказит, – заметил граф.

Вскоре пришли за ним самим. Снова смех и снова аплодисменты. Затем наступил мой черед. Когда я входил в гостиную, я увидел на всех лицах серьезное выражение, не предвещавшее ничего хорошего. Я приготовился к какой-нибудь каверзе.

– Господин профессор, – обратился ко мне генерал самым официальным образом, – наши дамы находят, что мы оказали слишком большое внимание шампанскому, и соглашаются допустить нас в свое общество не иначе, как подвергнув предварительно некоторому испытанию. Оно заключается в том, чтобы пройти с завязанными глазами с середины комнаты до этой стены и дотронуться до нее пальцем. Задача, как видите, несложная, надо только идти прямо вперед. В состоянии вы пройти по прямой линии?

– Думаю, что да, генерал.

Тотчас же панна Ивинская накинула мне на глаза носовой

платок и крепко-накрепко завязала его на затылке.

– Вы стоите посреди гостиной, – сказала она. – Протяните руку... Так! Бьюсь об заклад, что вам не дотронуться до стенки.

– Шагом марш! – скомандовал генерал. Нужно было сделать всего пять-шесть шагов. Я стал двигаться очень медленно, убежденный, что наткнусь на какую-нибудь веревку или табурет, предательски поставленный мне на дороге, чтобы я споткнулся. Я слышал заглушенный смех, что еще увеличивало мое смущение. Наконец, по моим расчетам, я подошел вплотную к стене, но тут мой палец, который я вытянул вперед, погрузился во что-то липкое и холодное. Я отскочил назад, сделав гримасу, заставившую всех расхохотаться. Сорвав повязку, я увидел подле себя панну Ивинскую, держащую горшок с медом, в который я ткнул пальцем, думая дотронуться до стены. Мне оставалось утешаться тем, что оба адъютанта вслед за мной подверглись такому же испытанию и вышли из него не с большим успехом, чем я.

Весь остаток вечера панна Ивинская безудержно резвилась. Всегда насмешливая, всегда проказливая, она избирала жертвой своих шуток то одного из нас, то другого. Я все же заметил, что чаще всего ее жертвой оказывался граф, который, надо сказать, нисколько на это не обижался и, казалось, находил даже удовольствие в том, что она его дразнила. Напротив, когда она вдруг нападала на одного из адъютантов, граф хмурился, и я видел, как глаза его загорались мрач-

ным огнем, в котором действительно было что-то наводящее страх. «Резва, как кошка, бела, как сметана». Мне казалось, что этими словами Мицкевич хотел нарисовать портрет панны Ивинской.

V

Разошлись мы поздно. Во многих знатных литовских семьях вы можете увидеть великолепное серебро, прекрасную мебель, драгоценные персидские ковры, но там не найдется, как в нашей милой Германии, хорошего пуховика для усталого гостя. Будь он богач или бедняк, дворянин или крестьянин – славянин отлично может уснуть и на голых досках. Поместье Довгеллы не составляло исключения из общего правила. В комнате, которую отвели нам с графом, стояло только два кожаных дивана. Меня это не испугало, так как во время моих странствий мне нередко приходилось спать на голой земле, и воркотня графа насчет недостаточной цивилизованности его соотечественников меня даже позабавила. Слуга стащил с ног сапоги и подал халаты и туфли. Граф снял сюртук и некоторое время молча ходил по комнате, потом остановился перед диваном, на котором я уже растянулся, и спросил:

- Как вам понравилась Юлька?
- Она очаровательна.
- Да, но какая кокетка!.. Как, по-вашему, ей действительно нравится тот блондинчик-капитан?
- Адъютант?.. Откуда мне знать?
- Он фат... и потому должен нравиться женщинам.
- Я не согласен с таким выводом, граф. Хотите, я вам ска-

жу правду? Панна Ивинская гораздо больше хочет нравиться графу Шемету, чем всем адъютантам, вместе взятым.

Он покраснел и ничего не ответил; но мне показалось, что слова мои были ему очень приятны. Он еще немного походил по комнате молча, затем посмотрел на часы и сказал:

– Ну, надо ложиться. Уже поздно.

Он взял свое ружье и охотничий нож, которые принесли к нам в комнату, спрятал их в шкаф, запер и вынул ключ.

– Пожалуйста, спрячьте его, – сказал он, протягивая мне ключ, к величайшему моему удивлению, – я могу позабыть. У вас, конечно, память лучше, чем у меня.

– Лучшее средство не забыть оружия, – заметил я, – это положить его на стол возле вашего дивана.

– Нет... Говоря откровенно, я не люблю иметь подле себя оружие, когда я сплю... И вот почему. Когда я служил в гродненских гусарах, мне как-то пришлось ночевать в одной комнате с товарищем. Пистолеты лежали на стуле около меня. Ночью я просыпаюсь от выстрела. В руках у меня пистолет. Я, оказывается, выстрелил, и пуля пролетела в двух вершках от головы моего товарища... Я так и не мог вспомнить, что мне пригрезилось.

Рассказ этот меня несколько смутил. То, что я не получу пулю в голову, в этом я был уверен; но, глядя на высокий рост и геркулесовское сложение моего спутника, на его мускулистые, поросшие черными волосами руки, я должен был признать, что ему ничего не стоило бы задушить меня этими

руками, если ему пригрезится что-нибудь дурное. Во всяком случае, я постарался не выказать никакого беспокойства и ограничился тем, что, поставив свечку на стул возле моего дивана, стал читать «Катехизис» Лавицкого, который захватил с собою. Граф пожелал мне спокойной ночи и улегся на свой диван. Повернувшись раз пять или шесть с одного бока на другой, он, по-видимому, задремал, хотя и свернулся в такую позу, как упоминаемый у Горация спрятанный в сундук любовник, у которого голова касается скрюченных колен.

...Turpi clausus in arca,
Contractum genibus tangas caput¹¹⁴.

Время от времени он тяжело вздыхал и издавал странный хрип, что я приписывал неудобному положению, которое он принял, засыпая. Так прошло, может быть, с час. Я и сам начал дремать. Закрыв книгу, я улегся поудобнее, как вдруг странный смех моего соседа заставил меня вздрогнуть. Я взглянул на графа. Глаза его были закрыты, все тело дрожало, а из полуоткрытых уст вырывались еле внятные слова: – Свежа!.. Бела!.. Профессор сам не знает, что говорит... Лошадь никуда не годится... Вот лакомый кусочек!..

Тут он принялся грызть подушку, на которой лежала его голова, и в то же время так громко зарычал, что сам проснул-

¹¹⁴ Запертый в позорный сундук, где колени мои соприкасались с втянутой в плечи головой (*лат.*).

ся.

Я не двигался на своем диване и притворился спящим. Однако я наблюдал за графом. Он сел, протер глаза, печально вздохнул и почти целый час не менял позы, погруженный, по-видимому, в раздумье. Мне было очень не по себе, и я решил, что никогда не буду ночевать в одной комнате с графом. В конце концов усталость все же превозмогла мое беспокойство, и, когда утром вошли в нашу комнату, мы оба спали крепким сном.

VI

После завтрака мы вернулись в Мединтильтас. Оставшись наедине с доктором Фребером, я сказал ему, что считаю графа больным, что у него бывают кошмары, что он, быть может, лунатик и в этом состоянии может оказаться небезопасным.

– Я все это заметил, – отвечал мне доктор. – При своем атлетическом телосложении он нервен, как хорошенькая женщина. Может статься, это у него от матери... Она была чертовски зла этим утром... Я не очень-то верю рассказам об испугах и капризах беременных женщин, но достоверно, что графиня страдает манией, а маниакальность может передаваться по наследству...

– Но граф, – возразил я, – в полном рассудке. У него здравые суждения, он образован, признаюсь, гораздо более, чем я ожидал; он любит читать...

– Согласен, согласен, дорогой профессор, но часто он ведет себя очень странно. Иногда он целыми днями сидит у себя в комнате; нередко бродит по ночам; читает какие-то невероятные книги... немецкую метафизику... физиологию... бог знает что. Еще вчера ему прислали тюк книг из Лейпцига. Говоря начистоту, Геркулес нуждается в Гебе. Тут есть очень хорошенькие крестьянки... В субботу вечером, побывавши в бане, они сойдут за принцесс... Любая из

них не отказалась бы развлечь барина. В его годы да чтоб я, черт возьми!.. Но у него нет любовницы, и он не женится... Напрасно! Ему необходима «разрядка».

Грубый материализм доктора оскорблял меня до последней степени, и я резко оборвал разговор, заявив, что от всей души желаю графу Шемету найти достойную его супругу. Признаюсь, я был немало удивлен, узнав от доктора о склонности графа к философским занятиям. Чтобы этот гусарский офицер и страстный охотник интересовался метафизикой и физиологией – это никак не укладывалось у меня в голове. А между тем доктор говорил правду, и я в тот же день имел случай убедиться в этом.

– Как объясняете вы, профессор, – вдруг спросил меня граф к концу обеда, – да, как объясняете вы *дуализм*, или *двойственность* нашей природы?

Видя, что я не совсем понимаю его вопрос, он продолжал:

– Не случилось ли вам, оказавшись на вершине башни или на краю пропасти, испытывать одновременно искушение броситься вниз и совершенно противоположное этому чувство страха?..

– Это можно объяснить чисто физическими причинами, – сказал доктор. – Во-первых, утомление, которое вы испытываете после подъема, вызывает прилив крови к мозгу, который...

– Оставим кровь в покое, доктор, – нетерпеливо вскричал граф, – и возьмем другой пример. У вас в руках заряженное

ружье. Перед вами стоит ваш лучший друг. У вас является желание всадить ему пулю в лоб. Мысль об этом убийстве вселяет в вас величайший ужас, а между тем вас тянет к этому. Я думаю, господа, что если бы все мысли, которые приходят нам в голову в продолжение единого часа... я думаю, что если бы записать все ваши мысли, господин профессор, которого я считаю мудрецом, то они составили бы целый фолиант, на основании которого, быть может, любой адвокат добился бы опеки над вами и любой судья вас засадил бы в тюрьму или же в сумасшедший дом.

– Никакой судья, граф, не осудил бы меня за то, что я сегодня утром больше часа ломал себе голову над таинственным законом, по которому приставка сообщает славянским глаголам значение будущего времени. Но если бы случайно мне в это время пришла в голову другая мысль, в чем заключалась бы моя вина? Я не более ответствен за свои мысли, чем за те внешние обстоятельства, которые их вызывают. Из того, что у меня возникает мысль, нельзя делать вывод, что я уже начал ее осуществлять или хотя бы принял такое решение. Мне никогда не приходила в голову мысль убить человека, но если бы она явилась, то ведь у меня есть разум, чтобы отогнать ее!

– Вы так уверенно говорите о разуме! Но разве он всегда, как вы утверждаете, на страже, чтобы руководить нашими поступками? Для того чтобы разум заговорил в нас и заставил себе повиноваться, нужно поразмыслить, – следователь-

но, необходимы время и спокойствие духа. А всегда ли вы располагаете тем и другим? В сражении я вижу, что на меня летит ядро; я отстраняюсь и этим открываю своего друга, ради которого я охотно отдал бы свою жизнь, будь у меня время для размышления...

Я пробовал напомнить ему о наших обязанностях человека и христианина, о долге нашем подражать воину из Священного Писания, всегда готовому к бою; наконец я ему указал, что, непрестанно борясь со своими страстями, мы приобретаем новые силы, чтобы их ослаблять и над ними господствовать. Боюсь, что я только заставил его умолкнуть, но вовсе не убедил его.

Я провел в замке еще дней десять. Мы еще раз побывали в Довгеллах, но без ночевки. Как и в первый раз, панна Ивинская резвилась и вела себя балованным ребенком. Графа она как-то завораживала, и я не сомневался, что он влюблен в нее по уши. Вместе с тем он вполне сознавал ее недостатки и не обманывал себя на ее счет. Он знал, что она кокетка, ветреница, равнодушная ко всему, что не составляло для нее предмета забавы. Часто я замечал, что ее легкомыслие причиняет ему душевное страдание; но стоило ей проявить к нему малейшую ласку, как он все забывал, лицо его озарилось, и он весь сиял от счастья. Накануне моего отъезда он попросил меня в последний раз съездить с ним в Довгеллы – может быть, потому, что я занимал разговором тетку, пока он гулял по саду с племянницей. Но у меня было еще мно-

го работы, и, как он ни настаивал, я должен был, извинившись, отказаться. Он возвратился к обеду, хотя и просил нас не дожидаться его. Он сел за стол, но не мог есть. В течение всего обеда он был мрачен и в дурном настроении. Время от времени брови его сдвигались и глаза приобретали зловещее выражение. Когда доктор оставил нас, чтобы пройти к графине, граф последовал за мной в мою комнату и высказал все, что было у него на душе.

– Я очень жалею, – говорил он, – что покинул вас и поехал к этой сумасбродке, которая смеется надо мной и интересуется только новыми лицами. Но, к счастью, теперь между нами все кончено; мне все это глубоко опротивело, и я больше не буду с ней встречаться.

Он по привычке походил некоторое время взад и вперед по комнате, потом продолжал:

– Вы, может быть, подумали, что я влюблен в нее? Доктор, дурак, уверен в этом. Нет, я никогда не любил ее. Меня занимало ее смеющееся личико... Я любовался ее белой кожей... Вот и все, что есть в ней хорошего... Особенно кожа... Ума – никакого. Я никогда не видел в ней ничего, кроме красивой куколки, на которую приятно смотреть, когда скучно и нет под рукой новой книги... Конечно, ее можно назвать красавицей... Кожа у нее чудесная... А скажите, профессор, кровь, которая течет под этой кожей, наверно, будет лучше лошадиной крови? Как вы думаете?

И он расхохотался, но от его смеха мне стало как-то не

по себе.

На следующий день я распрощался с ним и отправился продолжать свои изыскания в северной части палатината.

VII

Занятия мои продолжались около двух месяцев, и могу сказать, что нет ни одной деревушки в Самогитии, где я бы не побывал и не собрал каких-нибудь материалов. Да будет мне позволено воспользоваться этим случаем и поблагодарить жителей этой области, в особенности духовных лиц, за то поистине заботливое содействие, которое они оказали моим исследованиям, и за те превосходные добавления, которыми они обогатили мой словарь.

После недельного пребывания в Шавлях я намеревался отправиться в Клайпеду (порт, который мы называем Мемелем), чтобы оттуда морем вернуться домой, как вдруг я получил от графа Шемета следующее письмо, доставленное мне его егерем:

Господин профессор! Разрешите мне писать по-немецки. Я бы наделал еще больше ошибок, если бы стал писать вам по-жмудски, и вы потеряли бы ко мне всякое уважение. Не знаю, впрочем, питаете ли вы его ко мне и теперь, но только новость, которую я собираюсь вам сообщить, вряд ли его увеличит. Без дальних слов – я женюсь, и вы догадываетесь, на ком. «Юпитер смеется над клятвами влюбленных». Так же поступает и Пиркунс, наш самогитский Юпитер. Итак, я женюсь 8-го числа ближайшего месяца на панне Юлиане Ивинской. Вы будете любезнейшим

из смертных, если посетите нашу свадьбу. Все крестьяне из Мединтильгаса и окрестностей соберутся на праздник и будут до отвала наедаться говядиной и свининой, а когда напьются, то будут танцевать на лужке справа от известной вам аллеи. Вы увидите костюмы и обычаи, достойные вашего внимания. Своим приездом вы доставите мне громадное удовольствие, и Юлиане тоже. Добавлю, что отказ ваш поставил бы нас в самое затруднительное положение. Как вам известно, я и моя невеста исповедуем евангелическую религию, а пастор наш, живущий в тридцати милях отсюда, прикован к месту подагрой. Смею надеяться, что вы не откажетесь приехать и вместо него совершить обряд. Примите уверения, дорогой профессор, в искренней моей преданности.

Михаил Шемет

В конце письма в виде постскриптума было прибавлено довольно изящным женским почерком по-жмудски:

Я, литовская муза, пишу по-жмудски. Со стороны Михаила было дерзостью сомневаться в том, что вы одобрите его выбор. И правда, нужно быть такой безрассудной, как я, чтобы согласиться выйти за него. 8-го числа ближайшего месяца, господин профессор, вы увидите довольно *шикарную* новобрачную. Это уже не по-жмудски, а по-французски. Только не будьте рассеянны во время церемонии.

Ни письмо, ни постскриптум мне не понравились. Я находил, что жених и невеста выказывают непростительное лег-

комыслие в такой торжественный момент их жизни. Однако имел ли я право отказаться? К тому же, признаться, обещанное зрелище весьма меня соблазняло. Без сомнения, среди большого количества дворян, которые съедутся в замок Мединтильтас, я встречу людей образованных, которые снабдят меня полезными сведениями. Мой жмудский словарь был уже достаточно богат; но значение многих слов, которые я слышал от простых крестьян, еще оставалось для меня не вполне ясным.

Всех этих соображений, взятых вместе, было достаточно, чтобы заставить меня принять приглашение графа, и я ответил ему, что утром 8-го числа прибуду в Мединтильтас. И как же мне пришлось в этом раскаяться!

VIII

Подъезжая к замку, я заметил большое число дам и господ в утренних туалетах, частью расположившихся на террасе около крыльца, частью разгуливавших по аллеям парка. Двор был полон крестьян в воскресных нарядах. Вид у замка был праздничный: всюду цветы, гирлянды, флаги, венки. Управляющий провел меня в одну из комнат нижнего этажа, извинившись, что не может предложить мне лучшей. Но в замок наехало столько гостей, что не было возможности сохранить для меня то помещение, которое я занимал в первый мой приезд. Теперь оно было предоставлено супруге предводителя дворянства. Впрочем, моя новая комната была вполне удобна: она выходила окнами в сад и была расположена как раз под апартаментами графа. Я поспешно переделся для совершения брачного обряда и облачился в платье своего сана. Но ни граф, ни невеста не появлялись. Граф уехал за ней в Довгеллы. Им уже давно пора было приехать, но туалет невесты – дело не малое, и доктор предупредил гостей, что завтрак будет предложен лишь после совершения церковного обряда, а те, кто опасается проголодаться, поступят благоразумно, подкрепившись у специально устроенного буфета, уставленного всякими пирогами и крепкими напитками. При этом случае я мог заметить, что люди, долго чего-нибудь ожидая, всегда начинают злословить. Две мама-

ши хорошеньких дочек, приглашенные на свадьбу, всячески изощрялись в насмешках над невестой.

Было уже за полдень, когда приветственный залп холодных ружейных выстрелов возвестил о ее прибытии, и вслед за тем на дороге показалась парадная коляска, запряженная четверкой великолепных лошадей. Лошади были в мыле, и нетрудно догадаться, что опоздание произошло не по их вине. В коляске находились только невеста, г-жа Довгелло и граф. Он сошел и подал руку госпоже Довгелло. Панна Ивинская сделала движение, полное грации и детского кокетства, будто она хочет закрыться шалью от любопытных взглядов, устремленных на нее со всех сторон. Тем не менее она встала в коляске и хотела опереться на руку графа, как вдруг дышловые лошади, испуганные, быть может, дождем цветов, которым крестьяне осыпали невесту, или вдруг почувствовав странный ужас, который граф Шемет внушал животным, заржали и встали на дыбы; колесо задело за камень у крыльца, и было мгновение, когда несчастье казалось неотвратимым. Панна Ивинская слегка вскрикнула... Но тотчас же все успокоилось. Схватив ее на руки, граф взбежал с ней на крыльцо так легко, как будто он нес голубку. Мы все аплодировали его ловкости и рыцарской галантности. Крестьяне бешено кричали «виват», а невеста, вся зардевшись, смеялась и трепетала одновременно. Отнюдь не спеша освободиться от своей прелестной ноши, граф с торжеством показывал ее обступившей его толпе...

Вдруг на площадке крыльца показалась высокая, бледная, исхудавшая женщина; одежда ее была в беспорядке, волосы растрепаны, черты лица искажены ужасом. Никто не заметил, откуда она появилась.

– Медведь! – пронзительно закричала она. – Медведь! Хватайте ружья!.. Он тащит женщину! Убейте его! Стреляйте! Стреляйте!

То была графиня. Приезд молодой привлек всех на крыльцо, на двор, к окнам замка. Даже женщины, присматривавшие за сумасшедшей, забыли о своих обязанностях; оставшись без присмотра, она ускользнула и явилась никем не замеченная среди нас. Произошла тяжелая сцена. Пришлось ее унести, несмотря на ее крики и сопротивление. Многие из гостей не знали о ее болезни. Пришлось им объяснять. Долго еще продолжали перешептываться. Лица омрачились. «Дурной знак», – говорили люди суеверные, а таких в Литве немало.

Между тем панна Ивинская попросила себе пять минут, чтобы приодеться и надеть подвенечную фату – процедура, длившаяся добрый час. Этого было более чем достаточно, чтобы лица, не знавшие о болезни графини, были осведомлены о причине и всех подробностях ее недуга.

Наконец невеста появилась в великолепном уборе, осыпанная бриллиантами. Тетка представила ее всем присутствующим. Когда же наступило время идти в церковь, то вдруг, к моему изумлению, г-жа Довгелло в присутствии все-

го общества дала такую звонкую пощечину своей племяннице, что даже те, внимание которых в эту минуту было отвлечено чем-нибудь другим, обернулись. Пощечина эта была принята с полнейшей покорностью, и никто не выказал ни малейшего удивления, только какой-то человек, одетый в черное, записал что-то на принесенном им листе бумаги, и несколько лиц из присутствующих дали свою подпись с видом полнейшего равнодушия. Лишь по окончании церемонии мне объяснили, что сие означало. Если бы я знал об этом заранее, я не преминул бы возвысить свой голос священнослужителя против этого ужасного обычая, целью которого является создать повод для развода, на том основании, что будто бы бракосочетание состоялось лишь вследствие физического принуждения, примененного к одной из сочетающихся сторон.

Совершив религиозный обряд, я счел своим долгом обратиться с несколькими словами к юной чете с целью вразумить их относительно всей важности и святости соединявших их обязательств, и так как я еще не мог забыть неуместного постскриптума панны Ивинской, я напомнил ей, что она вступает в новую жизнь, где ее ждут не забавы и радости юношеских лет, но важные обязанности и серьезные испытания. Мне показалось, что эта часть моего обращения произвела на молодую и на всех тех, кто понимал по-немецки, большое впечатление.

Залпы ружейных выстрелов и радостные клики встретили

свадебный кортеж при выходе его из церкви. Затем все двинулись в столовую. Завтрак был превосходен, гости изрядно проголодались, и сначала не было слышно ничего, кроме стука ножей и вилок. Но вскоре шампанское и венгерское развязали языки, раздался смех, даже крики. Тост за здоровье молодой был принят с шумным восторгом. Только что опять все уселись, как поднялся старый пан с седыми усами и заговорил громовым голосом:

– С прискорбием вижу я, что начали забывать наши старые обычаи. Никогда отцы наши не стали бы пить за здоровье новобрачной из стеклянных бокалов. Мы пивали за здоровье молодой из ее туфельки и даже из ее сапожка, потому что в мое время дамы носили сапожки из красного сафьяна. Покажем же, друзья, что мы еще истые литовцы. А ты, сударыня, сообрази мне дать свою туфельку.

Новобрачная покраснела и ответила, сдерживая смех:

– Возьми ее сам, пан... Но в ответ пить из твоего сапога я не согласна.

Пану не нужно было повторять два раза. Он галантно опустился на колени, снял белую атласную туфельку с красным каблучком, налил в нее шампанского и так быстро и ловко выпил, что не больше половины пролил себе на платье. Туфелька пошла по рукам, и все мужчины пили из нее, не без труда, впрочем. Старый пан потребовал туфельку себе как драгоценную реликвию, а г-жа Довгелло приказала горничной возместить изъян в туалете ее племянницы.

За этим тостом последовало множество других, и вскоре за столом стало так шумно, что я счел не совсем приличным оставаться в таком обществе. Я незаметно встал из-за стола и вышел на воздух освежиться. Но и там мне представилось зрелище не особенно поучительное. Дворовые люди и крестьяне, всласть угостившись пивом и водкой, были по большей части пьяны. Не обошлось дело без драк и разбитых голов. Там и сям на лужайке валялись пьяные, и общий вид праздника напоминал поле битвы. Мне любопытно было бы посмотреть вблизи на народные танцы, но плясали почти исключительно какие-то разнузданные цыганки, и я не счел для себя приличным путаться в этой свалке. Итак, я вернулся в свою комнату, почитал немного, затем разделся и вскоре заснул.

Когда я проснулся, замковые часы пробили три. Ночь была светлая, хотя луна была подернута легкой дымкою. Я попытался опять заснуть, но безуспешно. Как и всегда в подобных случаях, я хотел взять книгу и позаниматься, но не мог найти поблизости спичек. Я встал и принялся ощупью шарить по комнате, как вдруг какое-то темное тело больших размеров пролетело мимо моего окна и с глухим шумом упало в сад. Первое впечатление было, что это человек, и я подумал, что кто-нибудь из наших пьяниц вывалился из окна. Я открыл свое окно и посмотрел в сад, но ничего не увидел. В конце концов я зажег свечку и, улегшись снова в постель, стал просматривать свой словарь, покуда мне не пода-

ли утренний чай.

Около одиннадцати я вышел в гостиную. У многих были подпухшие глаза и помятые физиономии; я узнал, что из-за стола разошлись действительно поздно. Ни граф, ни молодая графиня еще не появлялись. К половине двенадцатого, после разных шуточек, начали перешептываться, сначала тихо, потом громче. Доктор Фребер решился наконец послать графского камердинера постучать в дверь его господина. Через четверть часа слуга вернулся и не без волнения сообщил доктору Фреберу, что он стучал раз десять, но не мог добиться ответа. Г-жа Довгелло, я и доктор стали совещаться, как поступить. Беспокойство лакея передалось и мне. Втроем мы направились к комнате графа. У дверей ее мы застали перепуганную горничную молодой графини, уверявшую, что случилась какая-нибудь беда, так как окно ее госпожи отворено настежь. Я с ужасом вспомнил о тяжелом теле, упавшем перед моим окном. Мы принялись громко стучать. Никакого ответа. Наконец лакей принес лом, и мы взломали дверь... Нет, не хватит духу описать зрелище, которое нам представало! Молодая графиня лежала мертвая на своей постели; ее лицо было растерзано, а открытая грудь залита кровью. Граф исчез, и с тех пор никто больше его не видел.

Доктор осмотрел ужасную рану молодой женщины.

– Эта рана нанесена не лезвием! – вскричал он. – Это – укус!

Профессор закрыл тетрадь и задумчиво стал смотреть в огонь.

– И это все? – спросила Аделаида.

– Все! – отвечал мрачно профессор.

– Но, – продолжала она, – почему вы назвали эту повесть «Локис»? Ни одно из действующих лиц не носит этого имени.

– Это не имя человека, – сказал профессор. – А ну-ка, Теодор, понятно вам, что значит *локис*?

– Ничуть.

– Если бы вы постигли законы перехода санскрита в литовский язык, вы бы признали в слове *локис* санскритское *arkcha* или *rikscha*. В Литве «локисом» называется зверь, которого греки именовали *arktos*, римляне – *ursus*, а немцы – *Bär*. Теперь вы поймете и мой эпитаф:

Miszka su Loku

Abu du tokiu.

Известно, что в *Романе о Лисе* медведь называется *Damp Brun*. Славяне зовут его Михаилом, по-литовски Мишка, и это прозвище почти вытеснило родовое его имя *локис*. Подобным же образом французы забывали свое неолатинское слово *goupil* или *gorpil*, заменив его именем *renard*. Я мог бы привести вам много других примеров...

Но тут Аделаида заметила, что уже поздно, и мы разо-

ШЛИСЬ.